

Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“. Спб., Невскій. 92.

№ 86/163
Ив. Бунинъ.

РАЗСКАЗЫ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Переваль.	Костерь.
Руда.	На край свѣта.
Новая дорога.	Кастрюкъ.
Осенью.	Въ Августѣ.
Туманъ.	Безъ роду-племени.
Байбаки.	Поздней ночью.
Новый годъ.	На Дониѣ.
Антоновскія яблоки.	Фантазеръ.
Велга.	Сосны.
Скитъ.	Тишина.
Тарантелла.	«Надежда».)

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1902.

54

Изданія товарищества „ЗНАНІЕ“ (СПБ., Невскій, 92).

Списокъ отъ 20 февраля 1902 г. Цѣна

М. Горькій. Разказы. Томъ I. Четвертое изд. печатается . . .	1 р. — к.
М. Горькій. Разказы. Томъ II. Четвертое изд. печатается . . .	1 » — »
М. Горькій. Разказы. Томъ III. Четвертое изд. печатается . . .	1 » — »
М. Горькій. Разказы. Томъ IV. Четвертое изд. печатается . . .	1 » — »
М. Горькій. Разказы. Томъ V. Второе изд. печатается . . .	1 » — »
М. Горькій. Мѣщане. Драм. эскизъ въ 4 актахъ . . .	— » 60 »
Л. Андреевъ. Разказы. Томъ I. Изд. второе . . .	1 » — »
Л. Андреевъ. Новые разказы . . .	— » 40 »
Сниталець. Разказы и пѣспи. Томъ I.	1 » — »
Е. Чиринъ. Разказы. Томъ I. Изд. третье	1 » — »
Е. Чиринъ. Разказы. Томъ II. Изд. второе	1 » — »
И. Бунинъ. Разказы. Томъ I	1 » — »
Эсхиль. Скованный Прометей	— » 30 »
Софонль. Эдипъ-царь	— » 40 »
Софонль. Эдипъ въ Колонѣ	— » 40 »
Софонль. Антигона	— » 40 »
Эврипидъ. Медя	— » 40 »
Эврипидъ. Ипполитъ	— » 40 »
Эсхиль, Софонль и Эврипидъ. Трагедіи. Роскшно иллюстр. изд. Печатается	— » — »
Шелли. Полное собраніе сочиненій въ 3 томахъ. Томъ I печатается	— » — »
Э. Золя. Углекопы. Изд. второе	1 » — »
Эрманъ-Шатрианъ. Гаспаръ Фиксъ	— » 65 »
Николюскій. Лѣтнія поѣздки натуралиста	2 » — »
Клейнъ. Астрономическіе вечера. Изд. третье	2 » — »
Клейнъ. Прошлое, настоящее и будущее вселенной. Изд. второе	1 » 50 »
Юнгъ. Солнце. Изд. второе	1 » 50 »
Тиндаль. Звукъ. Изд. второе	1 » 50 »
Григорьевъ. Краткій курсъ химіи	— » 80 »
Клейнъ. Чудеса земного шара. Печатается	— » — »
Боммели. Исторія земли. Печатается	— » — »
Гетчинсонъ. Вымершія чудовища	1 » 20 »
Гетчинсонъ. Животныя прошлыхъ геологическихъ эпохъ. Печатается	— » — »
Джемсъ. Психологія. Изд. четвертое	1 » 50 »
Вундтъ. Введеніе въ философію. Печатается	— » — »
Куно Фишеръ. Исторія новой философіи. Томъ IV: Кантъ	4 » — »
Сеньбобъ. Полит. исторія соврем. Европы, 2 т. Изд. второе	3 » — »
Гиббинсъ и Сатуринь. Исторія современной Англій	1 » 20 »
Инсаровъ. Современная Франція	2 » 50 »
Курти. Исторія народнаго законодательства и демократіи въ Швейцаріи	1 » — »
Зомбартъ. Идеалы социальной политики	— » 40 »

Изданія т-ва продаются во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Выписывающіе изъ конторы т-ва (СПБ., Невскій, 92) за пересылку книгъ, поступившихъ въ продажу, не платятъ. Пересылка подписныхъ изданій оплачивается согласно настоящему объявленію.

По первому требованію бесплатно высылаются подробный каталогъ.

Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“. Спб., Невскій, 92.

W-86
163 Ив. Бунинъ.

РАЗСКАЗЫ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ

Переваль.	Костерь.
Руда.	На край свѣта.
Новая дорога.	Кастрюкъ.
Осенью.	Въ Августѣ.
Туманъ.	Безъ роду-племени.
Байбаки.	Поздней ночью.
Новый годъ.	На Дониѣ.
Антоновскія яблоки.	Фантазеръ.
Велга.	Сосны.
Скитъ.	Тишина.
Тарангелла.	«Надежда».

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1902.



Ив. Бунинъ.

РАЗСКАЗЫ.

Всѣ нижепоименованные рассказы были напечатаны въ „Р. Богатствъ“ „Нов. Слово“, „М. Вожьемъ“, „Р. Мысли“ и „Жури. для всѣхъ“. Изъ нихъ 15 появляются въ отдельномъ изданіи впервые, а 5 („Тарантелла“, „На край свѣта“, „Кастрюкъ“, „На Донцѣ“ и „Фантазеръ“) взяты изъ моего сборника „На край свѣта“, изданнаго пять лѣтъ тому назадъ.

И. Б.

ПЕРЕВАЛЪ.

Ночь уже давно, а я все еще бреду по горамъ къ перевалу, бреду подъ вѣтромъ, среди холоднаго тумана, и безнадежно, но покорно иду за мной въ поводу мокрая, усталая лошадь, звякая пустыми стремянами...

Въ сумерки, отдыхая у подножія сосновыхъ лѣсовъ, за которыми начинается этотъ голый и пустынный подъемъ, я еще бодро смотрѣлъ въ необъятную глубину подо мною съ тѣмъ особымъ чувствомъ гордости и силы, съ которымъ всегда смотришь съ большой высоты. Тамъ, далеко внизу, еще можно было различить огоньки въ темнѣющей долині, на прибрежьи тѣснаго залива, который, уходя къ востоку, все болѣе расширялся и, поднимаясь туманно-голубой стѣной, высоко обнималъ небо. Но въ горахъ уже наступала ночь. Темнѣло быстро, и, по мѣрѣ того, какъ я приближался къ лѣсамъ, горы выростали все мрачнѣй и величавѣе, а въ пролеты между ихъ отрогами съ бурной стремительностью валился косыми, длинными облаками густой сѣрый туманъ, гонимый бурей сверху. Онъ срывался съ высоты плоскогорія, которое окутывалъ гигантскою рыхлою грядой, и своимъ паденіемъ рѣзко подчеркивалъ осеннія хмурия сумерки и глубину пропастей между горами. Онъ уже задымилъ сосновый лѣсъ и все приближался

ко мнѣ вмѣстѣ съ глухимъ, глубокимъ и нелюднымъ гуломъ сосенъ. Повѣяло зимней свѣжестью, понесло снѣгомъ и вѣтромъ... Наступила ночь, и я долго шель подь темными и гудящими въ туманѣ сводами горнаго бора, стараясь хоть какъ-нибудь защититься отъ вѣтра.

„Скоро переваль,—говорилъ я себѣ.—Мѣстность безопасна и знакома, и часа черезъ два или три я буду въ затиши за горами, въ свѣтломъ и людномъ домѣ. Теперь темнѣетъ рано“...

Но проходитъ полчаса, часъ... Каждую минуту мнѣ кажется, что переваль въ двухъ шагахъ отъ меня, а голый и каменистый подъемъ не кончается. Уже давно остались внизу сосновые лѣса, давно прошли низкорослые, искривленные бурями кустарники, и я начинаю уставать и дрогнуть отъ холоднаго вѣтра и тумана. Мнѣ вспоминается кладбище погибшихъ на этой высотѣ,—нѣсколько могилъ среди кучки сосенъ недалеко отъ перевала, въ которыхъ похоронены какіе-то татары-дровосѣки, сброшенные съ Яилы зимней вьюгой... Эти могилы уже недалеко,—я чувствую, на какой дикой и безлюдной вышинѣ я нахожусь, и отъ сознанія, что вокругъ меня теперь только туманъ и обрывы, у меня сжимается сердце. Какъ пройду я мимо одинокихъ камней-памятниковъ, когда они, какъ человѣческія фигуры, зачернѣютъ среди мутнаго тумана? Неужели только въ глухую полночь доберусь я до перевала? И хватитъ ли у меня силъ спуститься съ горъ, когда я уже и теперь теряю представленіе о времени и мѣстѣ? Но раздумывать некогда,—нужно идти...

Далеко впереди что-то смутно чернѣетъ среди бѣгущаго тумана... Это какіе-то темные холмы, похожіе на спящихъ медвѣдей. Я перебираюсь по нимъ съ одного камня на другой, лошадь, срываясь и лязгая подковами по мокрымъ гольшамъ, съ трудомъ влѣзаетъ за мною,—и вдругъ я замѣчаю, что дорога снова начинается медленно подниматься въ гору! Тогда я останав-

ливаюсь, и меня охватываетъ отчаяніе. Я весь дрожу отъ напряженія и усталости, одежда моя вся промокла отъ снѣга, а вѣтеръ такъ и пронизываетъ ее насквозь. Не крикнуть ли о помощи? Но теперь даже чабаны забились въ свои гомеровскія хижины вмѣстѣ съ козами и овцами,—значить, совершенно никто не услышитъ меня. И, озираясь, я почти съ ужасомъ думаю:

— Боже мой! Неужели я заблудился? Неужели это моя послѣдняя ночь? А если нѣтъ, то какъ и гдѣ я проведу ее?

Поздно,—борь глухо и сонно гудитъ въ отдаленіи... Ночь становится все глубже и таинственнѣе, и я хорошо чувствую это, несмотря на то, что не знаю ни времени, ни мѣста. Теперь погасъ послѣдній огонекъ въ глубокихъ долинахъ, и сѣдой туманъ воцаряется надъ нимъ, зная, что пришелъ его часъ,—долгий и жуткій часъ, когда кажется, что все вымерло на землѣ, и уже никогда не настанетъ утро, а будутъ только возрастать туманы, окутывая величавыя въ своей полночной стражѣ горы,—будутъ глухо гудѣть лѣса по горамъ, и все гуще летѣть снѣгъ на пустынномъ перевалѣ.

Закрываясь отъ вѣтра, я поворачиваюсь къ лошади. Единственное живое существо, которое осталось со мною! Но лошадь не глядитъ на меня. Мокрая, озябшая, сгорбившись подь высокимъ сѣдломъ, которое неуклохе торчитъ на ея спинѣ, она стоитъ, покорно опустивъ голову съ прижатыми ушами. И я со злобой дергаю ее за поводъ и снова подставляю лицо мокрому снѣгу и вѣтру, и снова упорно иду навстрѣчу имъ. Когда я пытаюсь разглядѣть то, что окружаетъ меня, я вижу только сѣдую, бѣгущую мглу, которая слѣпнетъ снѣгомъ, и чувствую подь ногами скользкую, каменистую почву. Когда я вслушиваюсь, я различаю только свистъ вѣтра въ уши и однообразное позвякиванье за спиною... Это стучать стремяна, сталкиваясь другъ съ другомъ...

Но, странно,—мое отчаяніе начинаетъ укрѣплять меня! Я начинаю шагать смѣлѣе, и злобный укоръ кому-то за все, что я выношу, радуетъ меня. Онъ уже переходитъ въ ту мрачную и стойкую покорность всему, что надо вынести, при которой сладостно чувствовать свое возрастающее горе и безнадежность...

Вотъ, наконецъ, и переваль. Теперь ясно, что я уже на высшей точкѣ подъема, но мнѣ—все равно. Я иду по ровной и плоской степи, вѣтеръ несетъ туманъ длинными космами и валить меня съ ногъ, но я не обращаю на него вниманія. Уже по одному свисту вѣтра и по туману чувствуется, какъ глубоко овладѣла поздняя ночь горами,—уже давнымъ-давно спятъ въ долинахъ въ своихъ маленькихъ хижинахъ маленькіе люди; но я не тороплюсь, я иду, стиснувъ зубы, и бормочу, обращаясь къ лошади:

— Ничего, ничего,—иди! Будемъ брести, пока не свалимся.. Сколько уже было въ моей жизни этихъ трудныхъ и одинокихъ переваловъ! Съ ранней юности я вступалъ время отъ времени въ ихъ роковую полосу. Какъ ночь, надвигались на меня горести, страданія, болѣзни и безпомощность свои и близкихъ, скоплялись измѣны любимыхъ и горькія обиды дружбы, и наступалъ часъ разлуки со всѣмъ, къ чему привыкъ и съ чѣмъ сроднился. И, скрѣпивши сердце, бралъ я въ руки свой страннической посохъ... А подъемы къ новому счастью были высоки и трудны, ночь, туманъ и вѣтеръ встрѣчали меня на высотѣ, и жуткое одиночество охватывало меня на перевалахъ... Ничего, будемъ брести, пока не свалимся! Всѣмъ суждены перевалы въ жизни...

Спотыкаясь, я бреду уже какъ во снѣ. До утра далеко. Цѣлую ночь придется спускаться къ долинамъ и только на зарѣ удастся, можетъ быть, уснуть гдѣ-нибудь мертвымъ сномъ,—сжаться и чувствовать только одно—радость тепла послѣ пронизывающаго холода и сладкій отдыхъ—послѣ мучительной дороги.

День опять обрадуетъ меня людьми и солнцемъ, и опять надолго обманетъ меня и заставитъ забыть о перевалахъ. Но они будутъ снова, и самый трудный и одинокій—будетъ послѣдній... Гдѣ-то упаду я и уже навсегда останусь среди ночи и вьюги на голыхъ и отъ вѣка пустынныхъ горахъ?



Р У Д А.

Эпитафія.

За крайней избой нашей степной деревушки, гдѣ зеленый выгонъ оканчивался хлѣбами, пропадала воржи наша прежняя дорога къ городу. И у дороги, въ хлѣбахъ, при началѣ уходившаго къ горизонту моря колосевъ, стояла бѣлоствольная и развѣсистая, плакучая береза. Глубокія колеи дороги заросли травой съ желтыми и бѣлыми цвѣтами, береза была искривлена степнымъ вѣтромъ, а подь ея легкой, сквозной сѣнью уже давнымъ-давно возвышался ветхій, сѣрый голубецъ, — крестъ съ треугольной тесовой кровелькой, подь которой хранилась отъ непогодъ суздальская икона Божьей Матери — покровительницы полей.

Шелковисто-зеленое, бѣлоствольное дерево въ золотыхъ хлѣбахъ, — какъ это нравилось намъ въ дѣтствѣ! Впрочемъ, тогда все казалось хорошо. Тогда и хлѣба были гуще, и лѣто жарче, и небо синѣе, и зимы морознѣе. Сама степная деревушка была веселѣе и богаче, а главное — мы любили ее. Когда-то давно тотъ, кто первый пришелъ на это мѣсто, поставилъ на своей десятинѣ крестъ съ кровелькой, призвалъ попа и освятилъ образъ Божьей Матери, который назывался „Покровъ Пресвятыя Богородицы“; и съ тѣхъ поръ старая икона дни и ночи охраняла старую степную дорогу, незримо простирая свое благословеніе на трудовое крестьянское счастье.

7

Въ дѣтствѣ мы чувствовали страхъ къ сѣрому кресту, никогда не рѣшались заглянуть подь его кровельку, — однѣ ласточки смѣли залетать туда и даже вить тамъ гнѣзда. Но и благоговѣніе чувствовали мы къ нему, потому что слышали, какъ наши матери шептали въ темныя осеннія ночи:

— Пресвятая Богородица, защити насъ Покровомъ Твоимъ!

Осень приходила къ намъ свѣтлая и тихая, — она воцарялась въ степи такъ мирно и спокойно, что, казалось, конца не будетъ яснымъ днямъ. Она дѣлала дали пѣжно-голубыми и глубокими, небо — чистымъ и кроткимъ, солнечные дни — веселыми. Тогда можно было различить самый отдаленный курганъ въ степи, на открытой и просторной равнинѣ ярко-желтаго жнивья. Осень убирала и березу въ золотой уборъ. А береза радовалась и не замѣчала, какъ недолговѣченъ этотъ уборъ, какъ листокъ за листкомъ осыпается онъ, пока, наконецъ, не оставалась вся раздѣтая на его золотистомъ, легкомъ коврѣ. Очарованная осесью, она была счастлива и покорна, и вся сияла, озаренная изъ-подь низу желтымъ отсвѣтомъ сухихъ листьевъ. А радужныя паутинки тихо летали возлѣ нея въ блескѣ солнца, тихо садились на сухое, колкое жнивье... И народъ называлъ ихъ красиво и нѣжно, — „пряжей Богородицы“.

Зато жутки были темныя осеннія ночи, когда осень сбрасывала съ себя кроткую личину. Безпощадно трепалъ тогда вѣтеръ обнаженные вѣтви березы! Избы стояли нахохлившіеся, какъ куры къ непогуду, туманъ въ сумерки низко бѣжалъ по голымъ равнинамъ, волчьи глаза свѣтились ночью на задворкахъ. Нечистая сила часто скидывается ими, и было-бы страшно въ такія ночи, если бы за околицей деревни не было стараго голубца. А съ начала ноября и почти до апрѣля бури неустанно заносили снѣгами и поля, и деревню, и березу, и самый голубецъ почти до иконы. Бывало, выглянешь

изъ сѣней въ поле, а жесткая вьюга свиститъ подъ голубцомъ, дымится по острымъ сугробамъ и со стономъ проносится по равнинѣ, заметая на бѣгу слѣды по ухабистой дорогѣ. Заблудившійся путникъ робко крестился изъ сугубовъ пору, завидѣвъ въ дыму метели торчавшій изъ сугубовъ крестъ съ треугольной кровелькой, зная, что здѣсь бодрствуетъ надъ дикою снѣжной пустыней сама Царица Небесная. И Она все выносила, стоя у проѣзжаго пути и охраняя свою деревню и свое мертвое до поры до времени поле.

Поле долго было мертвымъ, но степные люди были прежде выносливы. И вотъ, наконецъ, крестъ начинать выростать изъ осѣдающихъ сѣрыхъ снѣговъ. Обтаивала и горбатая уваженная дорога, наступали теплые и густые мартовскіе туманы. Отъ тумановъ и дождей чернѣли и дымились въ сумрачные дни крыши избъ, а собаки по сугробамъ залѣзали на нихъ, такъ какъ улица превращалась въ сплошную лужу. Потомъ туманы сразу смѣнялись солнечными днями. И все снѣжное поле насыщалось водою, растоплялось и, растопленное, ярко блестѣло подъ солнцемъ, дрожа безчисленными ручьями. Въ одинъ-два дня степь принимала новый видъ: по-весеннему просторно становилось въ темныхъ равнинахъ, окаймленныхъ блѣдно-синеватой далью. Выпускали шершавый скотъ изъ хлѣвовъ; обезсилѣвшія за зиму лошади и коровы бродили и лежали на выгонѣ, а галки сидели на ихъ худыхъ спинахъ и дергали клювами шерсть для своихъ гнѣздъ. Но дружная весна къ хорошимъ кормамъ,—скотъ отгуляется по теплымъ росамъ! Уже пѣли жаворонки въ ясные полдни, уже мальчишки-пастухи загорали отъ вѣтровъ и солнца, которые просушивали землю. Когда-же обмывалъ ее весенній дождь и пробуждалъ первый громъ, Господь благословлялъ въ тихія звѣздныя ночи ростъ хлѣбамъ и травамъ, и, упокоенная за свои нивы, кротко глядѣла изъ голубца старая икона. Тонко пахло въ чистомъ ночномъ воздухѣ

зеленями, мирно было въ степи, тихо въ темной деревнѣ, гдѣ уже не вздували огня съ Благовѣщенья, и замирали по вечерней зарѣ пѣсни дѣвушекъ, прощавшихся съ своими обрученными подругами...

А потомъ все росло не по днямъ, а по часамъ. Зеленѣлъ выгонъ, зеленѣли ветлы передъ избами, зеленѣла береза... Шли дожди, и протекали жаркіе іюньскіе дни, зацвѣтали цвѣты, и наступали веселые сѣнокосы... Что иное можно сказать о степной деревушкѣ? Люди родились, выростали, женились, уходили въ солдаты, работали, пировали праздники... Главное же мѣсто въ ихъ жизни все-таки занимала степь—ея смерть и возрожденіе. Пустѣла и покрывалась снѣгами она,—и деревня болѣе полугода жила, какъ въ забытіи; тогда немало умирало народа отъ холода, голода и черныхъ избъ, немало замерзало въ степи. Наступала весна наступала и жизнь,— работа, скрашенная веселыми днями... Или они только снились намъ въ дѣтствѣ? Нѣтъ, (я хорошо помню, какъ мягко и беззвѣтно шумѣлъ лѣтній вѣтеръ въ шелковистой листвѣ березы, цулая эту листву и склоняя до самыхъ колосьевъ тонкія, гибкія вѣтви; помню солнечное утро на Троицу, когда даже бородатые мужики, какъ истые потомки русичей, улыбались изъ-подъ огромныхъ березовыхъ вѣнковъ; помню грубыя, но могучія пѣсни на Духовъ День, когда мы съ закатомъ уходили въ ближній дубовый лѣсокъ и тамъ варили кашу, разставляли ее въ черепкахъ по холмикамъ и „молили кукушку“ быть милостивою вѣщуньей; помню „встрѣчу солнца“ подъ Петровъ день, когда оно „играетъ“, по нашимъ повѣрьямъ, помню величальные пѣсни и веселыя свадьбы, помню трогательные молебны передъ кроткой Заступницей всѣхъ скорбящихъ, въ полѣ, подъ открытымъ небомъ, подъ старымъ крестомъ у зеленой березы!

Однако, жизнь не стоитъ на мѣстѣ,—старое уходитъ, и мы провожаемъ его часто съ великой грустью, но

тѣмъ и хороша жизнь, что она пребываетъ въ неустаннымъ обновленіи. Наше дѣтство прошло, и все вокругъ насъ быстро стало измѣняться и старѣть. Насъ потянуло взглянуть дальше того, что мы видѣли за околицей деревни, тѣмъ болѣе, что и деревня становилась все скучнѣй, и береза уже не такъ густо зеленѣла весной, и крестъ у дороги ветшалъ, и люди истощили поле, которое охранялъ онъ. И такъ какъ бѣда никогда не ходитъ одна, то само небо, казалось, стало гнѣваться на людей. Знойные и сухіе вѣтры разгоняли тучи, подымая вихри по дорогѣ, солнце нещадно палило хлѣба и травы. Подсыхали до срока тощіе ржи и овсы, и было больно сморгѣть на нихъ, потому что нѣтъ ничего печальнѣе и смиреннѣе тощей ржи. Какъ безпомощно склоняется она отъ горячаго вѣтра легкими, пустыми колосьями, какъ сиротливо шелеститъ въ знойный полдень! Сухая пашня сквозитъ между ея стеблями, издадека видны среди нихъ сухіе васильки и фіолетовый куколь... И дикая серебристая лебеда, предвѣстница запустѣнія и голода, заступаетъ мѣсто тучныхъ хлѣбовъ у старой проселочной дороги. Нищіе и слѣбые все чаще стали съ жалобными припѣвами обходить деревню. А деревня и сама давно запечалилась и безмолвно стояла на припекѣ, равнодушная уже почти ко всему окружающему...

Тогда, точно въ горести, потемнѣлъ отъ пыльных вѣтровъ кроткій ликъ Богоматери. Проходили годы, — Она казалась безучастной къ судьбѣ своего поля. И люди стали забывать Ее. Еще нѣсколько лѣтъ потомились они въ степи, потомъ мало-по-малу стали уходить по дорогѣ къ городу. А вскорѣ прошелъ слухъ, что вотъ-вотъ „всѣхъ погонять на новыя мѣста“. И оставшіеся въ деревнѣ съ радостью ухватились за эту вѣсть. Они прожили зиму въ ожиданіяхъ, а весной собрали свой скудный скарбъ, забили досками окна избъ, запрягли лошадей и навсегда ушли изъ деревни въ по-

иски новаго счастья. Про „новыя“ мѣста они знали одно, — что тамъ лѣсу и звѣрей много; но помощи было ждать не откуда, — нужно были идти... И деревня опустѣла.

— Ни души! — сказали вѣтеръ, облетѣвъ всю деревню и закрутивъ въ какомъ-то безцѣльномъ удалствѣ пыль на дорогѣ.

Но береза не отвѣтила ему, какъ прежде. Она слабо зашевелила вѣтвями и опять задремала. Она уже знала, что выгонъ въ деревнѣ заросъ высокою сорной травой, что глухая крапива поднялась у пороговъ, что полынъ растеть на полураскрытыхъ крышахъ. Степь вокругъ была мѣста, а десятокъ уцѣлѣвшихъ избъ можно было издадека принять за кибитки кочевниковъ, покинутыя въ мертвомъ полѣ послѣ битвы или чумы. И голубецъ уже покосился подъ березой, на верхушкѣ которой торчали сухіе, бѣлые сучья. Теперь въ сумерки, когда за темными полями слабо алѣлъ закатъ, ночевали на ней грачи да вороны, которые не мало видѣли перемѣнъ на этомъ свѣтѣ. Изрѣдка только почевали съ ними подъ березой бродячіе пыгане...

И внезапно на степи опять появляются люди! Все чаще приходятъ они по дорогѣ изъ города, и располагаются станомъ у деревни. Ночью они жгутъ костры, разгоняя темноту, и тѣни далеко убѣгаютъ отъ нихъ по дорогѣ и по выгону. Съ разсвѣтомъ они выходятъ въ поле и длинными буравами сверлятъ землю. Вся окрестность чернѣетъ кучами, точно могильными холмами, и все принимаетъ беспорядочный и странный видъ. Люди безъ сожалѣнья топчутъ рѣдкую рожь, еще выросставшую кое-гдѣ безъ сѣва, безъ сожалѣнья закидываютъ ее землю, потому что они ищутъ источниковъ новаго счастья; ищутъ ихъ уже въ нѣдрахъ земли, гдѣ таится талисманъ будущаго — *руда!*

— Руда! — раздаются голоса въ полѣ.

— Скоро этотъ край закишитъ народомъ, задымитъ трубами заводовъ, проложитъ крѣпкіе желѣзные пути

на мѣстѣ старой дороги и выстроить городъ на мѣстѣ дикой деревушки!

И то, что освящало здѣсь старую жизнь—сѣрый упавшій на землю крестъ, уже забытъ всѣми... Чѣмъ-то освящать новые люди свою новую жизнь? Чье благословеніе призовуть они на свой новый, бодрый и шумный трудъ?

НОВАЯ ДОРОГА.

— Напрасно вы уѣзжаете въ такую пору!—говорятъ мнѣ знакомые, позднимъ вечеромъ прощаясь со мной на вокзалѣ. — Добрые люди только съѣзжаются въ Петербургъ, а вы уѣзжаете. Чего вы тамъ не видали? Лѣсовъ, сугробовъ? Посмотрите, что соскучитесь черезъ недѣлю... А потомъ еще эта новая дорога, на которой дня не проходитъ безъ крушеній!

— Богъ милостивъ!—отвѣчаю я машинально.

Провожающіе пожимаютъ плечами и умолкаютъ. Наступаютъ тѣ непріятныя минуты разлуки, когда сказать уже нечего, улыбки дѣлаются фальшивыми, а время начинаетъ идти страшно медленно.

— Да-съ,—говоритъ кто-нибудь неестественнымъ тономъ.—Итакъ, вы улечиваетесь. Жаль, право, жаль!.. Ищите хоть, по крайней мѣрѣ, чаще.

Наконецъ, раздается второй звонокъ. Мы оживляемся и торопливо цѣдуемъ другъ друга. Махая шляпами, провожающіе уходятъ и, оборачиваясь, кланяются уже съ искренней привѣтливостью. Я остаюсь въ сѣняхъ вагона и улыбаюсь. Уѣзжаю-таки! Въ Петербургѣ мнѣ всегда кажется, что я попалъ на какой-то праздникъ, продолжающійся всю зиму, и уже одно это утомительно дѣйствуетъ на душу. Хочется на просторъ, на воздухъ, и вотъ я все чаще начинаю рисовать себѣ, какъ хорошо теперь тамъ,— въ провинціальной Россіи. А тутъ

открывается еще новая дорога, которая сокращает мой путь домой почти на пятьсот верст. Правда, крушенія на этой новой дорогѣ до смѣшной части, но зато какъ красива, говорятъ, она! И рѣшивъ въ одно прекрасное утро поѣздку окончателно, я тотчасъ же принимаюсь за сборы въ путь. А вечеромъ я уже на вокзалѣ...

— Готово! — кричитъ кто-то около паровоза, и паровозъ тяжело стучается буферами въ вагоны. Слышно, какъ онъ сдержанно синитъ горячимъ паромъ, изрѣдка кидая клубы дыма, и платформа пустѣетъ. Около моего вагона остаются только высокій, красивый офицеръ съ продолговатымъ, нагло-серьезнымъ лицомъ въ полубачкахъ, и дама въ траурѣ. Дама кутается въ рогонду и тоскливо смотритъ на офицера заплаканными черными глазами, а онъ, въ знакъ своей печали, строго косится на кондуктора. Потомъ, съ неловкой поспѣшностью очень сытаго человѣка, проходитъ большой рыжеусый помѣщикъ съ ружьемъ въ чашлѣ и въ оленьей дохѣ поверхъ сѣраго охотничьяго костюма, а за нимъ приземистый, но очень широкій въ плечахъ генераль... Потомъ изъ конторы быстро выходитъ, почти выбѣгаетъ, начальникъ станціи. Онъ только-что велъ съ кѣмъ-то непріязненный споръ и поэтому, рѣзко scomандовавъ „третій!“ — такъ далеко швыряетъ напиросу, что она долго прыгаетъ по платформѣ, разсыпаясь по вѣтру красными искрами. И тотчасъ же на всю платформу звонитъ гулкій вокзальный колоколь. раздаются гремячіе свистки оберъ-кондуктора, мощныя взрѣвыванія паровоза — и плавно трогается поѣздъ.

Офицеръ быстро идетъ по платформѣ, раскланиваясь, ускоряя шаги и все болѣе и болѣе отставая отъ вагоновъ; поѣздъ все отрывистѣе и рѣзче кидаетъ изъ-подъ цилиндровъ горячимъ паромъ... Но вотъ мелькнулъ послѣдній фонарь платформы, офицера точно сдернуло — и поѣздъ очутился въ темнотѣ. Она сразу развернулась передъ нимъ, усыпанная тысячами золотыхъ огней го-

рода, а поѣздъ уже увѣренно несется въ нее мимо товарныхъ складовъ и вагоновъ, грозно предупреждая кого-то дрожащимъ ревомъ. Свѣтлыя отраженія оконъ все быстрѣе бѣгутъ сперва по рельсамъ и шпаламъ, ускользающимъ въ разныя стороны, а затѣмъ — по снѣгу. Скоро въ вагонѣ станетъ тепло и уютно, и, безпорядочно громоздя вещи по диванамъ, пассажиры вачнутъ располагаться на ночь. Съдой, строгій, но очень вѣжливый старичокъ-кондукторъ въ пенснэ на кончикѣ носа не снѣша проходитъ среди этой тѣсноты и пунктуально переписываетъ билеты, наклоняясь къ фонарику своего помощника.

Воздухъ въ поляхъ, послѣ города, кажется необыкновеннымъ, — и, какъ всегда, я и на этотъ разъ до поздней ночи стою въ снѣгахъ вагона, отворивъ боковую дверь, и напряженно гляжу противъ вѣтра въ темныя снѣжныя поля. Поѣздъ уносится на вѣхъ парахъ, и все кругомъ меня волнуется, точно живетъ лихорадочной жизнью. Вагонъ дрожитъ и дребезжитъ отъ быстрого бѣга, вѣтеръ сыплетъ въ лицо снѣжной пылью, свѣтъ фонаря въ снѣгахъ прыгаетъ, мѣшаясь съ тѣнями. И, качаясь, я хожу отъ двери къ двери по холоднымъ снѣгамъ, уже поблѣвшимъ отъ снѣга... Прежде, помню, все это очень возбуждало меня. Шумный путь, неизвѣстность впереди, двадцать лѣтъ — все чувствовалось особенно сильно и весело. Хотѣлось пѣть, кричать что-нибудь вроде „марсельезы“ подъ грохочущій маршъ поѣзда и летѣть куда-то сломя голову... Теперь я только взволнованно хожу отъ двери къ двери. А за ними проплываютъ смутныя силуэты холмовъ и кустарниковъ, съ мгновеннымъ глухимъ ропотомъ проносятся подъ колесами чугунные мостики, между тѣмъ какъ въ далихъ, чуть блѣвующихъ поляхъ мелькаютъ огоньки глухихъ деревушекъ. И, шурясь отъ вѣтра, я съ грустью гляжу въ эту темную даль, гдѣ забытая жизнь родины мерцаетъ такими блѣдными, тихими огоньками...

Возвратясь въ вагонъ, застаю уже сонное царство. Въ полусумракѣ видны фигуры лежащихъ, тѣсно отъ шубъ и поднятыхъ спинокъ дивановъ, пахнетъ табакомъ и апельсинами.. Согрѣваясь послѣ холоднаго вѣтра, долго смотрю полузакрытыми глазами, какъ покачивается мѣховое пальто, повѣшенное у двери, и думаю о чемъ-то неясномъ, что сливается съ дрожащимъ сумракомъ вагона и незамѣтно убаюкиваетъ ритмомъ и ропотомъ... Славная вещь этотъ сонъ въ пути! Сквозь дремоту чувствуешь иногда, что поѣздъ затихаетъ. Тогда слышатся громкіе голоса подъ окнами, шарканье ногъ по каменной платформѣ, а въ затихшемъ вагонѣ—ровное дыханіе и храпъ спящихъ. Что-то безпокоитъ глаза... Это тусклый и лучистый, желтоватый блескъ замерзшаго окна напротивъ, за которымъ сталъ вокзальный фонарь. Онъ мутно озаряетъ сумракъ вагона, а со сна кажется болѣзненнымъ и неприятнымъ...

— Не знаете, какая станція?—спрашиваетъ кто-то страннымъ, испуганнымъ голосомъ...

Потомъ звонокъ бьетъ гдѣ-то далеко-далеко и усиительно, хлопаютъ двери вагоновъ, и доносится жалобный гулъ паровоза, напоминающій о безконечной дали пути и ночи. Что-то начинаетъ вздрагивать и поталкивать подъ бокъ; металлически-лучистый блескъ фонарей проходить и гаснетъ на стеклахъ оконъ; пружины дивана покачиваются все ровнѣе и ровнѣе, и, наконецъ, непрерывно возрастающій бѣгъ поѣзда снова погружаетъ въ дремоту...

Внезапное прикосновеніе чьей-то руки извѣщаетъ меня передъ утромъ о пересадкѣ. Испуганно вскакиваю, торопливо забираю вещи и черезъ большую, но сонную и тускло-освѣщенную станцію иду на какую-то длинную платформу, занесенную глубокимъ снѣгомъ, къ маленькому поѣзду, составленному изъ самыхъ разнокалиберныхъ вагоновъ.

„Новая дорога!—съ удовольствіемъ думаю я сквозь

сонъ.—Тишина, маленькіе вагоны, душистый дымъ березовыхъ дровъ, запахъ хвои... Славно!“

Въ полудремотѣ я попадаю въ такъ называемый „вагонъ-микстъ“, тѣсный, съ квадратными окнами, и тотчасъ же снова крѣпко засыпаю. Поѣздъ снова идетъ и снова убаюкиваетъ... И къ утру я оказываюсь уже очень далеко отъ Петербурга. И начинается долгій и настоящій русскій зимній путь, одинъ изъ тѣхъ, о которыхъ совѣтъ забыли въ Петербургѣ...

Будить меня чей-то мучительный кашель. Открываю глаза и вижу передъ собою становой, типичнаго стараго служаку въ рыжей енотовой шубѣ поверхъ сѣрой полицейской шинели. Отъ натуги глаза у него вытаращены и полны слезъ, обвѣтренное лицо красно, сѣдые усы взъерошены. Онъ необыкновенно жарко раскурилъ огромнѣйшую папиросу изъ дешеваго, крѣпкаго табаку, а въ тѣсномъ, старомъ вагончикѣ и безъ того сумрачно, потому что окна полужанесены снѣгомъ. Поѣздъ трясетъ и гремитъ, какъ телега.

— Вотъ такъ кашель!—говоритъ становой, отдуваясь, и такъ просто и добродушно, точно мы росли вмѣстѣ.—Только и полегчаетъ, когда немножко покуришь!

„Ну, значить, Петербургъ далеко!“—думаю я, подымаясь, и, машинально отвѣчая становому на разспросы о Петербургѣ, заглядываю въ окна. О, какой бѣлый, чистый снѣгъ! Кажется, давно ли я простился съ петербургскимъ поѣздомъ, а уже можно подумать, что все петербургское осталось за нѣсколькими тысячами верстъ за нами. Вокругъ только бѣлое безжизненное небо и бѣлое безконечное поле съ кустарниками и перелѣсками. И какъ не по-петербургски идетъ поѣздъ! Проволоки телеграфныхъ столбовъ лѣниво плывутъ за окнами, точно имъ скучно подыматься, опускаться и вытягиваться вслѣдъ за поѣздомъ, а столбамъ надоѣло бѣ-

жать за ними. Поѣздъ на подъемахъ скрипитъ и качается, а подь уклоны бѣжитъ, какъ старикъ, пустившійся догонять кого-нибудь. Однообразно бѣлѣютъ поля, машетъ вдали крыльями птица, чернѣютъ кустарники и деревушки—и все это кругами уходитъ назадъ. Вѣтеръ лѣвно развѣваетъ дымъ паровоза, и кустарники, по которымъ разстилается этотъ дымъ, какъ будто курятся и плаваютъ по снѣжному полю.. Все такъ старо и знакомо и въ то же время все ново и обаятельно!

Утро поэтому проходитъ незамѣтно. Умываешься, пьешь чай и не узнаешь себя. Нѣтъ и слѣда прежняго равнодушнаго отношенія ко всему. Петербургъ далеко, началась настоящая глушь... И мнѣ даже нравится, что вагонъ такой тѣсный и неуклюжій, что пассажировъ, кромѣ меня и становаго, который, впрочемъ, скоро слѣзетъ на разъѣздъ среди поля, всего-на-всего одинъ: бородатый коренастый старикъ — желѣзнодорожный артельщикъ съ сумкой черезъ плечо, похожій на уѣзднаго лавочника. Онъ усердно занимается насыпкой папиросъ и чаепитіемъ, и мнѣ все утро слышно, какъ онъ съ наслажденіемъ схлебываетъ съ блюдечка горячую жидкость.

— Не угодно ли-съ?—говоритъ онъ мнѣ, указывая глазами на жестяной чайникъ.—А то что-жъ на вокзалахъ-то платить по гривеннику за стаканчикъ!

Такъ какъ около двери, гдѣ я помѣщаюсь, по ногамъ несетъ холодомъ, то я сижу, закутавши колѣни пледомъ, и, не отрывая глазъ, все еще смотрю въ окно: то на свѣжія выемки около линіи, то на новенькіе тесовые станціи и разъѣзды, то на бѣлое поле съ перелѣсками, причемъ кажется, что стволы деревьевъ трепещутъ и сливаются, а весь перелѣсокъ идетъ кругомъ ближнія деревья, трепещетъ, бѣгутъ назадъ, а дальнія постепенно заходятъ впередъ... Потомъ мы съ артельщикомъ пьемъ чай, сообщая другъ другу свои біографіи: потомъ я отправляюсь бродить по вагонамъ и площад-

камь... Необыкновенно пріятно смотрѣть, какъ перепархиваетъ въ воздухѣ свѣжіи и чистый снѣгъ, и уже настоящей Русью пахнетъ всюду.

Станціи и разъѣзды часты, но они теряются среди окружающаго ихъ пустыннаго и огромнаго пейзажа зимнихъ полей. Кромѣ того, еще очень пусто на этихъ новыхъ станціяхъ, еще не завладѣла новая дорога краемъ и не вызвала къ себѣ его обитателей. Постоить поѣздъ на станціи,—иногда совершенно неизвѣстно, зачѣмъ,—и опять бѣжитъ среди полей и перелѣсков... Ыдемъ, впрочемъ, съ опозданіемъ, а кромѣ того, еще стояли въ полѣ, и никто не знаетъ, почему, и всѣ сидѣли въ томительномъ ожиданіи, слушая, какъ уныло шумитъ вѣтеръ за стѣнами неподвижныхъ вагоновъ, и какъ жалобно кричитъ бочкообразный паровозъ, имѣющій манеру трогать съ мѣста такъ, что пассажиры падаютъ съ дивановъ. Балансируя на неровномъ бѣгу поѣзда, я хожу изъ вагона въ вагонъ и вездѣ вижу обычную жизнь русскаго заходустнаго поѣзда. Въ первомъ и второмъ классѣ пусто,—иногда въ цѣломъ вагонѣ одинъ пассажиръ, который спитъ безпробуднымъ сномъ, а въ третьемъ—мѣшки, полушубки, сундуки, на полу соръ и подсолнухи, и тоже почти всѣ спятъ, лежа въ самыхъ тяжелыхъ и безобразныхъ позахъ. Неспящіе сидятъ и до одурѣнія накуриваются, такъ что жаркій воздухъ посинѣлъ отъ ѣдкаго и сладковатаго дыма махорки. Одинъ лотерейщикъ, молодой воръ съ бѣгающими глазами, не дремлетъ. Онъ собираетъ въ кучки мужиковъ и полупьяныхъ рабочихъ, и они, пробуя свое счастье, изрѣдка, точно на смѣхъ, выигрываютъ то карандашъ въ двѣ копейки, то какой-нибудь бокалъ изъ дугаго стекла. Слышится споръ и говоръ, неистово кричитъ ребенокъ, поѣздъ стучитъ и громыкаетъ, а солдатъ, въ новой ситцевой рубахѣ и въ черномъ галстухѣ, спокойно сидитъ надъ спящими на своемъ сундукѣ и, поставивъ ногу на противоположную лавочку,

съ совершенно безмысленными глазами и вытянутой верхней губой рычить на тульской гармоникѣ: „Чудный мѣсяць плыветъ надъ рѣкою“...

— Станція „Бѣлый Борь“, остановки восемь минутъ... — машинально кричитъ кондукторъ, рослый мужикъ въ тяжелой, длинной шинели, и, проходя по нашему вагону, съ такой силой хлопаетъ дверями, точно хочетъ заколотить ихъ навѣкъ.

Это значитъ, что начинаются уже лѣса. Послѣ „Бѣлаго Бора“ черезъ двѣ станціи—уѣздный городъ, по имени котораго называются эти лѣса. Кустарники и перелѣски становятся чаще, — начинается смѣшанное чернолѣсье и краснолѣсье. Проходить еще часъ, полтора, и, наконецъ, вдали изъ-за лѣса показываются главы и кресты монастыря, которымъ далеко извѣстенъ этотъ городъ. Борь вокругъ него вырубаютъ нещадно, и кажется, что новая дорога идетъ, какъ завоеватель, рѣшившій во что-бы то ни стало расчистить лѣсныя чащи, скрывающія жизнь въ своей вѣковой тишинѣ. И долгіи свистокъ, который даетъ поѣздъ, проходя передъ городомъ по мосту надъ лѣсной рѣчкой, какъ бы извѣщаетъ обитателей этихъ мѣстъ о своемъ шествіи.

На нѣсколько минутъ вокругъ насъ закипаетъ суматоха. За деревяннымъ, кирпичнаго цвѣта вокзаломъ видны тройки, громяхаютъ бубенчики, и кричатъ наперебой извозчики, а зимній день сѣръ и тепелъ, такъ что похоже, что на дворѣ масленица. По платформѣ гуляютъ барышни и молодые люди, среди которыхъ даетъ тонъ высокій телеграфистъ, очевидно, мѣстный красавецъ,— франтъ въ дымчатомъ пенснэ и кавказской паллахѣ. Двери въ вагонъ поминутно растворяются, и со двора несетъ холодомъ, и пахнетъ снѣгомъ и хвойнымъ лѣсомъ. Статный, великолѣпно-сложный лакей въ одномъ фракѣ и безъ шапки носитъ жареные пирожки, и странно видѣть среди лѣса его крахмальную рубашку и бѣлый галстухъ. Въ нашъ вагонъ набирается много барышень,

которыя кого-то провожаютъ и перешептываются, играя глазами; купецъ съ подушкой ломится къ своему мѣсту, давя на пути все встрѣчное, а худой, но очень высокій священникъ, запыхавшись и сдвинувъ съ потнаго лба на затылокъ бобровую шапку, вбѣгаетъ въ вагонъ и убѣгаетъ, униженно прося носильщика о помощи. Онъ укладываетъ безчисленное количество узловъ и кулечковъ на диваны и подъ диваны, извиняется предъ всѣми за безпокойство и притворно-весело бормочетъ:

— Ну, теперъ такъ! Вотъ это сюда... А вотъ это, я думаю, и подъ лавочку можно... Я не потревожу васъ? Нѣтъ? Ну, и чудесно,—покорнѣйше благодарю васъ!

А среди всей этой суматохи шныряетъ хромой разносчикъ съ корзиной лимоновъ, монашенки съ убитыми лицами жалобно просятъ на обитель, и внезапно, когда уже бьетъ второй звонокъ, какой-то слѣпой со звѣрскимъ лицомъ входитъ въ вагонъ и, ударивъ на скрипкѣ „Шумить Марица“, подхватываетъ маршь дикимъ басомъ.

Вагонъ между тѣмъ везутъ назадъ и опять останавливаютъ. Долго слышится, какъ кондуктора переругиваются и гремятъ по окнамъ сигнальной веревкой, протягивая ее отъ паровоза по поѣзду... Наконецъ, поѣздъ снова трогается.

И опять передъ окнами мелькаютъ березы и сосны въ снѣгу, поля и деревушки, а надъ ними—сѣрое небо...

Эти березы и сосны становятся, однако, все непривѣтливѣй: онѣ хмурятся, собираясь толпами все плотнѣе и плотнѣе. Идетъ молодой, легкій снѣжокъ, но отъ сплошныхъ чащей лѣса въ вагонахъ темнѣетъ, и кажется, что хмурится и погода. Теперь, кромѣ того, къ моему настроенію начинаетъ примѣшиваться что-то серьезное и строгое, омрачается радость возвращенія къ тихому лѣсному дню и тонкому запаху чистаго лѣснаго снѣга. Новая дорога все дальше уводитъ въ новый, еще

неизвѣстный мнѣ край Россіи, и отъ этого я еще живѣе чувствую то, что такъ полно чувствовалось въ юности: всю красоту и всю глубокую печаль русскаго пейзажа. Новую дорогу уже мрачно обступили темные лѣса и какъ бы хотятъ сказать ей:

— Иди, иди, мы разступаемся предъ тобою, но помни, какую отвѣтственность берешь ты на себя. Неужели ты снова только и сдѣлаешь, что къ робкой, запуганной бѣдности нашего края прибавишь еще нищету природы?

Зимній день въ лѣсахъ очень коротокъ, и вотъ уже медленно приближаются сумерки. Темнѣетъ въ углахъ вагона, и мало-по-малу заползаетъ въ сердце безпричинная, смутная, настоящая русская тоска. Петербургъ представляется мнѣ уже какимъ-то далекимъ оазисомъ на крайнѣ огромной снѣжной пустыни, которая обступила меня со всѣхъ сторонъ на тысячи верстъ. Нашъ вагонъ опять пустѣетъ. Опять со мною только три спутника: артельщикъ и двое спящихъ,—кавалеристъ и помощникъ начальника станціи. Кавалеристъ, молодой человекъ въ крѣпко-натянутыхъ рейтузахъ, спитъ, какъ убитый, богатырски растянувшись на спинѣ; помощникъ лежитъ внизъ лицомъ, слабо покачиваясь, точно приравливаясь къ толчкамъ бѣгущаго поѣзда. И тяжело смотрѣть на его старое пальто и старыя большія калоши, свѣсившіяся съ дивана.

Но этого мало: надо прибавить еще сумракъ и холодъ въ дребезжащемъ, неуклюжемъ вагонѣ. Глядя на медвѣжи трупы вокругъ поѣзда, думаешь, что этотъ громающій поѣздъ, набитый спящими рабочими и мѣщанами, идетъ гдѣ-нибудь въ тайгѣ, на далекомъ сѣверѣ. Мелькаютъ стволы высокихъ сосенъ въ сугробахъ, толпами тѣнятся на пригоркахъ монахини-елочки въ своихъ черныхъ бархатныхъ одеждахъ... Порою чаща разступается, и далеко развертывается унылая болотная низменность, угрюмо синѣетъ амфитеатръ лѣсовъ за нею, и полоскою дыма виситъ молочно-свинцовый туманъ

надъ лѣсами. А потомъ снова около самыхъ оконъ зачастиать сосны и ели въ снѣгу, глухими чащами надвигается чернолѣсье, потемнѣетъ въ вагонѣ... Стекла въ окнахъ дребезжатъ и перезваниваютъ, плавно ходитъ на петляхъ непритворенная въ другое отдѣленіе дверь краснаго дерева, а колеса, перебивая другъ друга, словно подъ землю, ведутъ свой торопливый и невнятный разговоръ.

— Болтайте, болтайте!—важно и задумчиво говорятъ имъ угрюмыя и высокія чащи сосенъ.—Мы разступаемся, но что-то несете вы въ нашъ тихій край?

Огоньки робко, но весело свѣтятъ въ маленькихъ, новыхъ домикахъ лѣсныхъ станціи. Новая суетливая жизнь чувствуется въ каждомъ изъ нихъ,—маленькіе оазисы среди пустыннаго лѣснаго царства. Но въ двухъ шагахъ отъ этого казеннаго домика начинается совсѣмъ другой міръ. Тамъ чернѣютъ затерянные среди лѣсовъ рѣдкіе поселки темнаго и унылаго лѣснаго народа. На платформахъ станціи иногда стоитъ нѣсколько человекъ изъ этихъ деревушекъ,—нѣсколько нищихъ въ рваныхъ полущубкахъ, лохматыхъ, съ простуженными горлами, но такихъ смиренныхъ и съ такими чистыми, почти дѣтскими глазами! Опустивъ кнуты, они выглаживаютъ пассажира почти безнадежно, потому что на нѣсколько человекъ изъ нихъ рѣдко приходится даже одинъ пассажиръ. И, тупо глядя на поѣздъ, они тоже какъ бы говорятъ ему своими взглядами:

— Дѣлайте, какъ знаете,—намъ податься некуда. А что изъ этого выйдетъ, мы не знаемъ.

Гляжу и я на этотъ еще такой молодой, но уже почти замученный народъ, и стараюсь представить себѣ, что ждетъ его. А за окнами встаютъ лѣсныя чащи, и уже синѣютъ зимнія сумерки. И вся Россія начинаетъ представляться мнѣ одной сплошной пустыней снѣговъ и лѣса, на которую медленно сходитъ теперь долгая и молчаливая ночь...

Ночь эта будетъ теплая, съ мягко падающимъ, ласковымъ снѣжкомъ. На минуту поѣздъ останавливается передъ длиннымъ и низкимъ строеніемъ на разѣздѣ. Освѣщенные окошечки его, какъ живые глаза, выглядываютъ изъ вѣкового соснового лѣса, занесеннаго снѣгами. Паровозъ, лязгая колесами по рельсамъ, плавно прокатываетъ мимо поѣзда, приводитъ къ нему десятокъ товарныхъ вагоновъ и, наконецъ, двумя жалобными криками объявляетъ, что онъ готовъ. Крики эти гремучими переливами далеко бѣгутъ по лѣсной округѣ, перекликаясь другъ съ другомъ, и поѣздъ снова трогается въ путь,—все дальше въ глубину глухого лѣсного края.

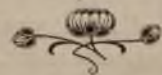
— Сейчасъ нехорошее мѣсто будетъ!—со вздохомъ говоритъ стоящій за мной на площадкѣ вагона мѣщанинъ.—Тутъ сейчасъ подъемъ версты въ три, а потомъ насыпь. Смотрѣть жутко! Тутъ дня не проходитъ безъ бѣды...

Я смотрю, какъ уходятъ отъ насъ и скрываются въ лѣсу огоньки станціи, и машинально слушаю его. Тихая и глубокая тоска, какъ лѣсная ночь, растетъ вокругъ меня...

„Какой странѣ принадлежу я,—думается мнѣ,—я, русскій интеллигентъ—пролетарій, одиноко скитающійся по роднымъ краямъ? Что общаго осталось у насъ съ этой лѣсною глушью? Она безконечно велика, и мнѣ ли разобратъ въ ея печаляхъ, и мнѣ ли помочь имъ? Моя собственная маленькая жизнь проходитъ беспорядочно въ мелкой погонѣ за минутами счастья, на которое я тоже имѣю право, но гдѣ же оно въ этихъ снѣжныхъ пустыняхъ? И какъ страшно одиноки мы, безпомощно ищущіе красоты, правды и высшихъ радостей для себя и для другихъ въ этой исполинской лѣсной странѣ! Какъ прекрасна, какъ дѣвственно-богата эта страна! Какія величавыя и мощныя чащи стоятъ вокругъ насъ, тихо задремывая въ эту теплую январскую ночь, полную нѣжнаго и чистаго запаха молодого

снѣга и зеленой хвои! И въ то же время какая жуткая даль!“

Я гляжу впередъ, на этотъ новый путь, который съ каждымъ часомъ все непривѣтливѣй встрѣчаютъ угрюмые лѣса. Теперь въ этомъ пути есть что-то фантастическое. Стиснутая черными чащами и освѣщенная впереди паровозомъ, дорога похожа на безконечный туннель. Столѣтнія сосны замыкаютъ ее и, кажется, не хотятъ пускать впередъ поѣздъ. Но поѣздъ борется: равномерно отбивая тактъ тяжелымъ, отрывистымъ дыханіемъ, онъ, какъ гигантскій драконъ, вползаетъ по уклону, и голова его вдали изрыгаетъ красное пламя, которое ярко дрожитъ подъ колесами паровоза на рельсахъ и, дрожа, злобно озаряетъ угрюмую аллею неподвижныхъ и безмолвныхъ сосенъ. Аллея замыкается мракомъ, но поѣздъ упорно подвигается впередъ. И дымъ, какъ хвостъ кометы, плыветъ надъ нимъ длинною бѣлесюю грядкою, полной огненныхъ искръ и окрашенной изъ-подъ низу кровавымъ отраженіемъ пламени изъ паровоза.



О С Е Н Ь Ю.

I.

Около одиннадцати часовъ вечера, когда мы всѣ сидѣли въ гостиной, наступило на минуту молчаніе среди разговора, и, воспользовавшись этимъ, она тотчасъ же встала съ мѣста и какъ бы мелькомъ взглянула на меня.

— Ну, мнѣ пора,—сказала она съ легкимъ вздохомъ, и у меня дрогнуло сердце отъ предчувствія какой-то большой радости и тайны между нами. Я не отходилъ отъ нея весь вечеръ и весь вечеръ ловилъ въ ея глазахъ затаенный блескъ, а въ разговорахъ разсѣянность и едва замѣтную, но совершенно новую ласковость. Теперь я вдругъ почувствовалъ, что наступилъ рѣшительный моментъ. Въ тонѣ, какимъ она какъ бы съ сожалѣніемъ сказала, что ей пора уходить, мнѣ почудился скрытый смыслъ,—то, что она знала, что я выйду съ нею...

— Вы тоже?—подуутвердительно спросила она, видя, что я беру шляпу.—Значить, вы проводите меня,—прибавила она вскользь и, слегка не выдержавъ роли, застѣнчиво улыбнулась, оглядываясь.

— Ну, до свиданія, — ласково сказала она хозяйкѣ.

Мужчины встали, и въ сдержанности, съ какой они опустили руки, была неподдѣльная почтительность передъ нею. Стройная и гибкая, какъ всѣ южанки съ примѣсью итальянской крови, она легкимъ и привычнымъ движеніемъ руки захватила юбку чернаго атласнаго платья и

еще разъ, уже всѣмъ, улыбнулась на прощанье. И въ этой улыбкѣ, въ молодомъ, изящномъ лицѣ, въ черныхъ глазахъ и волосахъ,—даже, казалось, въ тонкой ниткѣ жемчуга на шеѣ и блескѣ брилліантовъ въ серьгахъ—во всемъ была застѣнчивость дѣвушки, которая любитъ впервые. И пока ее просили передать поклоны ея мужу, а потомъ помогали ей въ прихожей одѣваться, я держался въ сторонѣ, а самъ считалъ секунды, боясь, что кто-нибудь выйдетъ съ нами.

Но вотъ мы пожали руку хозяину, нѣсколько голо-совъ сразу сказала „до свиданья“, и дверь, изъ которой на мгновеніе упала въ темный большой дворъ полоса свѣта, мягко захлопнулась. Подавляя нервную дрожь и чувствуя во всемъ тѣлѣ необычную легкость, я взялъ ее подъ руку и заботливо сталъ сводить съ крыльца, предупреждая о ступенькахъ.

— Вы хорошо видите? — спросила она, глядя подъ ноги. И въ голосѣ ея опять слышались и застѣнчивость, и поощряющая привѣтливость.

Я поспѣшилъ отвѣтить неестественно-оживленно и, наступая на лужи и листья, наугад повелъ ее по двору, мимо обнаженныхъ акаціи и уккусныхъ деревьевъ, которія гулко и упруго, какъ корабельныя снасти, гудѣли подъ влажнымъ и сильнымъ вѣтромъ южной ноябрьской ночи.

— Воображаю, какой штормъ теперь на морѣ! — заговорилъ я машинально, все болѣе волнуясь и не зная, какъ сказать главное и нужное.

— Теперь, должно быть, очень поздно,—перебила она безпокойно, прислушиваясь къ шуму деревьевъ.—Я уже третій вечеръ не дома, и мнѣ ужасно стыдно передъ своими...

— Какъ поздно? — возразилъ я, на мгновеніе растерявшись.—Какъ поздно, когда еще одиннадцати вѣтъ? И неужели вы домой?—прибавилъ я внезапно, останавливаясь и понижая голосъ.

*Видно, какъ легко
испортилась.*

Она тоже приостановилась.

— А куда же?—спросила она изумленно и почти строго.

За рѣшетчатыми воротами свѣтился фонарь моего экипажа. Я взглянулъ на него, потомъ на ея лицо и вспомнилъ то, что она уже давно обѣщала мнѣ, — поѣздку за городъ.

— Къ морю,—выговорилъ я тихо.

Тогда, не отвѣчая, она взяла своей маленькой, узкой отъ перчатки рукой желѣзный пруть воротъ и безъ моей помощи откинула половину ихъ въ сторону. Поспѣшно прошла она къ экипажу и сѣла въ него, также быстро сѣлъ и я рядомъ съ нею и, накидывая на ея колѣни пледъ, не громко, но увѣренно сказалъ кучеру:

— За городъ, по прибрежной дорогѣ.

II.

Мы мелькомъ взглянули другъ на друга, но, помню, первое время долго не могли сказать ни слова. То, что тайно волновало насъ послѣдній мѣсяцъ, было теперь сказано, и мы замолчали только потому, что сказали это слишкомъ ясно и неожиданно. Я беззвучно прижалъ ея руку къ своимъ губамъ и, взволнованный, отвернулся и сталъ пристально глядѣть въ сумрачную даль бѣгущей навстрѣчу намъ улицы. Я еще боялся ея и, когда на мой вопросъ,—не холодно ли ей,—она только со слабой улыбкой шевельнула губами, не въ силахъ отвѣтить, я понималъ, что и она боится меня. Но на пожатье руки она отвѣтила благодарно и крѣпко.

Коляска быстро и по одной линіи мчалась вдоль полутемной улицы уже безлюднаго и соннаго города. Южный вѣтеръ шумѣлъ въ деревьяхъ на бульварахъ, колебалъ пламя рѣдкихъ газовыхъ фонарей на перекресткахъ и скрипѣлъ вывѣсками надъ дверями запер-

тыхъ лавокъ. Иногда какая-нибудь сторбленная фигура выросла вмѣстѣ со своею шаткой тѣнью подъ большимъ качающимся фонаремъ таверны, но исчезалъ фонарь за нами—и опять на улицѣ было пусто, и только сырой вѣтеръ мягко и непрерывно билъ откуда-то изъ темноты по лицамъ. Изъ-подъ переднихъ колесъ брызгами сыпалась въ разныя стороны грязь, и она, казалось, съ интересомъ слѣдила за ними. Я взглядывалъ иногда на ея опущенныя рѣсницы и склоненный подъ шляпой профиль, чувствовалъ всю ее такъ близко отъ себя, слышавъ тонкій запахъ ея волосъ, и меня волновалъ даже гладкій и нѣжный мѣхъ соболя на ея шеѣ.

— Направо,—сказалъ я кучеру, молчаливому австрийцу, когда впереди показались липовато-бѣлые электрическіе шары на главной улицѣ.

И за два квартала до нея онъ свернулъ на такую широкую, пустую и длинную улицу, что, казалось, ей нѣтъ конца. Здѣсь почти уже совѣтъмъ не было фонарей, и только въ рѣдкихъ домахъ свѣтились окна сквозь жалюзи и ставни. Когда-же коляска миновала старые еврейскіе ряды и базаръ, мостовая сразу кончилась, точно оборвалась подъ нами. Отъ толчка на новомъ поворотѣ она покачнулась, и я невольно обнялъ ее. Она взглянула впередъ,—потомъ обернулась ко мнѣ. Мы встрѣтились лицомъ къ лицу, въ ея глазахъ не было больше ни страха, ни колебанія,—легкая застѣнчивость сквозила только въ напряженной улыбкѣ,—и тогда я, не сознавая, что дѣлаю, на мгновение крѣпко прильнулъ къ ея губамъ. Не выпуская моей руки изъ своей, она отвѣтила робкимъ и быстрымъ поцѣлуемъ и, смутившись, но уже тономъ близкаго человѣка, машинально проговорила:

— Закрой мнѣ пледомъ ноги...

Я заботливо, какъ женѣ, окуталъ ей пледомъ колѣни, а въ душѣ у меня все затрепетало отъ неудержимой радости. О, это первое „ты“ послѣ перваго по-

цѣлуя! Въ моей радости уже не было ни тревоги, ни сомнѣній, но мнѣ еще сладко было сдерживать ее внутри себя. И опять, переглянувшись, мы невольно отвернулись другъ отъ друга и стали пристально слѣдить за брызгами летѣвшей изъ-подъ колесъ грязи...

III.

Въ темнотѣ мелькали высокіе силуэты телеграфныхъ столбовъ вдоль дороги,—наконецъ, пропали и они, свернули куда-то въ сторону и скрылись. Небо, которое надъ городомъ было черно и все-таки отдѣлялось отъ его слабо освѣщенныхъ улицъ, совершенно слилось здѣсь съ землею, и насъ окружилъ сырой и вѣтренный мракъ. Я оглянулся назадъ. Огни города, расположеннаго въ долинѣ, тоже исчезали, — они были разсыпаны точно гдѣ-то въ темномъ морѣ, — а впереди мерцалъ только одинъ огонекъ, такой одинокій и отдаленный, точно онъ былъ на краю свѣта. То была старая молдавнская корчма на большой дорогѣ, и оттуда несло сильнымъ вѣтромъ, который путался и торопливо шуршалъ въ изсохшихъ стебляхъ кукурузы.

— Куда мы ѣдемъ?—спросила она, сдерживая дрожь въ голосѣ. Но глаза ея блестяли,—наклонившись къ ней, я различалъ ихъ въ темнотѣ,—и въ нихъ было какое-то странное и вмѣстѣ съ тѣмъ счастливое выраженіе.

— Къ дачамъ за маяками,—сказалъ я.— Ты боишься? Она закрыла глаза и съ улыбкой покачала головой.

— Тамъ теперь жутко, какъ на картинѣ Баклина,—сказалъ я.—Я люблю тебя, я хотѣлъ-бы затеряться съ тобой въ темнотѣ этой непонятной ночи... Слушай, какъ все это случилось?

— Не знаю,—отвѣтила она медленно, опять качая

головой.—Скажи лучше: правда, что ты любилъ меня и раньше... до сегодняшняго вечера?

Вѣтеръ торопливо шуршалъ и бѣжалъ, путаясь въ кукурузѣ, лошади быстро неслись ему навстрѣчу. На нѣсколько минутъ, горизонтально освѣщая темноту въ отдаленіи, показались два далеко разставленные другъ отъ друга маяка, два большихъ зловѣщихъ огня, свѣвшихъ гдѣ-то въ воздухѣ. Потомъ одинъ изъ нихъ сталъ опускаться и меркнуть, точно уходя въ землю, а второй какъ будто выросъ и загорѣлся виднѣе и ярче, кидая вправо отъ себя длинную бѣлесо-дымчатую полосу. Когда же она внезапно повернулась куда-то по направленію къ морю и потухла, только ночь и темнота остались съ нами. Казалось, что теперь уже надолго кончились обитаемыя мѣста. Снова куда-то мы свернули, и вѣтеръ сразу измѣнился, сталъ влажнѣе и прохладнѣе и еще безпокойнѣе заметался вокругъ насъ, играя какъ крыльями, капюшономъ моего плаща. Она низко наклонила противъ вѣтра голову, потомъ повернулась ко мнѣ.

— А вѣдь правда!—сказала она вполголоса.— Куда мы ѣдемъ, и къ чему эта странная случайная ночь? Я даже мечтать разучилась о такихъ ночахъ, и что будетъ завтра, послѣзавтра?.. Откуда ты и кто ты?—прибавила она, съ изумленной улыбкой раскрывая блестяшіе въ темнотѣ глаза.—Ты понимаешь, что я хочу сказать? Я какъ будто въ первый разъ вижу тебя и вмѣстѣ съ тѣмъ мнѣ такъ хорошо съ тобой, точно я во снѣ!

— Не надо думать!—отвѣтилъ я.—Я знаю только то, что все это нужно и мнѣ, и тебѣ, и что я люблю тебя...

„Можетъ быть, мы и въ самомъ дѣлѣ сошли съ ума!“ добавилъ я мысленно, полной грудью вдыхая вѣтеръ. И мнѣ все сильнѣе хотѣлось, чтобы все темное, слѣпое и непонятное, что было въ этой ночи, было еще непонятнѣе и смѣлнѣе. Ночь, которая казалась въ городѣ обычной ненастной ночью, была здѣсь, въ полѣ, совсѣмъ

иная. Въ ея темнотѣ и вѣтрѣ было теперь что-то большое и властное, и когда, наконецъ, послышался сквозь шорохъ бурьяновъ какой-то ровный однообразный шумъ вдаль, мнѣ стало жутко и бѣшено-весело.

— Море?—спросила она.

— Море,—сказалъ я.—Это уже послѣднія дачи.

А въ поблѣднѣвшей темнотѣ, къ которой мы приглядѣлись, между тѣмъ, выросли влѣво отъ насъ огромныя и угрюмыя сидухты тополей въ дачныхъ садахъ, спускавшихся къ морю. Шорохъ колесъ и топотъ копытъ по грязи, отдаваясь отъ садовыхъ оградъ, на минуту сталъ явственнѣе, но скоро ихъ заглушилъ приближающійся гулъ деревьевъ, въ которыхъ метался вѣтеръ, и шумъ моря. Промелькнуло нѣсколько наглухо забытыхъ вилокъ въ садахъ, смутно бѣлѣвшихъ въ темнотѣ и казавшихся мертвыми... Потомъ тополи разступились, и внезапно въ пролетъ между ними пахнуло широкой влажностью,—тѣмъ вѣтромъ, который прилетаетъ къ землѣ съ огромныхъ водяныхъ пространствъ и кажется ихъ свѣжимъ дыханіемъ...

— Остановись,—сказалъ я, трогая за рукавъ кучера.

Она взглянула на меня.

— Приѣхали?—спросила она удивленно.

— Да,—отвѣтилъ я, беря ее подъ руку.

Лошади остановились.

И тотчасъ же ровный и величавый ропотъ, въ которомъ чувствовалась огромная тяжесть воды, и безпорядочный гулъ деревьевъ въ безпокойно дремавшихъ садахъ стали слышнѣе, и мы быстро пошли по листьямъ и лужамъ, среди какой-то высокой аллеи къ обрывамъ..

IV.

Море гудѣло подъ ними необычно грозно. Оно какъ будто хотѣло выдѣлиться изъ всѣхъ шумовъ этой тревожной и полусонной ночи. Огромное, теряющееся изъ глазъ въ пространствѣ, оно лежало глубоко внизу, далеко бѣлѣя сквозь сумракъ бѣгущими къ землѣ гривами пѣны. Все было дико и мощно въ немъ и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ величественно и прекрасно, что мы спѣшили къ нему, не разбирая дороги. Гораздо болѣе страшенъ былъ безпорядочный гулъ старыхъ липъ и тополей за оградой сада, мрачнымъ островомъ выроставшаго на скалистомъ побережьи. Чувствовалось, что въ этомъ безлюдномъ мѣстѣ властно царить теперь ночь поздней осени, и старый большой садъ, забытый на зиму домъ и раскрытыя бесѣдки по угламъ ограды производили жуткое впечатлѣніе своей заброшенностью. Одно море гудѣло ровно, побѣдно и, казалось, все величавѣе въ сознаніи своей силы. Влажный вѣтеръ валилъ съ ногъ на обрывѣ, и остановясь надъ нимъ, мы долго не въ состояніи были насытиться его мягкой, до глубины души проникающей свѣжестью. Потомъ, невольно прижимаясь другъ къ другу, скользя по мокрымъ глинистымъ тропинкамъ и остаткамъ деревянныхъ лѣстницъ, мы поспѣшно и неловко стали спускаться внизъ, къ сверкающему пѣной прибою.

— Не упади!—крикнулъ я на послѣднемъ обрывѣ, протягивая къ ней обѣ руки.

Она покорно отдалась въ нихъ, и это былъ послѣдній моментъ нашего смущенія другъ передъ другомъ. Ставъ на гравій, мы тотчасъ же отскочили въ сторону отъ волны, разбившейся о камни цѣлымъ снопомъ брызгъ, и, переглянувшись, засмѣялись.

— Посмотри скорѣе вверхъ,—сказала она.

Я взглянул на обрывъ,—тамъ высились и гудѣли черные тополи, а подъ нами, какъ бы въ отвѣтъ имъ, жаднымъ и бѣшенымъ прибоемъ играло море. Высокія, долетающія до насъ волны съ грохотомъ пушечныхъ выстрѣловъ рушились на берегъ, крутились и сверкали цѣлыми водопадами снѣжной пѣны, рыли песокъ и камни и, убѣгая назадъ, увлекали спутанные водоросли, иль и гравіи, который гремѣлъ и скрежеталъ въ ихъ влажномъ шумѣ. И весь воздухъ былъ полонъ тонкой, прохладной пылью, все вокругъ дышало вольной свѣжестью моря. Темнота блѣднѣла все болѣе, и море уже ясно видно было на далекое пространство.

— И мы одни!—сказала она, закрывая глаза отъ вѣтра и какъ бы дополняя словами все, что окружало насъ...

V.

Мы были одни... Обнимая ее, я цѣловалъ ея губы, упиваясь ихъ нѣжностью и влажностью, цѣловалъ глаза, которые она подставляла мнѣ, прикрывая ихъ съ улыбкой, цѣловалъ похолодѣвшее отъ морского вѣтра лицо, а когда она сѣла на камень, стала передъ нею на колѣни, обезсиленный своей радостью.

— А завтра?—говорила она надъ моею головою.

И я поднималъ голову и смотрѣлъ ей въ лицо. За мною жадно буневало море, надъ нами высились и гудѣли тополи...

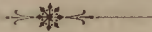
— Что завтра?—повторилъ я ея вопросъ и почувствовалъ, какъ у меня дрогнулъ голосъ отъ слезъ непобѣдимого счастья.—Что завтра?—сказалъ я, смѣясь и поцѣловалъ ея грудь сквозь одежду.—Я, который упивается близостью къ тебѣ, къ твоей красотѣ и молодости, кому ты всѣмъ существомъ своимъ говоришь: я твоя, ты достоинъ меня.—что я могу сказать теперь тебѣ!

Она долго не отвѣчала мнѣ, потомъ протянула мнѣ руку, и я сталъ снимать перчатку, цѣлуя и руку, и перчатку и наслаждаясь ихъ тонкимъ, женственнымъ запахомъ.

— Да!—сказала она медленно, и я близко видѣлъ въ звѣздномъ свѣтѣ ея блѣдное и счастливое лицо.— Какъ все это похоже на сонъ, на мечты, какъ горько мнѣ почему-то и въ то же время какъ необычно хорошо! Когда я была дѣвушкой, я безъ конца мечтала о счастьи, но все оказалось такъ скудно и обыденно, что теперь эта, можетъ быть, единственная счастливая ночь въ моей жизни кажется мнѣ не похожей на дѣйствительность и преступной. Завтра все это покажется еще болѣе сномъ, завтра я сама съ ужасомъ вспомню эту ночь, но теперь мнѣ все равно... Я люблю тебя,—говорила она нѣжно, тихо и вдумчиво, какъ бы говоря только для самой себя, и медленно перебирала мои волосы.

Говорила ли она именно такъ, и было ли въ дѣйствительности все то, что вспоминается мнѣ? Я не знаю этого, да и нужна ли людямъ только правда и правда?

Рѣдкія, голубоватыя звѣзды мелькали между тучами надъ нами, и небо понемногу расчищалось, и тополи на обрывахъ чернѣли рѣзче, и море все болѣе отдѣлялось отъ далекихъ горизонтовъ. Была ли она лучше другихъ, которыхъ я любилъ, или нѣтъ, я тоже не знаю, но въ эту ночь она была несравненной. И когда я цѣловалъ атласъ платья на ея колѣняхъ, а она въ отвѣтъ на мои безконечныя признанія и планы на будущее тихо смѣялась сквозь слезы и обнимала мою голову, я смотрѣлъ на нее съ восторгомъ безумія, и въ тонкомъ звѣздномъ свѣтѣ ея блѣдное, счастливое и въ то же время усталое лицо казалось мнѣ прекраснымъ, какъ у безсмертной.



ТУМАНЪ.

Вторая сутки мы были въ морѣ, ноплыли всего около сутокъ. На разсвѣтъ первой ночи, когда пароходъ уже далеко держался отъ суши, мы встрѣтили то, что можно было предвидѣть: теплый, густой туманъ, который закрылъ горизонты, задымилъ мачты и медленно возрасталъ вокругъ насъ, сливаясь съ сѣрымъ моремъ и сѣрымъ небомъ. Была зима, но всѣ послѣдніе дни стояла рѣдкая даже для юга оттепель. На Кавказскихъ горахъ таяли снѣга, а море дышало обильными предвесенними испареніями. И вотъ раннимъ сумрачнымъ утромъ машина нашего парохода внезапно затихла, а пассажиры, разбуженные этой неожиданной остановкой, гремучими свистками и топотомъ ногъ по палубѣ, — полусонные, озябшіе и встревоженные, — одинъ за другимъ стали появляться у рубки. Шелъ безпорядочный споръ и говоръ, никто не понималъ, въ чемъ дѣло, а сѣрбая космы тумана, какъ живыя, медленно ползли по пароходу.

Помню, что вначалѣ это сильно беспокоило. Колоколь почти непрерывно звонилъ на бакѣ, изъ трубы съ тяжкимъ хрипомъ вырывался угрожающій ревъ, а пассажиры кучками стояли на палубѣ и тревожно смотрѣли на растущій туманъ. Онъ вытягивался, изгибался, плылъ дымомъ и порою такъ густо окутывалъ пароходъ, что мы казались другъ другу призраками, фантастично дви-

гающимися въ сѣрой мглѣ. Похоже было на хмурыя осеннія сумерки, въ которыхъ неприятно дрогнешь отъ сырости и чувствуешь, какъ зеленѣетъ лицо. Потомъ туманъ сдѣлался немного свѣтлѣй, ровнѣй и, значить, безнадежнѣе. Пароходъ снова шелъ, но такъ робко и сдержанно, что дрожь отъ работающей машины была почти беззвучна. Не переставая звонить, онъ направлялся теперь все дальше отъ берега къ югу, гдѣ непроницаемая густота тумана наливалась уже настоящими сумерками, — тоскливой мутью аспиднаго цвѣта, за которой въ двухъ шагахъ чудился конецъ свѣта, жуткая пустыня пространства. И по мѣрѣ того, какъ темнѣло, погода становилась все хуже. Съ рей, съ навѣсовъ и снастей капала вода. Мокрая угольная пыль, летѣвшая изъ трубы, чернымъ дождемъ сыпалась сейчасъ же возлѣ нея. Хотѣлось хоть что-нибудь разсмотрѣть въ ненастной дали, но туманъ окутывалъ, какъ сонъ, приглушалъ слухъ и зрѣніе: пароходъ съ рубки былъ похожъ на воздушный корабль, передъ глазами была сѣрая муть, на рѣсницахъ — холодная паутина, и матросъ, который курилъ невдалекѣ отъ меня, обсыхая мокрые соленые усы, казался мнѣ порою такимъ, точно я видѣлъ его во снѣ... Наконецъ, пароходъ снова остановился.

Вспыхнуло сквозь туманъ живымъ глазомъ электричество въ фонарѣ на мачтѣ, черными клубами величаво повалилъ дымъ изъ жерла тяжелой и приземистой трубы и сейчасъ же повисъ гигантскою змѣею въ воздухѣ. Колоколь безъ смысла и однообразно звонилъ на носу, а гдѣ-то мрачнымъ и тоскливымъ голосомъ простонала „сирена“... можетъ быть, и не существующая, а созданная напряженнымъ слухомъ, которому всегда чудится что-нибудь въ таинственной безбрежности тумана... Туманъ между тѣмъ темнѣлъ все угрюмѣе. Вверху онъ сливался съ сумракомъ неба, внизу бродилъ вокругъ парохода, едва касаясь воды, которая слабо плес-

калась въ пароходные бока. Наступала долгая зимняя ночь,—темная ночь въ безграничномъ морѣ, потонувшемъ въ туманяхъ.

Тогда, чтобы вознаградить себя за тоскливый день, истомившій всѣхъ ожиданіями и предчувствіемъ бѣды, пассажиры вмѣстѣ съ пароходнымъ начальствомъ устроили ужинъ. Вокругъ парохода была уже непроглядная ночь, а внутри его, въ нашемъ маленькомъ міркѣ, было свѣтло, шумно и людно. Въ каютъ-компаніи играли въ карты, пили чай, изъ кухни пахло кушаньями, лакеи бѣгали изъ буфета въ буфетъ, хлопая пробками. Я лежалъ въ своемъ помѣщеніи подъ каютъ-компаніей и долго слушалъ топотъ ногъ, раздававшійся надъ головою. Когда же заиграли манерно-печальный модный вальсъ на піанино, мнѣ стало грустно и хорошо въ одно и то же время, и захотѣлось на-людн. Я одѣлся и вышелъ къ ужину.

Должно быть, мнѣ было весело въ тотъ вечеръ. По крайней мѣрѣ, мнѣ казалось такъ, и было пріятно, что вечеръ прошелъ незамѣтно. Всѣ забыли про туманъ и опасности, всѣ танцевали и пѣли, всѣ ходили съ сияющими глазами. Потомъ долго и шумно ужинали... Потомъ устали и захотѣли спать... И большая, но душная и жаркая каютъ-компанія, въ которой уже болѣзненно-ярко блестѣли огни, наконецъ, опустѣла. А когда я заглянулъ туда черезъ полчаса, то тамъ былъ уже полный мракъ, какъ почти и всюду на пароходѣ. Сверху доносился иногда звонъ колокола и былъ очень страненъ въ наступившей тишинѣ. Потомъ и онъ сталъ слышенъ все рѣже и рѣже... И все точно вымерло вокругъ меня.

Чувствуя, что часъ сна уже пропущенъ, я прошелся внизу по коридорамъ парохода, посидѣлъ въ рубкѣ, прислонясь къ холодной мраморной стѣнѣ... Вдругъ и въ ней погасло электричество, а я сразу точно ослѣпъ. Внутренно напѣвая то, что пѣли и играли въ этотъ вечеръ, я оцупью добрался до трапа, поднялся по немъ

на нѣсколько ступеней къ верхней палубѣ — и остановился, пораженный красотой и печалью лунной ночи.

О, какая странная была эта ночь! Ничего подобнаго я не видалъ прежде. Былъ уже очень поздній,—можетъ быть, предразсвѣтный часъ. Пока мы пѣли, ужинали, говорили другъ другу вздоръ и смѣялись, здѣсь, въ этомъ совершенно чуждомъ намъ мірѣ неба, тумана и моря, взошла кроткая, одинокая и всегда печальная луна, и воцарилась глубокая полночь... совершенно такъ же, какъ, вѣроятно, пять, десять тысячъ лѣтъ тому назадъ... Туманъ тѣсно стоялъ сумрачными стѣнами, и было жутко глядѣть во мракъ, таящійся въ немъ, но среди этого тумана, озаряя круглую прогалину для парохода, вставало нѣчто, подобное свѣтлomu мистическому видѣнію: желтый мѣсяцъ поздней ночи, опускаясь на югъ, замеръ на блѣдной и прозрачной завѣсѣ тумана и, какъ живой, глядѣлъ изъ огромнаго, широко-раскинутаго кольца. И что-то апокалипсическое было въ этомъ кругѣ... что-то неземное, полное молчаливой тайны, стояло въ гробовой тишинѣ,—во всей этой ночи, въ пароходѣ и въ мѣсяцѣ, который удивительно близко былъ на этотъ разъ къ землѣ и прямо смотрѣлъ мнѣ въ лицо съ грустнымъ и безстрастнымъ выраженіемъ...

Медленно поднялся я на послѣднія ступеньки трапа и прислонился къ его периламъ. Подо мной былъ весь пароходъ. По выпуклымъ деревяннымъ мосткамъ и палубамъ тускло блестѣли кое-гдѣ продольныя полоски воды,—слѣды уходящаго тумана. Отъ перилъ, канатовъ и скамеекъ, какъ паутина, падали легкія дымчатая тѣни. Въ срединѣ парохода, въ трубѣ и машинѣ, чувствовалась колоссальная и надежная тяжесть, въ мачтахъ—высота и зыбкость. Но весь пароходъ все-таки представлялся легко и стройно выросшимъ кораблемъ-привидѣніемъ, оцѣпенѣвшимъ на этой тѣсной и блѣдно-освѣщенной, сонной прогалинѣ среди тумана. Вода низко и плоско лежала передъ правымъ бортомъ. Тайвственно

но совершенно беззвучно колеблясь, она уходила в легкую дымку под мѣсяцъ и поблескивала въ ней, словно тамъ появлялись и исчезали золотыя змѣйки. Впрочемъ, блескъ этотъ терялся въ двадцати шагахъ отъ меня,—дальше онъ мерцалъ уже чуть видно, какъ мертвый глазъ. А когда я смотрѣлъ кверху, мнѣ опять чудилось, что этотъ мѣсяцъ—блѣдный образъ какого-то мистическаго видѣнія, что эта тишина — тайна, часть того, что за предѣлами познаваемаго...

Внезапно зазвонили на бакѣ въ колоколь. Звуки уныло побѣжали одинъ за другимъ, нарушая молчаніе ночи, и тотчасъ же, какъ будто въ отвѣтъ имъ, послышался гдѣ-то впереди смутный шумъ и ропотъ, равномерно возрастающій все шире и сердитѣе. Мгновенно предчувствіе опасности заставило меня впитаться глазами въ сумрачный туманъ направо, гдѣ ухо уловило тяжелый ропотъ, и вдругъ кровавый сигнальный огонь, похожій на крупный рубинъ, выросъ изъ тумана и сталъ быстро приближаться къ намъ. Подъ нимъ мутно-золотыми пятнами расплывались и шли длинной цѣпью освѣщенные окна, а въ шумѣ колесъ, который былъ похожъ сперва на приближающійся шумъ каскада, уже выдѣлялись звуки быстро вертящихся лопастей, и можно было различить, какъ шипитъ и сыплется вода. Вахтенный на нашемъ пароходѣ съ поспѣшностью очнувшася отъ сна человѣка машинально и нескладно забилъ въ колоколь, а затѣмъ тяжело захрипѣла труба, и, какъ изъ открытаго клапана, изъ нея съ трудомъ пробился широкій и мрачный гулъ, потрясающій весь остовъ парохода. Изъ тумана раздался тогда отвѣтный голосъ, похожій на гулкій крикъ паровоза, но онъ быстро затерялся въ туманѣ, а за нимъ медленно сталъ таять и шумъ колесъ, и красный сигнальный огонь. Въ этомъ крикѣ и шумѣ чувствовалось что-то задорное и суетное,—вѣрно, и капитанъ встрѣчнаго парохода былъ молодъ и дерзокъ,—но, помню, все это не произвело на меня тогда

никакого впечатлѣнія. Мы стоимъ, онъ идетъ, очертя голову, но что значитъ эта суетная смѣлость передъ лицомъ такой ночи,—смѣлость маленькая и будничная, рожденная не вдохновеннымъ героизмомъ, а бессознательностью поступковъ! И, какъ сновидѣніе, промелькнулъ этотъ встрѣчный пароходикъ, и, какъ сновидѣніе, скрылся въ туманѣ. И опять наступила полная тишина, и опять воцарилось во всей своей красотѣ мертвое молчаніе.

„Гдѣ мы?“ — пришло мнѣ въ голову. Вахтенные, вѣроятно, уже снова дремлютъ, пассажиры спятъ не пробуднымъ сномъ,—туманъ сбилъ меня съ толку... Я даже приблизительно не знаю, гдѣ мы, потому что въ этихъ мѣстахъ на Черномъ морѣ я никогда не бывалъ... Но не все ли равно? Я не понимаю молчаливыхъ тайнъ этой ночи, но вѣдь я и вообще ничего не понимаю. Я оглядывался кругомъ, чего-то ждалъ и во что-то хотѣлъ вдуматься, но чувствовалъ только одно — что я совершенно одинокъ и что я не знаю, гдѣ я и зачѣмъ существую. И зачѣмъ эта странная ночь, и зачѣмъ стоитъ этотъ сонный корабль въ сонномъ морѣ? А главное — зачѣмъ все это не просто, а полно какого-то глубокаго и таинственнаго значенія? Кажется, что если бы кто-нибудь нечаянно натолкнулся теперь на нашъ пароходъ, — онъ невольно перекрестился бы на него...

А потомъ уже ничто не удивляло меня. Околдованной тишиной ночи, тишиной, подобной которой никогда не бываетъ на землѣ, я отдался въ ея полную власть. На мгновеніе мнѣ почудилось, что въ невыразимой дали гдѣ-то прокричалъ пѣтухъ... Я усмѣхнулся. „Этого не можетъ быть“, — подумалъ я почти съ удовольствіемъ, и все, чѣмъ я жилъ когда-то, показалось мнѣ такимъ маленькимъ и жалкимъ! Если бы въ этотъ часъ выплыла на мѣсяцъ наяда, — я нисколько не удивился бы... Не удивился бы также, если бы кто-нибудь въ бѣлой одеждѣ тихо показался вдали, идя по водѣ къ паро-

ходу, или если бы утопленница вышла изъ воды и, блѣдная отъ мѣсяца, сѣла въ лодку, спущенную около оконъ пассажирскихъ каютъ... Теперь мѣсяцъ смотритъ прямо въ эти круглыя окошечки и озаряетъ угасающимъ свѣтомъ спящихъ, а они лежатъ, какъ мертвые... „Не разбудить ли кого-нибудь? Но нѣтъ,—зачѣмъ?—отвѣтилъ я самъ себѣ,—мнѣ никто не нуженъ теперь, и я никому не нуженъ, и всѣ мы чужды другъ другу...“

И невыразимое спокойствіе великой и безнадежной печали овладѣло мною. Проходили минуты за минутами, а я все сидѣлъ, не двигаясь, и казалось, конца не будетъ этой ночи. Думалъ я о томъ, что всегда влекло меня къ себѣ,—о всѣхъ жившихъ на этой землѣ, о людяхъ древности, которыхъ всѣхъ видѣлъ этотъ мѣсяцъ, и которые, вѣрно, казались ему всегда на-столько маленькими и похожими другъ на друга, что онъ даже не замѣчалъ ихъ исчезновенія съ земли. Но теперь и они были чужды мнѣ: я не испытывалъ моего постоянного и страстного стремленія пережить всѣ ихъ жизни,—слиться со всѣми, которые когда-то жили, любили, страдали, радовались и прошли и безслѣдно скрылись во тьмѣ время и вѣковъ. Одно я зналъ безъ всякихъ колебаній и сомнѣній,—это то, что есть что-то высшее даже по сравненію съ глубочайшею земною древностью... можетъ быть, та апокалипсическая тайна, которая молчаливо хранилась въ ночи, и которую знаютъ только туманы... И впервые мнѣ пришло въ голову, что, можетъ быть, именно то великое, что обыкновенно называютъ *смертью*, заглянуло мнѣ въ эту ночь въ лицо, и что я впервые встрѣтилъ ее спокойно и понималъ такъ, какъ должно человѣку...

Впрочемъ, утромъ, когда я открылъ глаза и почувствовалъ, что пароходъ идетъ полнымъ ходомъ, и что въ открытый люкъ тянетъ теплый, легкій вѣтерокъ съ крымскихъ побережій, я вскочилъ съ койки, снова полный безсознательной радости жизни. Я быстро умылся

и одѣлся и, такъ какъ по корридорамъ парохода громко звонили, сзывая къ завтраку, распахнулъ дверь каюты и, весело стуча ярко-вычищенными сапогами по трапу, побѣжалъ наверхъ. Улыбаясь, я сидѣлъ потомъ на верхней палубѣ и, прикрывая глаза, чувствовалъ къ кому-то дѣтскую благодарность за все, что должны переживать мы. И ночь, и туманъ, казалось мнѣ, были только затѣмъ, чтобы я еще болѣе любилъ и цѣнилъ утро. А утро было ласковое и солнечное,—ясное бирюзовое небо крымской весны сіяло надъ пароходомъ, и вода легко и весело бѣжала и плескалась вдоль его бортовъ.



БАЙБАКИ.

I.

Темнѣть, и къ ночи поднимается вьюга...

Завтра Рождество, большой веселый праздник, и отъ этого еще грустнѣе кажутся непогожія сумерки, безконечная глухая дорога и пустынное поле, утопающее во мглѣ поземки. Небо все ниже нависаетъ надъ нимъ; слабо брезжить синевато-свинцовый свѣтъ угасающаго дня, и въ туманной дали уже начинаютъ появляться тѣ блѣдныя, неуловимыя огоньки, которые всегда мелькаютъ предъ напряженными глазами путника въ зимнія степныя ночи и такъ быстро исчезаютъ, когда въ нихъ начинаешь вглядываться...

Кромѣ этихъ зловѣщихъ, таинственныхъ огоньковъ, уже въ полуверстѣ ничего не видно впереди. Хорошо еще, что морозно, и вѣтеръ легко сдуваетъ съ дороги жесткій снѣгъ. Но за то онъ бьетъ имъ въ лицо, засыпаетъ съ шипѣньемъ придорожныя дубовыя вѣшки, отрываетъ и уноситъ въ дыму поземки ихъ почернѣвшіе сухіе листья, и, глядя на нихъ, чувствуешь себя безпомощнымъ, затеряннымъ гдѣ-то въ пустынѣ, среди вѣчныхъ сѣверныхъ сумерекъ...

Въ полѣ, далеко отъ большихъ проѣзжихъ путей, далеко отъ большихъ городовъ и желѣзныхъ дорогъ, стоитъ одинокій хуторъ. Даже деревушка, которая ког-

да-то была возлѣ самаго хутора, уже лѣтъ тридцать гнѣздится верстахъ въ пяти отъ него, такъ что ея не видно изъ хуторской усадьбы. Хуторъ этотъ господа Баскаковы много лѣтъ тому назадъ наименовали Лучезаровкой, а деревушку—Лучезаровскими Двориками.

„Лучезаровка“! Какой ироніей звучитъ теперь это названіе! Шумитъ, какъ море, вѣтеръ вокругъ нея, и на дворѣ по высокимъ бѣлымъ сугробамъ, какъ по могильнымъ холмамъ, изюдишка курится поземка. Эти сугробы окружены далеко другъ отъ друга разбросанными постройками: маленькимъ господскимъ флигелемъ, „каретнымъ“ сараемъ и „людской“ избой. Всѣ постройки на старинный ладъ—низкія и длинныя. Флигель обитъ тесомъ; передній фасадъ его глядитъ во дворъ только тремя маленькими окнами; крыльца—съ навѣсами на столбахъ; большая соломенная крыша почернѣла отъ времени. Была такая-же и на людской избѣ, но теперь остался только скелетъ этой крыши, и узкая кирпичная труба возвышается надъ нимъ, какъ длинная шея...

И кажется, что усадьба вымерла: никакихъ признаковъ человѣческаго жилья, кромѣ начатаго омета соломы возлѣ сарая, ни одного слѣда на дворѣ, ни одного звука людской рѣчи! Все забито снѣгомъ, все спитъ безжизненнымъ сномъ подъ смутный напѣвъ степного вѣтра. Угромо чернѣютъ въ сумеркахъ, среди зимнихъ полей, безмолвныя постройки. Волки бродятъ по ночамъ около дома, приходятъ изъ луговъ по саду къ самому балкону.

Когда-то... Впрочемъ, кто не знаетъ, что было когда-то въ Лучезаровкахъ и какъ превратились помѣщичьи гнѣзда въ „тырла“? Превратилась въ „тырло“ и Баскаковская Лучезаровка, и вотъ при ней числится уже всего-на-всего двадцать восемь десятинъ распашной и четыре десятины усадебной земли. Бывшій владѣлецъ Лучезаровки, племянникъ Якова Петровича Баскакова, хозяйствовалъ сперва на грехстахъ десятинахъ. Когда-же

изъ нихъ осталось только двадцать восемь, онъ продалъ Лучезаровку Якову Петровичу, а самъ переселился въ городъ. Ему тридцать пять лѣтъ, и онъ еще надѣется, что будетъ счастливѣе въ городѣ, чѣмъ среди родныхъ полей.

Въ городъ давно переселилась и семья Якова Петровича. Глафира Яковлевна замужемъ за землемѣромъ, и почти круглый годъ живетъ у нея и Софья Павловна. Но Яковъ Петровичъ—старый степнякъ. Онъ на своемъ вѣку прогулялъ нѣсколько имѣній, но съ остатками отъ нихъ не пожелалъ переселяться въ городъ и кончать тамъ „последнюю треть жизни“, какъ онъ выражался о человѣческой старости. Онъ остался въ Лучезаровкѣ. При немъ живетъ его бывшая крѣпостная, говорливая и крѣпкая старуха Лукерья; она нянчила всѣхъ дѣтей Якова Петровича и навсегда осталась при баскаковскомъ домѣ. Но, кромѣ нея, Яковъ Петровичъ держитъ работника, замѣняющаго кухарку: кухарки не живутъ въ Лучезаровкѣ больше двухъ-трехъ недѣль.

— Тотъ-то у него будетъ жить!—говорять онъ.— Тамъ отъ одной тоски сердце изноеть!

Поэтому-то и замѣняетъ ихъ Судакъ, мужикъ изъ Лучезаровскихъ Двориковъ. Онъ человѣкъ лѣнивый и неуживчивый, но на Лучезаровскомъ хуторѣ ужился. Возить воду съ пруда, топить печи, варить „хлебово“, мѣсить рѣзку бѣлому мерину и курить по вечерамъ съ бариномъ махорку—въ этомъ заключались всѣ обязанности Мотьки, котораго на деревнѣ звали за его безцвѣтные глаза „Судакомъ“.

Землю Яковъ Петровичъ почти всю сдавалъ мужикамъ, домашнее хозяйство его было чрезвычайно не сложно, и поэтому тихо было въ Лучезаровкѣ! Прежде, когда въ усадьбѣ стояли амбары, скотный дворъ и рига, усадьба еще походила на человѣческое жилье. Но на что нужны амбары, риги и скотные дворы при двадцати восьми десятинахъ, заложенныхъ въ банкѣ

за 2.000 рублей? Благоразумнѣе было ихъ продать и хоть нѣкоторое время пожить на нихъ веселѣе, чѣмъ обыкновенно. И Яковъ Петровичъ продалъ сперва ригу, потомъ амбары, а когда употребилъ на топку весь верхъ со скотнаго двора, продалъ и каменные стѣны его. И неуютно стало въ Лучезаровкѣ! Жутко было-бы среди этого разореннаго гнѣзда даже Якову Петровичу, такъ какъ отъ голода и отъ холода Лукерья имѣла обыкновеніе почти на всѣ большіе зимніе праздники уѣзжать на село къ племяннику, сапожнику, но къ зимѣ Якова Петровича выручалъ его другой, болѣе вѣрный другъ.

— Селямъ алекюмъ!—раздавался старческій веселый голосъ въ какой-нибудь хмурый осенній день въ „дѣвичей“ Лучезаровскаго флигеля.

Какъ оживлялся при этомъ, знакомомъ съ самой крымской кампаніи, татарскомъ привѣтствіи Яковъ Петровичъ! У порога дѣвичей почтительно стоялъ и, улыбаясь, раскланивался съ нимъ маленькій, сѣдой человѣкъ, уже разбитый, хилый, но всегда веселый, какъ всѣ бывшіе дворовые люди. Это прежній деньщикъ и старинный другъ Якова Петровича, Гервасій Тимофеевичъ Ковалевъ. Сорокъ лѣтъ прошло со времени крымской кампаніи, но каждый годъ онъ является передъ Яковымъ Петровичемъ и привѣтствуетъ его тѣми словами, которыя напоминаютъ имъ обоимъ Крымъ, охоты на фазановъ, почевки въ татарскихъ сакляхъ...

— Алекюмъ селямъ!—весело восклицалъ и Яковъ Петровичъ.—Живъ?

— Да въдь Севастопольскій герой-то!—отвѣчалъ Ковалевъ.

Яковъ Петровичъ съ улыбкой осматривалъ его: все такой-же! Даже одежда та-же: тулупъ, крытый солдатскимъ сукномъ, старенькая поддевичка, въ которой Ковалевъ казался сѣденьямъ мальчикомъ, поярковья

валенки, которыми онъ такъ любилъ похвалиться, потому что они поярковые...

— Какъ васъ Богъ милуетъ?—продолжалъ онъ.

Яковъ Петровичъ осматривалъ и себя. И онъ все такой-же: плотная фигура, сѣдая, стриженная голова, сѣдые усы, добродушное, безпечное лицо съ маленькими глазами и „польскимъ“ бритымъ подбородкомъ, эспаньолка...

— Байбакъ!—говорилъ онъ, наконецъ, про себя.— Ну, раздѣвайся, раздѣвайся! Гдѣ пропадалъ? Удиль, огородничалъ?

Ковалевъ, съ тѣхъ поръ, какъ Яковъ Петровичъ окончателно обѣднѣлъ, ходить къ нему только на зиму. Лѣтомъ онъ огородничаетъ, занимается рыбной ловлей, гостить у богатыхъ помѣщиковъ, которые еще охотятся...

— Удиль, Яковъ Петровичъ,—отвѣчалъ онъ, снимая гулупъ.—Тамъ посуды полой водой унесло нынѣшній годъ—и не приведи Господи!

— Значитъ, опять въ блиндажахъ сидѣлъ?

— Въ блиндажахъ, въ блиндажахъ...

— А табакъ есть?

— Есть немного.

— Ну, садись, да давай заворачивать. А то я это время ужъ окурочки вытрясалъ...

— Какъ Софья Павловна?

— Въ городѣ. Я былъ у ней недавно, да удралъ скоро. Тутъ скука смертная, а тамъ еще хуже. Да и зятекъ мой любезный... Ты знаешь, какой человекъ. Ужаснѣйшій холопъ и интересанъ! Куски считаетъ...

— Изъ хама не сдѣлаешь пана, — соглашался Ковалевъ.

— Не сдѣлаешь, братъ... Ну, да чортъ съ нимъ!..

— Какъ ваша охота?

— Да все пороху, дрови нѣту. На-дняхъ разжился пошель, пришибъ одного косолобаго... Громадный ружьячина!

— Ихъ нынѣшній годъ страсть!

— Про то и толкъ-то. Завтра чѣмъ свѣтъ зальемся.

— Обязательно!

— Я тебѣ, ей-Богу, отъ всей души радъ!

Ковалевъ весело усмѣхался.

— А шашки цѣлы?—спрашивалъ онъ, свернувъ цыгарку и подавая Якову Петровичу.

— Цѣлы, цѣлы. Вотъ давай обѣдать и срѣжемся!..

II.

Темнѣетъ. Наступаетъ предпраздничный вечеръ, но не весело встрѣчаетъ его нынѣшній годъ Яковъ Петровичъ!

По мѣрѣ того, какъ на дворѣ разыгрывается метель, и все больше заноситъ снѣгомъ окошко, все холоднѣе и сумрачнѣе становится въ „дѣвичьей“ Баскаковского флигеля. Это старинная комнатка съ низкимъ потолкомъ, съ бревенчатыми, черными отъ времени стѣнами и почти пустая: подъ окномъ длинная лавка, около лавки простой деревянный столъ, противъ стола, у стѣны, комодъ, въ верхнемъ ящикѣ котораго стоятъ тарелки. Дѣвичьей по справедливости она называлась уже давнымъ-давно, лѣтъ сорокъ—пятьдесятъ тому назадъ, когда тутъ еще сидѣли и плели, при свѣтѣ „каганца“, кружева дворовыя дѣвки. Теперь „дѣвичья“ превратилась въ одну изъ жилыхъ комнатъ самого Якова Петровича. Весь флигель состоитъ изъ пяти небольшихъ комнатъ: одна половина, окнами на дворъ—изъ „дѣвичьей“, „лакейской“ и кабинета среди нихъ; другая, окнами въ вишневы садъ—изъ гостиной и зала. Но зимой „лакейская“, гостиная и залъ не топятся, и тамъ пусто и такъ холодно, что въ залѣ насквозь промерзаютъ и ломберный столъ, и портретъ Николая I.

Теперь, въ этотъ непогожий предпраздничный вечеръ,

въ „дѣвичей“ особенно неуютно и скучно. Яковъ Петровичъ сидитъ на лавкѣ, поглаживаетъ подбородокъ и курить. Ковалевъ стоитъ у печки и, склонивъ голову, тоже курить. Оба въ шапкахъ, валенкахъ и шубахъ: баранье пальто Якова Петровича надѣто прямо на бѣлье и подпоясано полотенцемъ. Смутно виденъ въ сумракѣ тихо плавающій по комнатѣ синеватый дымокъ махорки. Слышно, какъ дребезжать отъ вѣтра разбитыя стекла въ окнахъ гостиной. Метель бушуетъ кругомъ флигеля и часто прерываетъ разговоръ его обитателей: все кажется, что кто-то подѣхалъ.

— Постой!—вдругъ останавливаетъ Ковалева Яковъ Петровичъ.—Должно быть, это онъ.

Ковалевъ смолкаетъ. И ему почудился скрипъ саней у крыльца, чей-то голосъ, невнятно донесшійся сквозь шумъ метели.

— Поди-ка, посмотри, должно быть, прѣхалъ!

Но Ковалеву вовсе не хочется выбѣгать на морозъ, хотя и онъ съ большимъ нетерпѣніемъ ожидаетъ возвращенія Судака изъ села съ покупками. Онъ прислушивается очень внимательно и рѣшительно возражаетъ:

— Нѣтъ, это вѣтеръ.

— Да что тебѣ, трудно посмотрѣть-то?

— Да что-жъ смотрѣть, когда никого нѣту?

Яковъ Петровичъ задергиваетъ плечами; онъ начинаетъ раздражаться...

Такъ было все хорошо складывалось... Прѣзжалъ богатый мужикъ изъ Калиновки съ просьбой написать прошеніе къ земскому начальнику (Яковъ Петровичъ славится въ околоткѣ, какъ сочинитель прошеній) и привезъ за это курицу, бутылку водки и рубль денегъ... Правда, водка была выпита, при самомъ сочиненіи и чтеніи прошенія, курица въ тотъ же день зарѣзана и съѣдена, но рубль остался цѣль, — Яковъ Петровичъ приберегъ его къ празднику... Потомъ вчера утромъ внезапно явился Ковалевъ и принесъ съ собой кренде-

лей, полтора десятка яицъ да еще 63 копѣйки денегъ. И старики были веселы и долго обсуждали, что купить къ празднику. Въ концѣ-концовъ, развели въ чашкѣ сажу изъ печки, заострили спичку и жирными крупными буквами написали такую записку въ село, къ лавочнику.

„Въ харчевню Николай Иванова. Отпусти 1 ф. махорки полуотборной, 1.000 спичекъ, 5 сельдей маринованныхъ, 2 ф. масла коноплянаго, 2 осьмушки фруктоваго чаю, 1 ф. сахару и 1½ ф. жамокъ мятныхъ“.

Но Судака нѣтъ съ самаго утра. А это влечетъ за собой то, что предпраздничный вечеръ пройдетъ вовсе не такъ, какъ думалось, и главное, придется самимъ идти за соломой въ ометь: отъ вчерашняго дня соломы осталось въ сѣнцахъ очень немного. И Яковъ Петровичъ раздражается, и все начинаетъ рисоваться ему въ мрачныхъ краскахъ.

Мысли и воспоминанія идутъ въ голову самыя невеселыя.. Вотъ ужъ около полугода онъ не видалъ ни племянника, ни жены, ни дочери.. Помогаютъ они ему очень плохо.. Подло съ нимъ, вообще, поступаютъ.. И жить на хуторѣ становится съ каждымъ днемъ все хуже и скучнѣе..

— А, да чортъ ихъ побери совсѣмъ!—говоритъ Яковъ Петровичъ свою любимую фразу, которой онъ всегда успокаивалъ себя въ плохихъ обстоятельствахъ.—Буду я умирать, разстраивать свое здоровье изъ-за всякой ерунды!

Но сегодня это не успокаиваетъ...

— Ну, и холода же завернули!—говоритъ Ковалевъ.

— Ужаснѣйшій холодъ!—подхватываетъ Яковъ Петровичъ.—Вѣдь тутъ хоть волковъ морозъ! Смотри... Хх!.. Парь отъ дыханія видно!

— Да,—продолжаетъ Ковалевъ монотонно.—А вѣдь, помните, мы подъ новый годъ когда-то цвѣточки рвали въ однихъ мундирчикахъ!.. Подъ Балаклавой-то...

И опускаетъ голову. Не весело и ему сегодня.

— А онъ, видимое дѣло, не прѣдетъ, — говоритъ Яковъ Петровичъ, не слушая.—Мы въ дурацкой ажитации, ни больше, ни меньше!

— Не ночевать же онъ останется въ харчевнѣ!

— А ты что думаешь? Ему очень нужно!

— Положимъ, здорово мететь...

— Ничего тамъ не мететь. Обыкновенно, не лѣто...

— Да вѣдь трусь государственный! Замерзнуть боится...

— Да какъ же это замерзнуть? День, дорога знакомая... Только вѣдь эти хамы на-зло готовы нашему брату всегда нагадить!

— Его одудь хорошенько!

— Да, кажется, это тѣмъ и кончится. Откланцаю и прогону со двора долой!

— Пойдите!—перебиваетъ Ковалевъ.—Кажется, подѣхаль...

— Я говорю тебѣ, выйди, посмотри! Ты, ей Богу, совсѣмъ отетеревѣлъ нынче! Надо же самоваръ ставить и соломы въ ометѣ надергать.

— Да вѣдь, конечно, надо. А то что-жъ тамъ сдѣлаешь ночью?..

Ковалевъ соглашается, что идти за соломой необходимо, но ограничивается приготовленіями къ топкѣ: онъ подставляетъ къ печкѣ стулъ, вздѣваетъ на него, отворяетъ заслонку и вынимаетъ вьюшки. Въ трубѣ начинается завывать на разные голоса вѣтеръ.

— Впусти хоть собаку-то!—говоритъ Яковъ Петровичъ.

— Какую собаку?—спрашиваетъ Ковалевъ, кряхтя и слѣзая со стула.

— Да что ты дуракомъ-то прикидываешься? Флембо, конечно,—слышишь, визжитъ.

Дѣйствительно, Флембо, старая сука изъ породы се-теровъ, жалобно повизгиваетъ въ сѣнцахъ.

— Надо Бога имѣть!—прибавляетъ Яковъ Петро-

вичъ.—Вѣдь она замерзнетъ... А еще охотникъ! Лодырь ты, братъ, какъ я погляжу! Ужъ правда, байбакъ.

— Да оно и вы-то, должно быть, изъ той же породы,—улыбается Ковалевъ, отворяетъ дверь въ сѣнцы и выпускаетъ въ „дѣвичью“ Флембо.

— Затворяй, затворяй, пожалуйста!—кричитъ Яковъ Петровичъ.—Такъ и поперло по ногамъ холодомъ... Кушъ тутъ!—грозно обращается онъ къ Флембо, указывая пальцемъ подъ лавку.

Ковалевъ же, прихлопывая дверь, бормочетъ:

— Тамъ несетъ—свѣту Божьяго не видно!.. А, должно быть, скоро насъ потащутъ въ Богословское! Вотъ-вотъ о. Василій приюжаетъ за нами. Я ужъ вижу. Все мы соримся. Это передъ смертью.

— Ну, ужъ это обрекай себя одного, пожалуйста,—возражаетъ Яковъ Петровичъ задумчиво.

И опять выражаетъ свои мысли вслухъ:

— Нѣтъ, я ужъ больше не буду сидѣть въ этомъ тырлѣ сторожемъ! Кажется, скоро-скоро затрещитъ эта проклятая Лучезаровка...

Онъ развертываетъ кисетъ, насыпаетъ цыгарку махоркой и продолжаетъ:

— Я тутъ околтѣвать съ голоду не намѣренъ. Дошло до того, что завяжи глаза да бѣги со двора долой! А все моя довѣрчивость дурацкая, друзья-пріятели да воспитаніе дѣточекъ миленькихъ!.. Я всю жизнь былъ честенъ, какъ булатъ, я никому ни въ чемъ не отказывалъ... А теперь что прикажете мнѣ дѣлать? На мосту съ чашкой стоять? Пулю въ лобъ пустить? „Жизнь пророка“ разыграть? Вонъ у одного Арсентія Михалыча тысячу десятинъ, да развѣ у нихъ есть догадочка помочь старику? А ужъ самъ я по чужимъ людямъ не пойду кланяться! Нога моя до гробовой доски не будетъ! Я самолюбивъ, какъ порохъ!..

И, окончательно раздраженный, Яковъ Петровичъ совсѣмъ зло прибавляетъ:

— Однако, телиться-то нечего, надо за соломой отправляться!

Ковалевъ еще больше сгорбливается и запускаетъ руки въ рукава тулупа. Ему такъ холодно, что у него стынетъ кончикъ носа, но онъ все еще надѣется, что какъ-нибудь „обойдется“... можетъ быть, Судакъ подѣдетъ... Онъ отлично понимаетъ, что Яковъ Петровичъ ему одному предлагаетъ отправляться за соломой.

— Да вѣдь телиться!..—говоритъ онъ. — Вѣтеръ-то съ ногъ сшибаетъ...

— Ну, барствовать теперь намъ некогда!

— Побарствуешь, когда поясницу не разогнешь. Не молоденькіе тоже! Слава Богу, двумъ-то намъ подъ сто сорокъ будетъ.

— Ужь, пожалуйста, не прикидывайся мерзлымъ бараномъ!

Яковъ Петровичъ тоже отлично понимаетъ, что одинъ Ковалевъ ничего не подѣлаетъ въ занесенномъ снѣгомъ ометѣ. Но онъ спокоенъ вѣку врагъ всякой логики и тоже надѣется, что „какъ-нибудь обойдется“ безъ него.

Между тѣмъ въ „дѣвичьей“ становится уже совсѣмъ темно, и Ковалевъ, наконецъ, рѣшается посмотрѣть, не ѣдетъ-ли Судакъ. Шаркая своими разбитыми ногами, онъ идетъ къ двери...

Яковъ Петровичъ неподвижно сидитъ, поджавъ подъ себя одну ногу, пускаетъ черезъ усы дымъ, и, такъ какъ ему уже очень хочется чаю, то мысли его принимаютъ нѣсколько иное направленіе.

— Гм!—бормочетъ онъ.—Какъ вамъ это покажется? Хорошо встрѣчаютъ праздничекъ помѣщики! Лопать, какъ собакъ, хочется. Вѣдь неѣдалаго царства-то нѣту... Прежде хоть венгерцы ѣздили!.. Ну, погоди же, Судакъ проклятый!

Двери въ сѣнцахъ хлопаютъ, вбѣгаетъ Ковалевъ.

— Нѣту!—воскликаетъ онъ.—Какъ провалился!.. Что-жь теперь дѣлать? Въ сѣнцахъ соломы чуть...

Въ снѣгу, въ тяжеломъ тулупѣ, маленькій и сгорбленный, онъ такъ жалокъ и беспомощенъ!

Яковъ Петровичъ вдругъ подымается.

— А вотъ я знаю, что дѣлать!—говоритъ онъ, осѣненный какой-то хорошей мыслью,—наклоняется и достаётъ изъ подъ лавки топоръ.

— Эта задача очень просто разрѣшается,—прибавляетъ онъ, опрокидывая стулъ, стоявшій около стола и взмахиваетъ топоромъ.—Таскай пока солому-то! Чортъ его побери совсѣмъ, мнѣ свое здоровье дороже, чѣмъ какое-нибудь стуло!

Ковалевъ, тоже сразу оживившійся (дѣло знакомое!), съ любопытствомъ смотритъ, какъ летятъ щепки изъ-подъ топора.

— Вѣдь тамъ, небось, еще на потолкѣ много?—подхватываетъ онъ.—Нѣтъ-ли другого топора?

— Валий на чердакъ да самоваръ вытрясай!

Въ растворенную дверь несетъ холодомъ, пахнетъ снѣгомъ... Ковалевъ, спотыкаясь, таскаетъ въ „дѣвичью“ солому, ручки старыхъ креселъ съ чердака.

— За милую душу истопимъ,—твердитъ онъ.—Крендели еще есть... Яиць бы напечь!

— Тащи ихъ на-конь. А то сидимъ плакучими ивами!..

III.

Медленно протекаетъ долгій зимній вечеръ въ Лучезаровкѣ. Не смолкая бушуетъ метель за окнами...

Но теперь старики уже не прислушиваются къ ея шуму. Запасшись дровами, они поставили въ сѣнцахъ самоваръ, затопили въ кабинетѣ печку и оба сѣли около нея на корточки.

Славно охватываетъ тѣло тепломъ! Иногда, когда Ковалевъ запикивалъ въ печку большую охапку соломы, ощутительно несло холодомъ отъ нея, кругомъ воцарялся

полный мракъ, и глаза Флембо, которая тоже пришла погрѣться къ двери кабинета, какъ два изумрудные камня, сверкали въ темнотѣ. А въ печкѣ глухо гудѣло; просвѣчивая то тутъ, то тамъ сквозь солому и бросая на потолокъ кабинета мутно-красныя, дрожащія полосы свѣта, медленно разрасталось и приближалось гудящее пламя къ устью, прыскали, съ трескомъ лопааясь, хлѣбныя зерна... Мало-по-малу озарялась вся комната. Пламя совсѣмъ завладѣвало соломой, и когда отъ нея оставалась только дрожащая грудка „жара“, словно раскаленныхъ, золотисто-огненныхъ проволокъ, когда эта грудка опадала, блекла, Яковъ Петровичъ скидывалъ съ себя пальто, садился задомъ къ печкѣ и поднималъ на спинѣ рубаху.

— Аа, аа,—говорилъ онъ,—Славно спину-то нажарить! Гервасій Тимофеевичъ, дери!

Ковалевъ дралъ ему ногтями спину.

— Аа, аа!—повторялъ Яковъ Петровичъ и, когда его толстая спина становилась багровою, отскакивалъ отъ печки и накидывалъ тулущъ.

— Вотъ такъ пробрало! А то вѣдь бѣда безъ бани. Старый человекъ, попариться негдѣ. Ну, да ужъ нынѣшній годъ обязательно поставлю.

Это „обязательно“ Ковалевъ слышитъ каждый годъ, но каждый годъ съ восторгомъ принимаетъ мысль о банѣ.

— Добро милое! Вѣда безъ бани,—соглашается онъ, нагрѣвая у печки и свою худощавую спину.

Когда дрова и солома прогорѣли, Ковалевъ долго и заботливо поджаривалъ въ печкѣ крендели, отклоняя отъ жара пылающее лицо. Въ темнотѣ, озаренный красноватымъ жерломъ печки, онъ казался бронзовымъ изваяніемъ, а Яковъ Петровичъ хлопоталъ около самовара.

Наконецъ, онъ налилъ себѣ въ кружку чаю, поставилъ ее около себя на лежанкѣ, закурилъ и, немного помолчавъ, вдругъ спросилъ:

— А что-то теперь подѣлываетъ премилая сова?

Какая сова? Ковалевъ хорошо знаетъ, какая сова! Да и не въ совѣ дѣло. Можетъ быть, уже лѣтъ 25 тому назадъ онъ подстрѣлилъ сову и гдѣ-то на ночлегѣ сказалъ эту фразу, но фраза эта почему-то не забылась и, какъ десятки другихъ, повторяется Яковомъ Петровичемъ и Ковалевымъ. Сама по себѣ она, конечно, не имѣетъ смысла, но отъ долгаго употребленія стала смѣшной и, какъ другія подобныя, влечетъ за собой много воспоминаній.

Очевидно, Яковъ Петровичъ совсѣмъ повеселѣлъ и приступаетъ къ мирнымъ разговорамъ о быломъ. И Ковалевъ стоитъ съ веселой, задумчивой улыбкой, наливая себѣ чаю.

— А помните, Яковъ Петровичъ?—начинаетъ онъ...

Медленно протекаетъ долгій зимній вечеръ въ Лучезаровкѣ, но тепло и свѣтло въ маленькомъ кабинетѣ. Все въ немъ такъ просто, незатѣйливо, по старинному: желтенькіе обои на стѣнахъ, украшенныхъ выцвѣтшими фотографіями, вышитыми шерстью картинами (собака, швейцарскій видъ), низкій потолокъ обклеенъ „Сыномъ Отечества“; передъ окномъ дубовый письменный столъ и старое, высокое и глубокое кресло; у одной стѣны большая кровать краснаго дерева съ ящиками, надъ кроватью рогъ для гончихъ, ружье, пороховница; въ углу образничка съ темными иконами... И все это родное, давно-давно знакомое!

Старики сыты и согрѣлись. Яковъ Петровичъ сидитъ въ валенкахъ и въ одномъ бѣльѣ. Ковалевъ—въ валенкахъ и поддевочкѣ... Долго играли въ шашки, долго занимались своимъ любимымъ дѣломъ, осматривали одежду—нельзя ли какъ-нибудь вывернуть?—искроили на шапку старую „тужурку“; долго стояли у стола, мѣрили, чертили мѣломъ.

Настроеніе у Якова Петровича давно уже самое благодушное. Только въ глубинѣ души шевелится какое-то

грустное чувство. Завтра праздник, онъ одинъ... Спасибо Ковалеву, что хоть онъ не забылъ!

— Ну,—говорить Яковъ Петровичъ,—возьми-ка эту шапку себѣ.

— А вы-то какъ-же?—спрашиваетъ Ковалевъ.

— У меня есть.

— Да вѣдь одна вязаная?

— Такъ что-жъ?—Безподобная шапка!

— Ну, покорнѣе благодаримъ.

У Якова Петровича страсть дѣлать подарки. Да и не хочется ему шить...

— Который-то теперь часъ?—размышляетъ онъ вслухъ.

— Теперь?—спрашиваетъ Ковалевъ.—Теперь десять.

Вѣрно, какъ въ аптеку. Я ужъ знаю.

— Скука безъ часовъ,—перебиваетъ Яковъ Петровичъ, зная, что сейчасъ Ковалевъ начнетъ лгать, какъ онъ по двое золотыхъ часовъ напивалъ, когда былъ казачкомъ у своего барина и жилъ съ нимъ въ Петербургѣ. Но Ковалевъ оживился, и его уже трудно перебить.

— Бывало, въ Петербургѣ,—говорить онъ...

— Да и брешешь же ты, братъ!—замѣчаетъ Яковъ Петровичъ ласково.

— Да нѣтъ, вы позвольте, не фрапируйте сразу-то!

Яковъ Петровичъ разсѣянно улыбается. У него свои думы.

— То-то, должно быть, въ городѣ-то теперь!—говорить онъ, усаживаясь на лежанку съ гитарой.—Оживленіе, блескъ, суета! Начнутся собранія, маскарады!

И уже дружно начинаются воспоминанія о клубахъ, о томъ, сколько когда выигралъ и проигралъ Яковъ Петровичъ, какъ иногда Ковалевъ во-время уговаривалъ его уѣхать изъ клуба. Идетъ оживленный разговоръ о прежнемъ благосостояніи Якова Петровича. Онъ говоритъ:

— Да, я много надѣлалъ ошибокъ въ своей жизни. Мнѣ не на кого пенять. А судить меня будетъ ужъ,

видно, Богъ, а не Глафира Яковлевна и не зятекъ миленькій. Что-жъ, я бы рубашку имъ отдалъ, да у меня и рубашекъ-то нѣту... Вотъ я ни на кого никогда не имѣлъ злобы больше десяти минутъ. Да прежде и злой былъ хорошъ... Ну, да все прошло, пролетѣло... Сколько было родныхъ и знакомыхъ, сколько друзей-приятелей—и все это въ могилѣ!

Лицо Якова Петровича задумчиво и кротко. Онъ тихо играетъ на гитарѣ и поетъ старинный, грустный романсъ, мягкій и нѣжный, какъ почти все старинныя пѣсни.

Что-жъ ты замолкъ и сидишь одиноко?—

поетъ онъ въ раздумьи.

Что-жъ ты замолкъ и сидишь одиноко?

Дума лежитъ на угрюмомъ челѣ...

Иль ты не видишь бокаль на столѣ?

И повторяетъ съ особенной задушевностью:

Иль ты не видишь бокаль на столѣ?

.....
Долго на свѣтѣ не зналъ я пріюту...

разбитымъ голосомъ подтягиваетъ Ковалевъ, сгорбившись въ старомъ креслѣ и глядя въ одну точку передъ собою.

Долго на свѣтѣ не зналъ я пріюту...

вторить Яковъ Петровичъ подъ гитару.

Долго носила земля сироту,

Долго имѣлъ я въ душѣ пустоту!..

Вѣтеръ бушуетъ и рветъ съ флигеля крышу. Шумъ у крыльца... Эхъ, еслибы хоть кто-нибудь пріѣхалъ! Да-же старый другъ, Софья Павловна, забыла...

И, покачивая головою, Яковъ Петровичъ продолжаетъ:

Разъ въ незабвенную жизни минуту,
 Разъ я увидѣлъ созданье одно,
 Въ коемъ все сердце мое вмѣщено...
 Въ коемъ все сердце мое вмѣщено...

Эхъ, давно—давно это было! Все прошло, пролетѣло...
 Грустныя думы клонять голову... Но печальной удалью
 звучить пѣсня:

Что-жъ ты замолкъ и сидишь одиноко?
 Стукнемъ бокаль о бокаль и запьемъ
 Грустную думу веселымъ виномъ!..
 Грустную думу веселымъ виномъ!..

— Не пріѣхала-бы барыня,—говоритъ Яковъ Петровичъ, дергая струны гитары и кладя ее на лежанку. И старается не глядѣть на Ковалева.

— Кого!—отзывается Ковалевъ.—Очень просто.

— Избавь Богъ, плутаетъ... Въ рогъ-бы потрубить... на всякій случай... Можетъ быть, Судакъ ѣдетъ. Вѣдь замерзнуть-то недолго. По человѣчеству надо судить. Намъ хорошо тутъ сидѣть!

Черезъ минуту старики стоятъ на крыльцѣ. Вѣтеръ рветъ съ нихъ одежду. Дико и гулко заливается старый звонкій рогъ на разные голоса. Вѣтеръ подхватываетъ его звуки и несетъ въ непроглядную степь, въ темноту бурной ночи.

— Гопъ-гопъ!—кричитъ Яковъ Петровичъ.

— Гопъ-гопъ!—вторитъ Ковалевъ.

И долго потомъ, настроенные на героическій ладъ, не унимаются старики. Только и слышится:

— Понимаешь? Онъ тысячами съ болота на овсяное поле! Шапки сбиваютъ!.. Да все матерья, кряковыя! Какъ ни рѣзну—просто каши наварю!.. А тутъ, смотрю, Аванасій Николаевичъ Вечесловъ спѣшитъ... Батюшки мои—пошла потѣха!

Или:

— Вотъ, понимаешь, я и сталъ за сосной. А ночь

мѣсячная—хоть деньги считай! И вдругъ претъ... Любище вотъ этакій... Какъ я его брызну!

— А помните,—подхватываетъ Ковалевъ—какъ въ „Гремячемъ Островѣ“?..

Потомъ идутъ случаи замерзанія, неожиданнаго спасенія... Потомъ восхваленіе Лучезаровки.

— До смерти не разстанусь!—говоритъ Яковъ Петровичъ.—Я все-таки тутъ самъ себѣ голова, какъ Адамъ въ раю. Имѣние, надо правду сказать, золотое дно. Еслибы немножко мнѣ перевернуться! Сейчасъ всё 28 десятинъ—картофелемъ, банкъ—долой, и опять я кумъ королю!..

IV.

Всю долгую ночь бушевала въ темныхъ поляхъ вьюга. Старикамъ казалось, что они легли спать очень поздно, но что-то не спится имъ. Ковалевъ глухо кашляетъ, съ головой закрытый тулупомъ; Яковъ Петровичъ ворочается и отдувается; ему жарко. Къ тому же, слишкомъ ужъ грозно буря потрясаетъ стѣны флигеля и слѣпить и засыпаетъ снѣгомъ окна! Слишкомъ неприятно дребезжать разбитыя стекла въ гостиной! Жутко тамъ теперь, въ этой холодной, необитаемой гостиной! Она пустая, мрачная, потому что потолоки въ ней низки, амбразуры маленькихъ оконъ глубоки. Ночь же такая темная! Смутно отсвѣчиваютъ свинцовымъ блескомъ стекла. Если даже прильнешь къ нимъ, то развѣ едва-едва различишь забытый, занесенный сугробами садъ... А дальше—полный мракъ и метель, метель...

И старики сквозь сонъ инстинктивно чувствуютъ, какъ одинокъ и безпомощенъ ихъ хуторокъ въ этомъ бушующемъ морѣ степныхъ снѣговъ. Ковалевъ трусливъ, и поэтому ему все представляется, какъ когда-то давно-давно въ этой гостиной на раздвинутомъ банкетномъ

столъ, на сѣнѣ, покрытомъ простыней, лежала полная и важная покойница, сестра Якова Петровича. Сколько тогда нахало на дворъ Лучезаровки тарантасовъ, сколько кучеровъ было на дворѣ, сколько дворни, свободно вздохнувшей по случаю смерти барыни! Сколько народу было въ этомъ маленькомъ домѣ! Николай Лукьянычъ Грунинъ, Василій Васильичъ князь Кубековъ, Ермолай Алексѣичъ Пушинъ... И все покойники!.. И кажется Ковалеву, что онъ опять стоитъ въ изголовьи усопшей и читаетъ псалтырь. Двери изъ гостиной затворены во все комнаты, тамъ много народу, но все-таки Ковалевъ боится и стоитъ, какъ въ туманѣ. Блики свѣта отъ мерцающихъ свѣчъ, какъ по желтой мѣди, скользятъ по лицу мертвеца. Въ комнатѣ еще синѣетъ дымъ кадила... Дымъ этотъ почему-то все спускается, потолокъ опускается все ниже и ниже, грудь покойницы подымается... она хочетъ вздохнуть... и не можетъ... что-то давить ей грудь, и Ковалеву давить, и страшно имъ обоямъ... И Ковалевъ вскакиваетъ съ сильно бьющимся сердцемъ.

— Ахъ ты, Господи, Господи!—слышится его бормотанье въ тихомъ кабинетѣ.

Но опять странной дремотой обвѣваетъ его монотонный шумъ метели. Онъ кашляетъ все тише и рѣже, медленно задремываетъ, словно погружается въ какое-то безконечное пространство... Но опять сквозь сонъ чувствуется что-то зловѣщее... Онъ слышитъ... Да, шаги! Тяжелые шаги наверху гдѣ-то... По потолку кто-то ходить. Ковалевъ быстро приходитъ въ сознание, но тяжелые шаги ясно слышны и теперь... Скрипитъ матица...

— Яковъ Петровичъ!—говоритъ онъ.— Яковъ Петровичъ!

— А? Что?—спрашиваетъ Яковъ Петровичъ.

— А вѣдь по потолку-то кто-то ходить.

— Кто ходить?

— А вы послушайте-ка!

Яковъ Петровичъ слушаетъ: ходитъ!

— Да нѣтъ, это всегда такъ, — вѣтеръ, — говоритъ онъ, наконецъ, зѣвая. — Да и трусь же ты, братъ! Давай-ка лучше спать.

И правда, сколько уже было толковъ про эти шаги на потолокъ! Каждую непогожую ночь!

Но все-таки Ковалевъ, задремывая, долго шепчетъ съ глубокимъ чувствомъ, втягивая въ себя воздухъ:

— Живыи въ помощи Вышняго, въ кровѣ Бога Небеснаго... Не убоишися отъ страха пощнаго, отъ стрѣлы, летящія въ дни... На аспида и василиска наступиши и попереши льва и змія...

И Якова Петровича что-то беспокоитъ во снѣ. Подъ шумъ метели мерещится ему то гулъ вѣкового бора, то звонъ отдаленнаго колокола; слышится невнятный лай собакъ гдѣ-то въ степи, крикъ работника Судака... Вотъ шуршать подвѣзжающія къ крыльцу сани, скрипять чьи-то лапти по мерзлomu снѣгу въ сѣнахъ... И сердце Якова Петровича сжимается отъ боли и ожиданія: это дѣйствительно подвѣзжаютъ къ крыльцу его сани, но въ саняхъ—Софья Павловна, Глаша... подвѣзжаютъ медленно, забитыя снѣгомъ, еле видныя въ темнотѣ бурной ночи... ѣдутъ, ѣдутъ, но почему-то мимо дома, все дальше, дальше... Ихъ увлекаетъ метель, засыпаетъ ихъ снѣгомъ, и у Якова Петровича подступаютъ слезы къ горлу, и онъ напряженно, торопливо ищетъ рога... хочетъ трубить имъ, звать ихъ... И, почти задохнувшись отъ напряженія, онъ внезапно просыпается.

— Чортъ знаетъ, что такое!—бормочетъ онъ, отдуваясь.

— Что это вы, Яковъ Петровичъ? — откликается Ковалевъ.

— Не спится, братъ! А ночь давно, должно быть!

— Да, давненько!

— Зажигай-ка свѣчку-то да закуривай!

Кабинетъ озаряется. Щурясь отъ свѣчки, пламя которой колеблется передъ заспанными глазами, какъ лу-

чистая, мутно-красная звѣзда, старики сидятъ, курятъ, съ наслажденіемъ чешутся и отдыхаютъ отъ сновидѣній... Хорошо проснуться въ долгую зимнюю ночь въ теплой, родной комнатѣ, покурить, мирно поговорить, разогнать жуткія ощущенія веселымъ огонькомъ!

— А я,—говоритъ Яковъ Петровичъ, сладко зѣвая,— а я сейчасъ вижу во снѣ, какъ ты думаешь, что?... Въдѣ приснится же!... Будто я въ гостяхъ у турецкаго султана!...

Ковалевъ сидитъ на полу, сгорбившись (какой онъ старенькій безъ поддевички и со сна!), улыбается и въ раздумьи отвѣчаетъ:

— Нѣтъ, это что — у турецкаго султана! Вотъ я сейчасъ видѣлъ... Вѣрите-ли? Одинъ за однимъ, одинъ за однимъ... съ рожками, въ пиджачкахъ... малъ мала меньше... Да въдѣ какого транташа около меня раздѣлываютъ!

Оба врутъ. Они видѣли эти сны, даже не разъ видѣли, но совсѣмъ не въ эту ночь, и слишкомъ часто рассказываютъ ихъ они другъ другу, такъ что давно другъ другу не вѣрятъ. И все-таки рассказываютъ. И, наговорившись, въ томъ же благодушномъ настроеніи они тушатъ свѣчу, укладываются, одѣваются потеплѣй, надвигаютъ на лобъ шапки и засыпаютъ „сномъ праведника“...

Медленно наступаетъ день, но кажется, что это сумерки. Темно, угрюмо, и буря не унимается. Сугробы подъ окнами почти прилегаютъ къ стекламъ и возвышаются до самой крыши. Отъ этого въ кабинетѣ стоитъ какой-то странный, блѣдный сумракъ...

Вдругъ съ шумомъ летятъ кирпичи съ крыши. Въ-теръ повалилъ трубу...

Это плохой знакъ: скоро, скоро, должно быть, и слѣда не останется отъ Лучезаровки!...



НОВЫЙ ГОДЪ.

— Послушай,—сказала мнѣ жена,—мнѣ жутко...

Была лунная, зимняя полночь, а мы ночевали на хуторѣ въ Тамбовской губерніи, куда я заѣхалъ по пути въ Петербургъ съ юга, и спали въ „дѣтской“, единственной теплой комнатѣ во всемъ домѣ. Открывъ глаза, я увидалъ легкій сумракъ въ этой маленькой комнатѣ, наполненной голубоватымъ свѣтомъ, полъ, покрытый попонами, и бѣлую лежанку у двери. Надъ квадратнымъ итальянскимъ окномъ, въ которое видѣлся свѣтлый свѣжннй дворъ, слегка нависала щетина соломенной крыши, серебрившаяся инеемъ. Было такъ тихо, какъ можетъ быть только въ полѣ въ зимнія ночи.

— Ты спишь,—говорила жена недовольно,—а я задремала давеча въ возкѣ и теперь не могу.—Хочешь ко мнѣ?—прибавила она ласковѣй.

Она полулежала на большой старинной кровати въ сумракѣ у противоположной стѣны и вопросительно глядѣла на меня. Когда я подошелъ къ ней, она прижалась ко мнѣ съ необычной нѣжностью.

— Слушай,—сказала она веселымъ шопотомъ,—ты не сердись, что я разбудила тебя? Мнѣ, правда, стало жутко немного и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ-то очень хорошо. Я почувствовала, что мы съ тобой совсѣмъ одни въ этой заброшенной усадьбѣ, и на меня напалъ чисто дѣтскій страхъ...

Она подняла голову и прислушалась.

— Слышишь, какъ тихо?—спросила она чуть слышно.

Мысленно я далеко оглянулъ сѣвныя поля вокругъ насъ,—всюду было мертвое молчаніе русской зимней ночи, среди которой таинственно приближался новый годъ,—и мнѣ самому стало хорошо, какъ въ дѣтствѣ. Такъ давно не ночевалъ я въ деревнѣ, и такъ давно не говорили мы съ женой мирно!.. Я нѣсколько разъ поцѣловалъ ее въ глаза и волосы съ той спокойной и сердечной любовью, которая бываетъ только въ рѣдкія минуты, и она внезапно отвѣтила мнѣ порывистыми поцѣлуями влюбленной дѣвушки. Потомъ долго прижимала мою руку къ своей загорѣвшей щекѣ.

— Какъ хорошо!—проговорила она со вздохомъ и убѣжденно. И помолчавъ, прибавила:—Да, все-таки ты единственный близкій мнѣ человѣкъ!.. Ты чувствуешь, что я люблю тебя?

Я молча пожалъ ея руку.

— Какъ это случилось?—спросила она, открывая глаза.—Выходила я не любя, живемъ мы съ тобой дурно, ты самъ говоришь, что изъ-за меня ты ведешь пошлое и тяжелое существованіе... И, однако, все чаще мы чувствуемъ, что мы нужны другъ другу. Откуда это приходитъ и почему только въ нѣкоторыя минуты?.. Съ новымъ годомъ, Костя!—сказала она, стараясь улыбнуться, и нѣсколько теплыхъ слезъ упало на мою рубашку.

Положивъ голову на подушку, она заплакала, и, видимо, слезы были пріятны ей, потому что изрѣдка она поднимала лицо, улыбалась сквозь слезы и цѣловала мою руку, стараясь продлить ихъ нѣжностью. Я медленно гладилъ ея волосы, давая понять, что я цѣню и понимаю эти слезы. Я вспомнилъ прошлый новый годъ, который мы, по обыкновенію, встрѣчали въ Петербургѣ въ кружкѣ моихъ сослуживцевъ, хотѣлъ вспомнить позавчерашній и не могъ и опять подумалъ то, что

часто приходитъ мнѣ въ голову: годы сливаются въ одинъ безпорядочный и однообразный годъ, полный сѣрыхъ служебныхъ дней и скучныхъ журъ-фиксовъ, умственные и душевные способности слабѣютъ, мелочная, подневольная жизнь все болѣе входитъ въ свои права, и все болѣе неосуществимыми кажутся надежды имѣть свой уголь, поселиться гдѣ-нибудь въ деревнѣ или на югѣ, копаться съ женой и дѣтьми въ виноградникахъ, ловить въ морѣ лѣтомъ рыбу... Я вспомнилъ, какъ ровно годъ тому назадъ жена съ притворной любезностью заботилась и хлопотала о каждомъ, кто, считаясь нашимъ другомъ, встрѣчалъ съ нами новогоднюю ночь.—какъ она улыбалась нѣкоторымъ изъ молодыхъ гостей и предлагала загадочно-меланхолическіе тосты и какъ чужда и непріятна была мнѣ она, эта нарядная дама въ тѣсной петербургской квартиркѣ...

— Ну, полно, Оля!—сказалъ я ласково и, по возможности, безнечно.

— Дай мнѣ платокъ,—тихо отвѣтила она и по-дѣтски, прерывисто вздохнула.—Я уже не плачу больше..

Я нашелъ подъ подушкой платокъ, и нѣсколько минутъ мы лежали молча. Лунный свѣтъ воздушно-серебристой полосой падалъ на лежанку и озарялъ ее странною, яркой блѣдностью. Все остальное было въ сумракѣ, и въ немъ медленно плавалъ дымъ моей папирсы. И отъ попонъ на полу, отъ теплой, озаренной лежанки,—ото всего вѣяло глухой деревенской жизнью, уютностью родного дома...

— Ты рада, что мы заѣхали сюда?—спросилъ я невольно.

— Ужасно, Костя, рада, ужасно!—отвѣтила жена съ порывистой искренностью.—Я думала объ этомъ, когда ты уснулъ. По-моему,—сказала она уже съ улыбкой,—вѣнчаться надо бы два раза. Seriously,—какое это счастье стать подъ вѣнецъ сознательно, поживши, постра-

давши съ человѣкомъ! И непременно жить дома, въ своемъ углу, гдѣ-нибудь подальше ото всѣхъ... „Родиться, жить и умереть въ родномъ домѣ“—какъ говорить Мопассанъ!

Она задумалась и опять положила голову на подушку.

— Это сказалъ Сень-Бевъ,—поправилъ я.

— Все равно, Костя. Я, можетъ быть, и глупая, какъ ты постоянно говоришь, но все-таки одна люблю тебя. Хочешь, пойдемъ гулять?—прибавила она, помолчавши.

— Куда?—спросилъ я удивленно.

— По двору. Я надѣну валенки, твой полусубочекъ... Развѣ ты уснешь сейчасъ?

Черезъ полчаса мы одѣлись и, улыбаясь, остановились у двери.

— Ты не сердисься?—спросила жена, взявъ меня подъ руку.

Она ласково заглядывала мнѣ въ глаза, и лицо ея было необыкновенно мило въ эту минуту, и вся она казалась такой женственной въ полусубочкѣ, въ сѣрой шали, которой она по-деревенски закутала голову, и въ мягкихъ валенкахъ, дѣлавшихъ ее ниже ростомъ.

Изъ дѣтской мы вышли въ коридоръ, гдѣ было темно и холодно, какъ въ погребѣ, и въ темнотѣ добрались до прихожей, называвшейся прежде „лакейской“... Потомъ заглянули въ залъ и гостиную... Скрипъ двери, ведущей въ залъ, раздался по всему дому, а изъ сумрака большой, пустой комнаты, какъ два огромные глаза, взглянули на насъ два высокихъ окна въ садъ. Третье было прикрыто полуразломанными ставнями.

— Ау!—крикнула жена на порогѣ.

— Не надо,—сказалъ я,—лучше посмотри, какъ тамъ хорошо.

Она притихла, и мы несмѣло вошли въ комнату. Очень рѣдкій и низенькій садъ, вѣрнѣе, кустарникъ, раскиданный по широкой снѣжной полянѣ, былъ виденъ изъ оконъ, и одна половина его была въ тѣни,

далеко лежавшей отъ дома, а другая, освѣщенная, четко и нѣжно бѣлѣла подъ звѣзднымъ небомъ тихой зимней ночи. Кошка, неизвестно какъ попавшая въ эти пустыя комнаты, вдругъ спрыгнула съ мягкимъ стукомъ съ подоконника и мелькнула у насъ подъ ногами, блеснувъ золотисто-оранжевыми глазами. Я вздрогнулъ, и вся таинственная жизнь необитаемаго дома, который стоялъ заброшеннымъ по моей винѣ, сразу передалась мнѣ...

Точно угадавъ мое чувство, жена опять взяла меня подъ руку.

— Ты боялся бы здѣсь одинъ?—спросила она шопотомъ.

Прижимаясь другъ къ другу, мы прошли по залу въ гостиную, къ двойнымъ стекляннымъ дверямъ на балконъ. Тутъ еще до сихъ поръ стояла огромная кушетка, на которой я спалъ, приѣзжая въ деревню студентомъ. Казалось, что еще вчера были эти лѣтніе дни, когда мы всей семьей обѣдали на балконѣ, когда вся усадьба была полна домовитой, помѣщичьей жизнью... Теперь въ гостиной пахло плѣсенью и зимней сыростью, тяжеляя, промерзлая обои кусками висѣли со стѣнъ... Было больно и не хотѣлось думать о прошломъ, особенно, передъ лицомъ этой прекрасной, зимней ночи. Сквозь стекляныя двери гостиной еще яснѣе, чѣмъ въ залѣ, виденъ былъ весь садъ и вся бѣлоснѣжная равнина подъ звѣзднымъ небомъ,—каждый сугробъ чистаго, дѣвственнаго снѣга, каждая елочка среди пушистой, бѣлой равнины.

— Тамъ утонешь безъ лыжъ,—сказалъ я въ отвѣтъ на просьбу жены пройти черезъ садъ на гумно.—А, бывало, я по цѣлымъ ночамъ сидѣлъ зимой на гумнахъ, въ овсяныхъ ометахъ... Теперь зайцы, небось, приходятъ къ самому балкону!

Оторвавъ затѣмъ большой, неуклюжій кусокъ обоей, вистѣвшій у двери, я бросилъ его въ уголь, и, точно

сдѣлавъ дѣло, мы молча вернулись въ прихожую и черезъ большія, бревенчатая сѣни вышли на морозный воздухъ. Тамъ я сѣлъ на ступени крыльца, закуривая папиросу, а жена, хрустя валенками по снѣгу, сбѣжала съ нихъ на сугробы и подняла лицо къ блѣдному зимнему мѣсяцу, уже низко стоявшему надъ черной и длинной избой, въ которой спали сторожъ усадьбы и нашъ ямщикъ со станціи.

— Мѣсяцъ, мѣсяцъ, тебѣ золотые рога, а мнѣ золотая казна!—заговорила она, кружась, какъ дѣвочка, по широкому, бѣлому двору.

Голосъ ея звонко раздался въ воздухѣ и былъ такъ страненъ въ тишинѣ этой мертвой усадьбы. Кружась, она прошла до ямщицкой кибитки, чернѣвшей въ тѣни передъ избой, и было слышно, какъ она бормотала на ходу:

Татьяна на широкой дворъ
Въ открытомъ платьицѣ выходить,
На мѣсяцъ зеркало наводитъ,
Но темномъ зеркалѣ одна
Дрожить печальная луна...

— Никогда я уже не буду гадать о суженомъ!—сказала она, возвращаясь черезъ минуту къ крыльцу и запыхавшись и весело дыша морозной свѣжестью, сѣла на ступени возлѣ меня.—Ты не уснулъ, Костя? Можно съ тобой сѣсть рядомъ, миленькій, золотой мой?

Большая рыжая собака медленно подошла къ намъ изъ-за крыльца, съ ласковой снисходительностью виляя пушистымъ хвостомъ, и она обняла ее за широкую шею въ густомъ мѣху, а собака глядѣла черезъ ея голову умными, вопросительными глазами и все также равнодушно-ласково, вѣроятно, сама того не замѣчая, махала хвостомъ. Я тоже гладилъ этотъ густой, холодный и глянцевиный мѣхъ, глядѣлъ на блѣдное человѣческое лицо мѣсяца, на длинную черную избу, на сияющій снѣгомъ дворъ и думалъ, подбадривая себя:

— Въ самомъ дѣлѣ, неужели уже все потеряно? Мнѣ тридцать три года, черезъ нѣсколько лѣтъ у меня будетъ пенсія, долги можно будетъ заплатить постепенно, жизнь въ Петербургѣ можно сдѣлать скромнѣй и семейнѣе, имѣніе выйдетъ изъ банка... Черезъ десять лѣтъ я буду свободенъ. Десять лѣтъ! Десять новогоднихъ ночей—и я свободенъ... Но какіе долги и тяжелые промежутки раздѣляютъ эти ночи!

И опять въ голову приходили воспоминанія о фальшивыхъ и шумныхъ встрѣчахъ этихъ ночей въ четвертомъ этажѣ огромнаго дома на Литейномъ, о сѣрой жизни, по-прежнему начинающейся послѣ этихъ встрѣчъ въ темнотѣ, дождѣ и снѣгѣ мокраго Петербурга, о безчисленныхъ извозчикахъ и свѣстныхъ, овощныхъ и курятныхъ лавкахъ. И все это было такъ далеко отъ меня въ эту минуту, и не вѣрилось, что пройдетъ эта прекрасная, зимняя ночь.

— А что-то теперь въ Петербургѣ?—сказала жена, поднимая голову и слегка отпихивая собаку.—О чемъ ты думаешь, Костя?—спросила она, приближая ко мнѣ помолодѣвшее на морозѣ лицо.—Я думаю о томъ, что вотъ мужики никогда не встрѣчаютъ новаго года, и во всей Россіи теперь мертвая тишина, и всѣ давнымъ-давно спятъ...

Но говорить не хотѣлось. Было уже холодно, въ одежду отовсюду пробирался морозъ. Я закуталъ ноги лапами шубы и слегка вытянулъ ихъ, а жена сѣла ко мнѣ на колѣни и, обнявшись, мы стали медленно покачиваться, какъ дѣлали это когда-то прежде. Вправо отъ насъ видно было въ ворота блестящее, какъ золотая слюда, поле, и голая лозинка съ тонкими обледенѣвшими вѣтвями, стоявшая далеко въ полѣ, казалась сказочнымъ стекляннымъ деревомъ. Днемъ я видѣлъ тамъ остовъ дохлой коровы, и теперь собака вдругъ насторожилась и остро приподняла уши: далеко по блестящей слюдѣ побѣжало отъ лозинки что-то маленькое и тем-

ное,—можетъ быть, лисица,—и въ чуткой тишинѣ долго слышался замирающій, едва уловимый звукъ таинственнаго потрескиванія наста.

Наконецъ, жена спросила:

— А если бы мы остались здѣсь?

Я подумалъ и отвѣтилъ:

— А ты бы не соскучилась?

И какъ только я сказалъ, мы оба почувствовали, что не могли бы выжить здѣсь и года. Уйти отъ людей, отъ жизни, никогда не видать ничего дальше этого снѣжнаго поля, по цѣлымъ днямъ ѣсть и спать отъ скуки... Возможно ли это? Положимъ, можно заняться хозяйствомъ... Но какое хозяйство можно завести въ этихъ жалкихъ остаткахъ усадьбы, на сотнѣ десятинъ земли? И теперь почти всюду такія усадьбы, — на сто верстъ въ окружности нѣтъ ни одного дома, гдѣ бы было свѣтло, весело, чувствовалось что-нибудь живое и разумное! А въ деревняхъ—голодь...

— Но какъ же здѣсь жили твой отецъ, мать, братья?—спросила жена.

— То были, Оля, люди другого склада,—сказалъ я тихо.—Да и не было здѣсь такой глуши и запустѣнія. Мы вѣдь, въ сущности, живемъ въ полудикой пустынѣ, гдѣ только есть оазисы... И я если нищій, и притомъ нищій слабый духомъ, какъ и полагается русскому человѣку,—какъ не стремиться мнѣ къ этимъ все-таки люднымъ оазисамъ? А тамъ, среди этого оазиса, въ темнотѣ и тѣснотѣ Петербурга, чѣмъ я могу быть, какъ не чиновникомъ, отдающимъ всю свою жизнь любимой службѣ и не знающимъ, для чего онъ существуетъ?

— Но какъ же быть, Костя?

— Не думать,—отвѣтилъ я.—Мы люди маленькіе, имя же намъ—легіонъ...

И стараясь возвратиться къ тому дѣтскому хорошему

чувству, съ которымъ я проснулся, я тихо укачивалъ жену на колѣняхъ.

— Поговоримъ лучше о другихъ вещахъ,—говорилъ я, съ напускной безпечностью, медленно цѣлуя ея руки.—А потомъ въ дѣтскую и баньки!...

Однако, засыпая подь утро въ дѣтской и сидя на другой день въ рогожной кибиткѣ по пути на станцію, я думалъ все о томъ же. Заснули мы крѣпко, а утромъ, прямо съ постели, нужно было собираться въ дорогу. Когда за стѣною заскрипѣли полозья, и около самаго окна прошли по высокимъ сугробамъ лошади, запряженные гусемъ, жена, полусонная, грустно улыбнулась мнѣ, и чувствовалось, что ей жаль покидать теплую деревенскую комнату...

— Вотъ и новый годъ!—думалъ я, поглядывая изъ скрипучей, опущенной вносемъ кибитки въ сѣрое поле.—Какъ-то мы проживемъ эти новые триста шестьдесятъ пять дней?

Но мелкій лепетъ бубенчиковъ спутывалъ мысли, думать о будущемъ было неприятно и было жаль не то себя, не то покинутую усадьбу. Выглядывая изъ кибитки, я уже едва различалъ мутный, сѣро-сизый пейзажъ усадьбы, все болѣе уменьшающійся въ ровной снѣжной степи и постепенно сливающійся съ туманной далью морознаго туманнаго дня. Покрикивая на заиндевѣвшихъ лошадяхъ, ямщикъ стоялъ въ козлахъ и, видимо, былъ совершенно равнодушенъ и къ новому году, и къ бѣлому пустому полю, и къ своей и нашей участи. Съ трудомъ добравшись подь тяжелымъ армякомъ и полудубкомъ до кармана, онъ вытащилъ трубку, и скоро въ зимнемъ воздухѣ запахло сѣрой спичекъ и душистой махоркой. Запахъ былъ родной, пріятный, и меня трогали и воспоминанія о деревенскихъ суткахъ, и наше временное примиреніе съ женою, которая дремала, прижавшись въ уголь возка и закрывъ большія, сѣрыя отъ инея рѣсницы. Но повинуюсь внутреннему желанію поскорѣе

забыться въ мелкой суетѣ и привычной обстановкѣ, я дѣланно-весело покрикивалъ:

— Погоняй, Степанъ, потрогивай! Опоздаемъ!

А далеко впереди уже бѣжали туманные силуэты телеграфныхъ столбовъ вдоль желѣзной доррги, и мелкій лепегъ бубенчиковъ такъ шелъ къ моимъ думамъ о безсвязной и бессмысленной жизни, которая ждала меня впереди...



АНТОНОВСКІЯ ЯБЛОКИ.

I.

Гдѣ-то я читалъ, что Шиллеръ любилъ, чтобы въ его комнатѣ лежали яблоки: улежавшись, они своимъ запахомъ возбуждали въ немъ творческія настроенія. Не знаю, насколько справедливъ этотъ разсказъ, но вполне понимаю его: есть вещи, которыя прекрасны сами по себѣ, но больше всего потому, что они заставляютъ насъ сильнѣе чувствовать жизнь. Запахи особенно сильно дѣйствуютъ на насъ, и между ними есть особенно здоровые и яркіе: запахъ моря, запахъ лѣса, червозема весною, прѣлой осенней листвы, улежавшихся яблокъ... чудный запахъ крѣпкихъ антоновскихъ яблокъ, сочныхъ и всегда холодныхъ, пахнущихъ слегка медомъ, а больше всего—осенней свѣжестью!

Садовники такъ и говорятъ про нихъ: „осеннее яблочко, русское!“. Теперь на дворѣ идутъ непрерывные дожди, на улицѣ дребезжатъ извозчичьи экипажи, и съ гуломъ, съ грохотомъ, съ звонками катятся среди толпы тяжелыя конки, а я по цѣлымъ днямъ сижу за работой, гляжу въ окно на мокрѣя выѣски и сѣрое небо, и все деревенское очень далеко отъ меня. Но по вечерамъ я читаю старыхъ поэтовъ, родныхъ мнѣ по быту и по многимъ своимъ настроеніямъ и, наконецъ, просто по мѣстности,—средней полосѣ Россіи. А ящики

моего письменнаго стола полны ангоновскими яблоками, и здоровый осенній аромат ихъ переноситъ меня въ деревню, въ помѣщичьи усадьбы... И вотъ передо мною проходитъ цѣлый міръ, цѣлый бытъ, который скудѣлъ, дробился, а теперь уже умираетъ, такъ что, можетъ быть, черезъ какихъ-нибудь пятьдесятъ лѣтъ его будутъ знать только по нашимъ рассказамъ...

Вспоминается мнѣ ранняя, погожая осень въ нашей деревнѣ. Августъ былъ веселый, съ теплыми дождиками, какъ будто нарочно выпавшими для сѣва,—съ дождиками въ самую пору, т. е. въ срединѣ мѣсяца, около праздника св. Лаврентія. А—„осень и зима бываютъ хорошія, коли на Лаврентія вода тиха и дождикъ“,—говорять въ деревнѣ. Потомъ на бабѣ лѣто паутины много сѣло на поля. Это тоже хорошій признакъ: „Много тенетника на бабѣ лѣто—осень ядреная“... И примѣта насчетъ тенетника оправдалась: наступаетъ середина сентября, а погода все еще держится. Помню раннее, свѣжее и тихое утро... Помню большой, уже почти весь золотой, подсохшій и порѣдѣвшій садъ... кленовыя аллеи, тонкій аромат опавшей листвы и главное—запахъ яблокъ. Воздухъ такъ чистъ и чутокъ, точно его совсѣмъ нѣтъ, и по саду громко раздаются голоса и скрипъ телѣгъ. Это мѣщане-садовники наняли мужиковъ и насыпаютъ яблоки, чтобы въ ночь отправлять ихъ въ городъ,—непремѣнно въ ночь, когда такъ славно лежать на возу, смотрѣть въ звѣздное небо, чувствовать запахъ дегтя въ свѣжемъ воздухѣ и слушать, какъ осторожно поскрипываетъ въ темнотѣ длинный обозъ по большой дорогѣ! И потому-то, должно быть, сборы въ городъ съ хлѣбомъ или съ яблоками совсѣмъ не то, что отправка какого-нибудь другого товара. Тутъ даже „тархане“ ведутъ себя не такъ, какъ въ другихъ хозяйственныхъ случаяхъ: если, напримѣръ, мужикъ, насыпающій яблоки, и ѣсть ихъ съ сочнымъ трескомъ

одно за однимъ, мѣщанинъ не оборветъ его, а еще весело скажетъ:

— Вали, Матвѣй,—дѣлать нечего! На сливаньи всѣ медь пьютъ.

И прохладную тишину утра нарушаетъ только сытое квохтанье дроздовъ на коралловыхъ рябинахъ въ чащѣ сада, голоса да гулкой стукъ ссыпаемыхъ въ мѣры и кадушки яблокъ. Въ порѣдѣвшемъ саду далеко видна дорога къ большому шалашу, усыпанная соломой, и самый шалашъ, около котораго мѣщане обзавелись за лѣто цѣлымъ хозяйствомъ. Всюду сильно пахнетъ яблоками, тутъ—особенно. Въ шалашѣ устроены постели, стоитъ одноствольное ружье, позеленѣвшій самоваръ на соломѣ, а въ уголкѣ—чашки и разная посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящики, всякіе истрепанные пожитки, и вырыта земляная печка. Въ полдень на ней варится великолѣпный кулешъ съ саломъ, вечеромъ грѣтся самоваръ, и по саду, между деревьями, мирно разстилается длинной полосой голубоватый дымъ... Въ праздничные же дни около шалаша—цѣлая ярмарка, и за деревьями поминутно мелькаютъ красные праздничные уборы. Толпятся бойкія дѣвки-одноворки въ ситцевыхъ платьяхъ и сарафанахъ, сильно пахнущихъ краской, приходятъ „барскія“ въ своихъ красивыхъ и грубыхъ, почти дикарскихъ костюмахъ... Вотъ, напримѣръ, молодая старостиха, сильно беременная, съ широкимъ соннымъ лицомъ и важная, какъ холмогорская корова. На головѣ—„рога“, т. е. косы положены по бокамъ макушки и покрыты нѣсколькими платками, такъ что голова кажется огромной; ноги—въ полусапожкахъ съ подковками—стоятъ тупо и крѣпко; безрукавка—плисовая, занавѣска—длинная, а панева—черно-лиловая съ полосами кирпичнаго цвѣта въ клѣтку и обложенная на подолѣ широкимъ золотымъ „прозументомъ“...

— Хозяйственная бабочка! — говоритъ мѣщанинъ, покачивая головою.—Переводятся теперь такія...

А мальчишки въ бѣлыхъ замашныхъ рубашечкахъ и коротенькихъ порточкахъ, съ бѣлыми раскрытыми головами все подходятъ. Идутъ по-двое, по-трое, мелко перебирая босыми ножками, и косятся на лохматую свирѣпую овчарку, привязанную къ яблонѣ. Покуиаеть, конечно, одинъ, ибо и покупки-то всего на копейку или на яйцо, но покупателей много, торговля идетъ бойко, и худой чахоточный мѣщанинъ въ длинномъ сюртукѣ и рыжихъ сапогахъ—весель. Вмѣстѣ съ братомъ, картавымъ, шустрымъ полудиотомъ, который живетъ у него изъ „милости“, онъ торгуеть съ шуточками, прибаутками и даже иногда „тронетъ“ на тульской гармоникѣ. И до вечера въ саду толпится народъ, слышится около шалаша смѣхъ и говоръ, а иногда и топоть пляски...

Къ ночи въ погоду становится очень холодно и росисто. Надышавшись на гумнѣ ржанымъ ароматомъ свѣжей соломы и мякины, бодро идешь домой къ ужину мимо садоваго вала. Говоръ на деревнѣ или скрипъ воротъ раздаются по студеной зарѣ необыкновенно ясно. Темнѣеть. И вотъ еще запахъ: въ саду—костеръ, и крѣпко тянетъ душистымъ дымомъ вишневыхъ сучьевъ. Въ темнотѣ, въ глубинѣ сада—совсѣмъ фантастическая картина: точно въ уголкѣ ада пылаеть около шалаша багровое пламя, окруженное мракомъ, и чьи-то черные, точно вырѣзанные изъ черного дерева, силуэты двигаются вокругъ костра, между тѣмъ какъ гигантскія тѣни отъ нихъ ходять по яблонямъ. То по всему дереву ляжетъ черная рука въ нѣсколько аршинъ, то четко нарисуются двѣ ноги—два черныхъ столба. И вдругъ все это скользнетъ съ яблони—и исполинская тѣнь упадетъ по всей аллеѣ отъ шалаша до самой калитки...

Поздней ночью, когда на деревнѣ погаснутъ огни, когда въ полночномъ небѣ уже высоко блещетъ бриллиантовое семизвѣздіе Стожаръ, еще разъ пробѣжишь въ садъ „на сонъ грядущій“. Шурша по сухой листвѣ, какъ слѣпой, доберешься до шалаша. Тамъ на полянѣ

немного свѣтлѣе, а надъ головою бѣлѣеть Млечный Путь...

— Это вы, барчукъ?—тихо окликаеть кто-то изъ темноты.

— Я. А вы не спите еще, Николай!

— Намъ нельзя-съ спать. А. должно, ужъ поздно? Вотъ, кажись, пассажирный поѣздъ идетъ...

Долго прислушиваемся и, наконецъ, различаемъ дрожь въ землѣ: далеко идетъ поѣздъ. Дрожь переходитъ въ шумъ. Онъ постепенно разрастается, и вотъ, какъ будто уже за самымъ садомъ, ускореннымъ темпомъ выбиваютъ шумный тактъ колеса: громыхая и стуча несется поѣздъ.. Ближе, ближе, все громче и сердитѣе... И вдругъ начинаетъ стихать и, наконецъ, замреть, точно уйdetъ въ землю.

— А гдѣ у васъ ружье, Николай?

— А вотъ возлѣ ящика-съ.

Вскинешъ кверху тяжелую, какъ ломъ, одностволку и съ-маху выстрѣлишь. Багровое пламя съ оглушительнымъ трескомъ блеснетъ къ небу, ослѣпитъ на мигъ и погаситъ звѣзды, а бодрое эхо кольцомъ грянетъ и раскатится по горизонту, далеко-далеко замирая въ чистомъ и чуткомъ воздухѣ.

— Ухъ, здорово!—скажетъ мѣщанинъ.—Потрачайте, потрачайте, барчукъ, а то просто бѣда! Опять всю дулю на валу отрясли.

А черное небо то тамъ, то сямъ чертятъ огнистыми полосками падающія звѣзды. Долго глядишь въ его темно-синюю глубину, переполненную созвѣздіями, пока не поплыветъ земля подъ ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки въ рукава, быстро побѣжишь по аллеѣ къ дому... Какъ холодно, росисто и хорошо, чувствуешь всѣмъ существомъ своимъ!

II.

„Ядреная антоновка—къ веселому году“,—говорять въ деревнѣ,—т. е. деревенскія дѣла обстоятъ отлично, если антоновка уродилась, какъ слѣдуетъ. Это, конечно, не совсѣмъ справедливо, но нѣкоторыя мои воспомина- нія о нашихъ Выселкахъ отчасти подтверждаютъ по- словицу.

На ранней зарѣ, когда на деревнѣ кричатъ пѣтухи и „по-черному“ дымятся избы, распахнешь, бывало, ок- но въ прохладный садъ, наполненный лиловатымъ туманомъ, сквозь который ярко блеститъ кое-гдѣ утрен- нее солнце, и не утерпишь—велишь поскорѣй засѣдлы- вать лошадь, а самъ побѣжишь умываться на прудъ. Мелкая листва почти уже облетѣла съ прибрежныхъ лозинъ, и сучья сквозятъ на бирюзовомъ небѣ. Вода подъ лозинами стала прозрачная, но ледяная и какъ будто тяжелая. Она мгновенно прогоняетъ ночную лѣнь, и, умывшись и позавтракавъ въ людской съ работни- ками горячими картошками и чернымъ хлѣбомъ съ круп- ной сырой солью, особенно бодро чувствуешь себя въ сѣдлѣ, проѣзжая по Выселкамъ на охоту. Осень—пора престольныхъ праздниковъ, и народъ въ это время при- бранъ, сытъ и веселъ, такъ что видъ деревни осенью совсѣмъ не тотъ, что въ другую пору. Если же годъ урожайный, и на гумнахъ возвышается цѣлый золотой городъ скирдъ, а на рѣкѣ звонко и рѣзко гогочутъ по утрамъ гуси,—такъ въ деревнѣ и совсѣмъ недурно. Къ тому же наши Выселки споконъ вѣку, еще со вре- менъ дѣдушки Аполлона Платоновича, славились „бо- гатствомъ“. Старики и старухи жили въ Выселкахъ очень подолгу,—первый признакъ богатой деревни,—и были все высокіе, большіе и бѣлые, какъ лунь. Только и слы- шишь, бывало: „Да,—вотъ Агафья восемьдесятъ три

годочка отмахала!“—или даже разговоръ въ такомъ родѣ:

— И когда это ты умрешь, Панкратъ? Небось тебѣ лѣтъ сто будетъ?

— Какъ изволите говорить, батюшка?

— Сколько тебѣ годовъ, спрашиваю?

— А не знаю-съ, батюшка.

— Да Платона Аполлоныча-то помнишь?

— Какъ же-съ, батюшка,—явственно помню.

— Ну, вотъ видишь. Тебѣ, значить, никакъ не мень- ше ста.

Старикъ, который стоитъ передъ бариномъ вытянув- шись, кротко и виновато улыбается. Что-жъ, молъ, дѣ- лать,—виновать, зажился. И онъ, вѣроятно, еще болѣе зажился бы, если бы не обѣлся въ Петровки луку и не умеръ совершенно неожиданно для всѣхъ.

Помню я и старуху его. Все, бывало, сидитъ на ска- меечкѣ, на крыльцѣ, согнувшись, трясая головой, зады- хаясь и держась за скамейку руками,—все о чемъ-то думаетъ. „О добрѣ своемъ, небось“,—говорили бабы, по- тому что „добра“ у нея въ сундукахъ было дѣйстви- тельно много. А она будто и не слышитъ; поделѣпова- то смотреть куда-то въ даль изъ-подъ грустно припод- нятыхъ бровей, трясеть головой и точно силится вспо- мнить что-то. Большая была старуха, вся какая-то тем- ная. Панева—чуть не прошлаго столѣтія, чуньки—по- койницкія, шея—желтая и высохшая, рубаха съ ка- нифасовыми косяками всегда бѣлая-бѣлая,—„совсѣмъ хоть въ гробъ клади“. А около крыльца большой ка-мень лежалъ: сама кушила себѣ въ селѣ на могилку, также какъ и саванъ,—отличный саванъ съ ангелами, съ крестами и съ молитвой, напечатанной по краямъ.

Подъ-стать старикамъ были и дворы въ Выселкахъ: кирпичные, строенные еще дѣдами. А у богатыхъ му- жиковъ,—у Савелія, у Игната, у Дрона,—избы были въ двѣ-три связи, потому-что дѣлиться въ Выселкахъ бы-

ло еще не въ модѣ. Въ такихъ семьяхъ водили пчелъ, гордились жеребцомъ-битюкомъ сиво-желѣзнаго цвѣта и держали усадьбы въ порядкѣ. На гумнахъ темнѣли густые и тучные конопляники, стояли овины и риги, крытые въ прическу; въ пунькахъ и амбарчикахъ были желѣзныя двери, за которыми хранились холсты, прялки, новые полущубки, наборная сбруя, мѣры, окованныя мѣдными обручами. На воротахъ и на санкахъ были выжжены кресты. И помню, мнѣ порою казалось на рѣдкость заманчивымъ быть мужикомъ. Когда, бывало, ѣдешь солнечнымъ утромъ по деревнѣ, все думаешь о томъ, какъ хорошо косить, молотить, спать на гумнѣ въ ометахъ, а въ праздникъ встать вмѣстѣ съ солнцемъ, подъ густой и музыкальной благовѣстью изъ села, умыться около бочки и надѣть чистую замашную рубаху, такіе же портки и несокрушимые сапоги съ мѣдными подковками. Если же, думалось, къ этому прибавить здоровую и красивую жену въ праздничномъ, живописномъ уборѣ да поѣздку къ обѣднѣ, а потомъ обѣдъ у бородатаго тестя,—обѣдъ съ горячей бараниной на деревянныхъ тарелкахъ и съ ситниками, съ сотовымъ медомъ и брагой,—такъ большаго и желать невозможно!

Складъ мелкопомѣстной дворянской жизни, который теперь сталъ сбиваться уже на мѣщанскій,—въ прежніе годы, да еще и на моеи памяти, т. е. очень недавно, имѣлъ много общаго со складомъ богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому, старосвѣтскому благополучію. Такова, на примѣръ, была усадьба тетки Анны Герасимовны Кологривовой, жившей отъ Выселокъ верстахъ въ двѣнадцати. Пока, бывало, доѣдешь до этой усадьбы,—день уже совсѣмъ разыграется. Съ собаками на сворахъ ѣхать приходится шагомъ, да и спѣшить не хочется,—такъ весело въ открытомъ полѣ въ солнечный и прохладный день! Мѣстность — ровная, и видно очень далеко. Небо — легкое, бирюзовое и такое просторное и глубокое. Солнце свер-

каетъ сбоку, и дорога, укатанная послѣ дождей тельгами, замаслилась и блеститъ, какъ рельсы. Вокругъ раскидываются широкими косяками свѣжія, пышно-зеленія озими. Взовьется откуда-нибудь ястребокъ въ прозрачномъ воздухѣ и точно замретъ на одномъ мѣстѣ, тренеца острыми крылышками. А въ ясную и чистую даль убѣгаютъ четко видныя телеграфныя столбы, и проволоки ихъ, какъ серебряныя струны, скользятъ по склону яснаго неба. На нихъ сидятъ кончики,—совсѣмъ черныя значки на нотной бумагѣ.

Эти телеграфныя столбы только одни составляли рѣзкій контрастъ со всѣмъ, что окружало старосвѣтское гнѣздо тетки. Крѣпостного права я не зналъ и не видѣлъ, но помню, что у тетки Анны Герасимовны чувствовалъ себя совершенно въ дореформенномъ быту. Въѣдешь во дворъ и сразу ощутишь, что тутъ крѣпостное право еще вполне живо. Усадьба—небольшая, но вся старая и прочная, окруженная столѣтними березами и лозинами. Надворныхъ построекъ,—не высокыхъ, но домовитыхъ,—множество, и всѣ онѣ точно слиты изъ темныхъ дубовыхъ бревенъ подъ соломенными крышами. Выдѣляется величиной или, лучше сказать, длиной только почернѣвшая людская, изъ которой выглядываютъ послѣдніе могики двороваго сословія,—какіе-то ветхіе старики и старухи, дряхлый поваръ въ отставкѣ, похожій на Донъ-Кихота. Всѣ они, когда въѣзжаешь во дворъ, подтягиваются и низко-низко кланяются. Съдой кучеръ, направляющійся отъ каретнаго сарая взять лошадь, еще у сарая снимаетъ шапку и по всему двору идетъ съ обнаженной головой. Онъ у тетки ѣздилъ еще „форейторомъ“, а теперь возитъ ее къ обѣднѣ,—зимой въ огромномъ возкѣ, а лѣтомъ въ крѣпкой, окованной желѣзомъ, телѣжкѣ, вродѣ гѣхъ, на когорыхъ ѣздятъ попы. Отдаю ему лошадь и иду къ дому. Садъ у тетки славился своею запущенностью, соловьями, горлицками и яблоками, а домъ — крышей. Стоялъ онъ во главѣ

двора, у самага сада, такъ что вѣтви липъ обнимали его, были невеликъ и приземистъ, но казалось, что ему и вѣку не будетъ, — такъ основательно выглядывалъ онъ изъ-подъ своей необыкновенно высокой и толстой соломенной крыши, почернѣвшей и затвердѣвшей отъ времени. Мнѣ его передній фасадъ представлялся всегда живымъ: точно старое лицо глядитъ изъ-подъ огромной шапки впадинами глазъ, — окнами съ перламутровыми отъ дождей и солнца стеклами. А по бокамъ этихъ глазъ были крыльца, — два старыхъ, большихъ крыльца съ колоннами. На фронтоны ихъ всегда сидѣли сытые, бѣлые голуби, между тѣмъ какъ тысячи воробьевъ дождемъ пересыпались съ крыши на крышу... И уютно чувствовать себя гость въ этомъ гнѣздѣ, на тихомъ, кругломъ дворѣ, подъ бирюзовымъ осеннимъ небомъ!

Войдешь въ домъ и прежде всего услышишь запахъ яблокъ, а потомъ уже и другіе: старой мебели краснаго дерева, сушенаго липоваго цвѣта, который съ юня лежитъ на окнахъ... Во всѣхъ комнатахъ (въ лакейской, въ залѣ, въ гостиной) прохладно и сумрачно: это оттого, что весь домъ окруженъ садомъ, а верхнія стекла оконъ цвѣтныя: синія и лиловыя. Всюду — тишина и чистота, хотя, кажется, кресла, столы съ инкрустаціями и зеркала въ узенькихъ и витыхъ, золотыхъ рамахъ никогда не трогались съ мѣста. И вотъ изъ гостиной слышится покашливанье: выходитъ тетка. Она небольшая, но тоже, какъ и все кругомъ, прочная. На плечахъ у нея накинута большая персидская шаль... Выйдетъ она важно, но привѣтливо, и сейчасъ-же, подъ безконечные разговоры про старину, про наслѣдства, начинаютъ появляться угощенія: сперва „дули“, яблоки (антоновскія, „бельбарыня“, боровинка, „плодовитка“), а потомъ удивительный обѣдъ: вся насквозь розовая вареная ветчина съ горошкомъ, щи, фаршированная курица, индюшка, маринады и красный квасъ, — крѣпкій и удивительно

сладкій. Окна въ садъ, между тѣмъ, подняты, и оттуда вѣетъ бодрой осенней прохладой и чистой осенней лазурью...

III.

„Ядреная антоновка — къ веселому году“... Увы, вѣроятно, антоновка плохо стала родить за послѣдніе годы, ибо деревенскія дѣла пошли очень невесело... И мнѣ вспоминается то, что за послѣдніе годы одно поддерживало угасающій духъ помѣщиковъ, — охота...

Лѣтъ двадцать тому назадъ такія усадьбы, какъ усадьба Анны Герасимовны, были въ нашей мѣстности еще не въ рѣдкость. Были и въ другомъ родѣ, — уже запущенныя, разрушающіяся, но еще жившія на широкую ногу: усадьбы съ огромнымъ помѣстьемъ, съ на стоящими „помѣщичьими“ службами, съ садомъ въ 20—30 десятинъ и съ величавымъ барскимъ домомъ, украшеннымъ колоннами на главномъ фасадѣ. Правда, сохранились нѣкоторыя изъ такихъ усадебъ еще и до сего времени, но въ нихъ уже нѣтъ жизни... Нѣтъ троекъ, нѣтъ верховыхъ „киргизовъ“, нѣтъ гончихъ и борзыхъ собакъ, нѣтъ дворни и нѣтъ самого обладателя всего этого — помѣщика-охотника, вродѣ моего покойнаго шурина Арсенія Семеныча Климентьева. Перевелись „витязи“ на святой Руси!

Къ теткѣ я ѣздилъ очень часто до самой глубокой осени, т. е. до поры, когда прекращалась охота съ борзыми. Но мои поѣздки имѣли всегда главной цѣлью усадьбу Арсенія Семеныча. Старое гнѣздо Анны Герасимовны было только перепутьемъ, и послѣ нея воспоминанія мои тотчасъ же переходятъ къ „Княжому“, его помѣстью и старому дому...

Съ конца сентября сады и гумна пустѣли. Погода, по обыкновенію, круто измѣнялась и дѣлала меня на

время затворникомъ. Вѣтеръ по цѣлымъ днямъ рвалъ и трепалъ деревья, дожди поливали ихъ съ утра до ночи. Иногда къ вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западѣ трепещущій золотистый свѣтъ низкаго солнца; воздухъ дѣлался чистъ и ясенъ, а солнечный свѣтъ ослѣпительно сверкалъ между листовою, между вѣтвями, которыя живою сѣткою двигались и волновались отъ вѣтра. Но зато становилось еще холоднѣе не только на дворѣ, но, казалось, даже и въ домѣ съ еще не вставленными зимними рамами и съ раскрытымъ балкономъ. Холодно и ярко сіяло на сѣверѣ надъ тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а изъ этихъ тучъ медленно выплывали и четко вырисовывались на небѣ хребты снѣговыхъ горъ-облаковъ. Стоишь у окна, любишься красотою этой иллюзии и думаешь: „авось, Богъ дастъ, распогодится“. Но вѣтеръ не унимался. Онъ волновалъ садъ, рвалъ непрерывно бѣгущую изъ трубы людской струю дыма и снова нагонялъ зловѣщія космы пепельныхъ облаковъ. Онѣ бѣжали низко и быстро—и скоро, точно дымъ, затуманивали солнце. Погасалъ его блескъ, закрывалось окошечко въ голубое небо, а въ саду становилось пустынно и скучно, и снова начиналъ сѣять дождь... сперва тихо, осторожно, потомъ все гуще и, наконецъ, превращался въ ливень съ бурей и темнотою. Наступала долгая, тревожная и ненастная ночь...

Изъ такой трепки садъ выходилъ почти совсѣмъ обнаженнымъ, поломаннымъ, засыпаннымъ мокрыми листьями и какимъ-то притихшимъ и смрившимся. Но зато какъ красивъ онъ былъ, когда снова наступала ясная погода, прозрачные и холодные дни начала октября, прощальный праздникъ осени! Сохранившаяся листва теперь будетъ висѣть на деревьяхъ уже до первыхъ зимковъ. Черный садъ будетъ сквозить на холодномъ бирюзовомъ небѣ и покорно ждать зимы, пригрѣваясь послѣ полудня въ солнечномъ блескѣ. А поля уже рѣзо

чернѣютъ пашнями и ярко зеленѣютъ закустившимися озимями... Пора на охоту!

И вотъ я вижу себя въ усадьбѣ Арсенія Семеныча, въ большомъ домѣ, въ залѣ, полной солнца и дыма отъ трубокъ и папиросъ. Народу много,—все загорѣлые, съ обвѣтренными лицами помѣщики-охотники въ поддевкахъ и длинныхъ сапогахъ. Только что очень сытно пообѣдали, раскраснѣлись и возбуждены шумными разговорами о предстоящей охотѣ, но не забываютъ допивать водку и послѣ обѣда. А на дворѣ трубятъ рогъ и завываютъ на разные голоса собаки. Черный и высокій борзый кобель, любимецъ Арсенія Семеныча, пользуясь суматохой, взлѣзаетъ среди гостей на столъ и начинаетъ пожирать съ блюда остатки зайца подъ соусомъ. Но вдругъ онъ испускаетъ страшный визгъ и, опрокидывая тарелки и рюмки, срывается со стола: Арсеній Семенычъ, вышедшій изъ кабинета съ арапникомъ и револьверомъ, внезапно оглушаетъ залу выстрѣломъ. Залъ еще болѣе наполняется дымомъ, а Арсеній Семенычъ стоитъ и смѣется.

— Жалко, что промахнулся!—говоритъ онъ, играя глазами.

Онъ высокъ ростомъ, худошавъ, но широкоплечъ и строенъ, а лицомъ—совсѣмъ красавецъ-цыганъ. Теперь глаза у него блестятъ почти дико, и онъ очень ловокъ и колоритенъ въ своемъ щегольскомъ нарядѣ,—въ шелковой малиновой рубахѣ, въ бархатныхъ шароварахъ и длинныхъ сапогахъ. Напугавъ и собаку, и гостей выстрѣломъ, онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, закуриваетъ папиросу и театрално, но съ чувствомъ декламируетъ баритономъ:

Вчера зарей впервые у крыльца
Вечерній дождь звѣздами началъ стлечь.
Пора, пора сѣдать проворнаго донца
И звонкій рогъ за плечи перекинуть!

и громко говорить, надѣвая шапку:

— Ну, однако, нечего терять золотое время. Ыдемъ! И одинъ за другимъ вспоминаются мнѣ дни въ „отъѣзжемъ полѣ“...

Мнѣ кажется, что я сейчасъ еще чувствую, какъ жадно и емко дышала молодая грудь холодомъ яснаго и сырого дня подь вечеръ, когда, бывало ѣдешь съ шумной ватагой Арсенія Семеныча мимо сада въ поле, возбужденный предстоящей гравлей или музыкальнымъ гамомъ собакъ, брошенныхъ въ чернолѣсье, въ какой-нибудь Красный Бугоръ или Гремячій Островъ, уже однимъ своимъ названіемъ волнующій охотника. Ыдешь на зломъ, сильномъ и приземистомъ „киргизѣ“, крѣпко сдерживая его поводьями, и чувствуешь себя слитымъ съ нимъ почти во-едино. Онъ фыркаетъ, просится на рысь, шумно шуршитъ копытами по глубокимъ и легкимъ коврамъ черной осыпавшейся листвы, и каждый звукъ гулко раздается въ пустомъ, сыромъ и свѣжемъ лѣсу. Тявкнула гдѣ-то вдаль собака, ей страстно и жалобно отвѣтила другая, третья—и вдругъ весь лѣсъ загремѣлъ, точно онъ весь стеклянный, отъ бурнаго лая и крика. Крѣпко грянулъ среди этого гама выстрѣлъ—и все „заварилось“ и покатилося куда-то вдаль.

— Береги-и!—завопилъ кто-то отчаяннымъ голосомъ на весь лѣсъ.

„А, береги!“—мелькнетъ въ головѣ опьяняющая мысль. Гикнешь на лошадь и, какъ сорвавшійся съ цѣпи, помчишься по лѣсу, уже ничего не разбирая по пути. Только деревья мелькаютъ передъ глазами да лѣпить въ лицо грязью изъ-подъ копытъ лошади. Выскочишь изъ лѣсу, увидишь на зеленяхъ пеструю, растянувшуюся по землѣ, стаю собакъ и еще сильнѣе надашь киргиза наперерѣзъ звѣрю,—по зеленямъ, взметамъ и жнивьямъ, пока, наконецъ, не перевалишься въ другой островъ и не скроется изъ глазъ стая вмѣстѣ съ своимъ бѣшенымъ лаемъ и стономъ. Тогда, весь мокрый и дрожащій отъ напряженія, осадншь вспѣнную, хрипящую лошадь

и жадно глотаешь ледяную сырость лѣсной долины. Вдали замираютъ крики охотниковъ и лай собакъ, а вокругъ тебя—мертвая тишина. Полуоткрытый строевой лѣсъ стоитъ неподвижно, и кажется, что ты попалъ въ какіе-то заповѣдные чертоги, въ безконечныя амфилады сказочныхъ покоевъ и колоннъ. Крѣпко пахнетъ изъ овраговъ грибною сыростью, перегнившими листьями и мокрую древесною корою. И сырость изъ овраговъ становится все ощутительнѣе, въ лѣсу холоднѣетъ и темнѣетъ и становится жутко... Пора на ночевку. Но собрать собакъ послѣ охоты трудно. Долго и безнадежно-тоскливо звенятъ рога по лѣсу, долго слышится крикъ, брань и визгъ собакъ... Наконецъ, все стихаетъ, и уже совсѣмъ въ темотѣ крупнымъ шагомъ вваливается ватага охотниковъ въ усадьбу какого-нибудь почти незнакомаго холостяка-помѣщика и наполняетъ шумомъ весь дворъ усадьбы, которая весело озаряется фонарями, свѣчами и лампами, вынесенными навстрѣчу гостямъ изъ дому...

Случалось, что у такого гостепрѣимнаго сосѣда охота жила по нѣскольку дней. На ранней утренней зарѣ, по ледяному вѣтру и первому мокрому зазимку, уѣзжали въ лѣса и поле, а къ сумеркамъ опять возвращались къ сосѣду,—возвращались всѣ въ грязи, съ раскраснѣвшими лицами, пропахнувъ лошадинымъ потомъ, шерстью загравленнаго звѣря,—и начиналась попойка. Въ свѣтломъ и людномъ домѣ очень тепло послѣ цѣлаго дня на холодѣ въ полѣ. Всѣ ходятъ изъ комнаты въ комнату въ разстегнутыхъ поддевахъ, безпорядочно пьютъ и ѣдятъ, шумно передавая другъ другу свои впечатлѣнія надъ убитымъ матерымъ волкомъ, который оскаливъ зубы, закативъ глаза, лежитъ съ откинутымъ въ сторону пушистымъ хвостомъ среди зала и окрашиваетъ своей блѣдной и уже холодной, мертвой кровью полъ. Послѣ водки и ѣды чувствуешь такую сладкую усталость, такую нѣгу молодого сна, что какъ черезъ

воду слышишь говоръ. Обвѣтренное лицо горитъ, а закроешь глаза—вся земля такъ и поплыветъ подь ногами. А когда ляжешь въ постель, въ мягкую перину, гдѣ-нибудь въ угловой старинной комнатѣ съ образничкой и лампадкой,—замелькаютъ передъ глазами призраки огнисто-пестрыхъ собакъ, во всемъ тѣлѣ занеетъ ощущение скачки, и не замѣтишь, какъ потонешь вмѣстѣ со всѣми этими образами и ощущениями въ сладкомъ и здоровомъ снѣ, забывъ даже, что эта комната была когда-то молельной старика Нила Афанасьича, имя котораго окружено мрачными крѣпостными легендами, и что онъ умеръ въ этой молельной,—вѣроятно, на этой же кровати.

Когда случалось проспать охоту, отдыхъ былъ особенно приятенъ. Проснешься и долго лежишь въ постели. Во всемъ домѣ—мертвая тишина. Слышно, какъ осторожно ходитъ по комнатамъ садовникъ, растапливая печи, и какъ дрова трещать и стрѣляютъ. Впереди—цѣлый день покоя въ безмолвной уже по-зимнему усадьбѣ. Не спѣша одѣнешься, побродишь по саду, найдешь въ мокрой листьѣ случайно забытое холодное и мокрое яблоко, и почему-то оно покажется необыкновенно вкуснымъ, совсѣмъ не такимъ, какъ другія. Потомъ позавтракаешь и примешься за книги,—дѣдовскія книги, въ толстыхъ кожаныхъ переплетахъ съ сафьяномъ и золотыми звѣздочками на корешкахъ. Славно пахнутъ эти, похожія на церковные требики, книги своей пожелтѣвшей, толстой и шаршавой бумагой! Какой-то приятной кисловатой плѣсенью, старинными духами... Хороши и замѣтки на ихъ поляхъ, крупно и съ круглыми мягкими росчерками сдѣланныя гусинымъ перомъ. Напримѣръ, развернешь книгу и читаешь: „Мысль, достойная древнихъ и новыхъ философовъ, цвѣтъ разума и чувства сердечнаго“. И невольно увлечешься и самой книгой. Оказывается, что это—„Дворянинъ-философъ“, аллегорія, изданная лѣтъ сто тому

назадъ иждивеніемъ такого-то „кавалера многихъ орденвъ“ и напечатанная въ „типографіи приказа общественнаго призрѣнія“,—разсказъ о томъ, какъ „дворянинъ-философъ, имѣя время и способность разсуждать, къ чему разумъ человѣка возноситься можетъ, получилъ нѣкогда желаніе сочинить планъ свѣта на пространнымъ мѣстѣ своего селенія“. Потомъ наткнешься на „сатирическія и философическія сочиненія господина Вольтера“ и долго упиваешься милымъ и манернымъ слогомъ перевода: „Государи мои! Эразмъ сочинилъ въ шестнадцатомъ столѣтіи похвалу дурачеству (манерная пауза,—точка съ запятой); вы же приказываете мнѣ превознести предъ вами разумъ...“ Потомъ отъ екатерининской старины перейдешь къ романтическимъ временамъ, къ альманахамъ, къ сентиментально-напыщеннымъ и длиннымъ романамъ... Кукушка выскакиваетъ изъ часовъ и насмѣшливо-грустно кукуетъ надъ тобою въ пустомъ домѣ. И понемногу въ сердце начинается закрадываться какая-то сладкая и странная тоска...

Вотъ „Тайны Алексиса“, вотъ „Викторъ или дитя въ дѣсу“. „Бьетъ полночь!—читаешь ты съ тихой улыбкой.—Священная тишина заступаетъ мѣсто дневного шума и веселыхъ пѣсней поселянъ. Сонъ простираетъ мрачныя крылья свои надъ поверхностью нашего полушарія; онъ стрясаетъ съ нихъ макъ и мечты... Мечты!.. Какъ часто продолжаютъ онѣ токмо страданія злощастнаго!..“ И замелькаютъ передъ глазами любимыя старинныя слова: скалы и дубравы, блѣдная луна и одиночество, привидѣнія и призраки, „ероты“, розы и лиліи, „проказы и рѣзвости молодыхъ шалуновъ“, мечты злощастнаго, лилейная рука, Людмилы и Алины... А вотъ журналы съ именами Жуковского, Батюшкова, лицейста Пушкина. И съ грустью вспомнишь бабушку, ея полонезы и гроссъ-фатеръ на клавикордахъ, ея томное чтеніе стиховъ изъ „Евгенія Онѣгина“. И старинная, мечтательная жизнь встанетъ передъ тобою, какъ живая...

Хорошія дѣвушки и женщины жили когда-то въ дворянскихъ усадьбахъ! Ихъ портреты и дагеротипы глядятъ на меня со стѣны, аристократически-красивыя головки въ старинныхъ прическахъ кротко и женственно опускаютъ свои длинныя рѣсницы на печальные и нѣжные глаза... Да развѣ могла эта сентиментальная жизнь, равно какъ и безпутное существованіе съ охотами и пирами, не погибнуть при первомъ столкновеніи съ новой жизнью?..

IV.

Запахъ антоновскихъ яблокъ начинаетъ разсѣиваться и исчезать изъ помѣщичьихъ усадебъ. Этотъ день въ имѣніи Нила Афанасьевича былъ такъ недавно, а между тѣмъ, мнѣ кажется, что съ тѣхъ поръ прошло чуть не цѣлое столѣтіе. Перемерли старики въ Выселкахъ, умерла Анна Герасимовна, застрѣлился Арсеній Семенычъ... И вотъ я уже пишу имъ эпитафіи.

Я надолго покинулъ родныя „палестины“, какъ любить говорить въ нашихъ мѣстахъ, а когда недавно взглянулъ въ нихъ, невесело встрѣтили меня родныя палестины. Старыя книги, старые портреты, разрозненные и никому не нужные, затерялись по городамъ, по мѣщанскимъ хуторкамъ, по ястребинымъ гнѣздамъ новыхъ помѣщиковъ,—гнѣздамъ, на которыя раздробились прежнія помѣстья и имѣнія. На весь нашъ уѣздъ осталось пять, шесть „барскихъ“ помѣстій; на весь уѣздъ теперь приходится три-четыре состоятельныхъ дворянина, но и они живутъ въ деревнѣ уже новою жизнью,—чаще всего лѣтотомъ, на дачный ладъ. Наступаетъ царство мелкопомѣстныхъ, объединѣвшихъ до нищенства, и чужацкихъ сѣрыхъ деревушекъ. Идетъ ноябрь, глухая пора деревенской жизни...

Скверное было утро, когда я покинулъ поѣздъ на

нашемъ полустанкѣ, затерянномъ среди полей. И поля послѣ долгой городской жизни показались мнѣ мучительно убогими и скучными, когда мужикъ подъ дождемъ потащилъ меня на телѣгѣ къ старой нашей усадьбѣ... Деревушки надъ лощинами кажутся издали кучами навоза. Въ лѣсу,—голомя, мокромъ и черномъ,—синеватый туманъ, и шумитъ сырой вѣтеръ, а на проселочной дорогѣ—пустынно, какъ въ киргизской степи. Навстрѣчу попалась свадьба,—три телѣги съ бабами, прикрывшимися отъ дождя армяками и подолами верхнихъ юбокъ. Бабы кричатъ пьяными голосами пѣсни, стараюсь возбудить въ себѣ удалство и веселость. Одна даже стоитъ среди телѣги, машетъ платкомъ, съ криками погоняетъ веревочными возжами лошадей,—но лошадь неловко тычетъ ногами, колокольчики звенятъ вразбивку, телѣга не въ ладъ стучитъ по дорогѣ, удалая пѣсня выходитъ фальшивой... Слава Богу, свадьба скрывается! Навстрѣчу показываются болѣе подходящія къ этому сѣрому дню фигуры. Ѣдетъ кабатчикъ, возвращающійся изъ города съ винными ящиками, въ которыхъ тяжело бултыхается въ штофахъ зеленая влага; прокатилъ на дрожкахъ, весь закиданный грязью изъ-подъ колесъ, урядникъ, а за нимъ въ телѣжкѣ попъ,—рослый, рыжий попъ въ большой шапкѣ и въ тулупѣ съ поднятымъ воротникомъ, который повязанъ полотенцемъ, свернутымъ въ жгутъ на груди и завязаннымъ на спинѣ въ узелъ. А вотъ изъ-за бугра, сбѣгающаго къ лощинѣ, показываются и деревья нашего сада...

Однако, первымъ впечатлѣніемъ не слѣдуетъ довольаться, деревенскимъ послѣ городскихъ—особенно. Проходитъ два-три дня, погода мѣняется, становится свѣжѣе, и уже усадьба и деревня начинаютъ казаться иными. Начинаешь улавливать связь между прежней жизнью и теперешней, и то, что вспоминалось мнѣ при запахѣ антоновскихъ яблокъ,—здоровье, простота и домовитость деревенской жизни,—снова проступаетъ и въ новыхъ

впечатлѣніяхъ то тамъ, то здѣсь. Прошло почти пятнадцать лѣтъ,—многое измѣнилось кругомъ, я и самъ пережилъ много, но я опять чувствую себя дома почти такъ же, какъ пятнадцать лѣтъ тому назадъ: по-юношески грустно, по-юношески бодро. И мнѣ хорошо среди этой сиротѣющей и смиряющейся деревенской жизни.

Дни стоятъ синеватые, пасмурные, но свѣжые. Утромъ я сажусь въ сѣдло и съ одной собакой, съ ружьемъ и съ рогомъ уѣзжаю въ поле. Вѣтеръ звонитъ и гудитъ въ дуло ружья, вѣтеръ крѣпко дуетъ навстрѣчу, иногда съ сухимъ свѣгомъ. Цѣлый день я скитаюсь по пустымъ равнинамъ, думаю, воспоминаю прошлое и все болѣе вхожу въ его вкусъ. Голодный и прозябшій, возвращаюсь я къ сумеркамъ въ усадьбу, и на душѣ становится такъ тепло и отраднo, когда замелькаютъ огоньки Выселокъ и потянетъ изъ усадьбы запахомъ дыма, жилища, осенней уютной и мирной жизни. Помню, у насъ въ домѣ любили въ эту пору „сумерничать“, т. е. не зажигать огня и вести въ полутемнотѣ бесѣды. Сумерничаю и я. Войдя въ домъ, я нахожу зимнія рамы уже вставленными, и это еще болѣе настраиваетъ меня на мирный зимній ладъ. Въ лакейской работницъ топятъ печку, и я, какъ въ дѣтствѣ, сажусь на корточки около вороха соломы, рѣзко пахнущей уже зимней свѣжестью, и гляжу то въ пылающую печку, то на окна, за которыми, синѣя, грустно умираютъ осеннія сумерки. Потомъ иду въ людскую. Тамъ свѣтло и людно: дѣвки рубятъ капусту, и я долго сижу съ дѣвками, глядя, какъ мелькаютъ сѣчки, и слушая ихъ дробный, дружный стукъ и дружныя, печально-веселыя деревенскія пѣсни... Иногда вечеромъ заѣдетъ какой-нибудь мелкопомѣстный сосѣдъ и надолго увезетъ меня къ себѣ... Хороша и мелкопомѣстная жизнь!

Хуторяне осенью чувствуютъ себя вообще недурно, особенно ежели годъ неурожайный и банкъ отсрочить уплату процентовъ. Хуторянинъ любитъ осень,

потому что осенью есть хоть какая-нибудь охота, любить длинные вечера, долгую темную ночь въ тепломъ и уютномъ кабинетѣ. Встаетъ онъ рано. Крѣпко потянувшись на лежанкѣ, отчего со стукомъ падаетъ на полъ кирпичъ съ ея угла („давно, давно пора вмазать этотъ кирпичъ,—да все не соберешься!“), онъ идетъ къ столу и, соня, подымая брови и хмурясь, крутитъ толстую папиросу изъ дешеваго, чернаго табаку или просто изъ махорки. Блѣдный свѣтъ ранняго ноябрьскаго утра озаряетъ простой съ голыми стѣнами кабинетъ, желтыя и заскорузлыя шкурки лисицъ надъ кроватью и коренастую фигуру въ шароварахъ и распоясанной косовороткѣ, а въ зеркалѣ отражается заспанное лицо татарскаго склада. Въ полутемномъ, тепломъ домикѣ стоитъ мертвая тишина. За дверью въ коридоръ мирно похрапываетъ старая кухарка, жившая въ господскомъ домѣ еще дѣвчонкою. Это, однако, не мѣшаетъ барину хрипло крикнуть на весь домъ.

— Лукерья! Самоваръ!

Потомъ, надѣвъ сапоги, накинувъ на плечи поддевку и не застегивая ворота рубахи, баринъ выходитъ на крыльцо. Въ теплыхъ запертыхъ сѣняхъ пахнетъ псиной; лѣниво потягиваясь, съ визгомъ зѣвая и улыбаясь, окружаютъ его гончія.

— Отрыжь!—медленно, спсходительнымъ басомъ говоритъ баринъ и черезъ садъ идетъ на гумно. Грудь его широко дышетъ свѣжимъ, рѣзкимъ воздухомъ зари и запахомъ озябшаго за ночь, обнаженнаго сада. Свернувшись и почернѣвшіе отъ мороза листья шуршатъ подъ сапогами въ березовой аллеѣ, вырубленной уже наполовину. Вырисовываясь на низкомъ, сумрачномъ небѣ, спятъ нахохленные галки на гребнѣ риги... Славный будетъ день для охоты! И, остановившись среди аллеи, баринъ долго глядитъ въ осеннее поле, на пустынный, зеленыя озими, по которымъ вдаль бродятъ телята. Двѣ гончія суки повизгиваютъ около его ногъ, а Заливай уже

за садомъ: перепрыгивая по колкимъ жнивьямъ, онъ какъ будто зоветъ и просится въ поле. Но что сдѣлаешь теперь съ гончими? Звѣрь теперь въ полѣ, на взметахъ, на чернотропѣ, а въ лѣсу онъ боится, потому что въ лѣсу вѣтеръ шуршитъ листвою... Эхъ, кабы борзья!

Въ ригѣ начинается молотьба. Медленно расходясь, гудитъ барабанъ молотилки. Лѣнливо натягивая постромки, упираясь ногами по навозному кругу и качаясь, идутъ лошади въ приводѣ. Посреди привода, вращаясь на скамеечкѣ, сидитъ погонщикъ и одностонно покрикиваетъ на нихъ, всегда хлестая кнутомъ только одного буро мерина, который лѣнливѣе всѣхъ и совсѣмъ спитъ на ходу, благо глаза у него завязаны.

— Ну, ну, дѣвки! дѣвки! — строго кричитъ степенный подавальщикъ, облачаясь въ широкую холщевую рубаху.

Дѣвки торопливо разметаютъ токъ, бѣгаютъ съ носилками, метлами.

— Съ Богомъ! — говоритъ, наконецъ, подавальщикъ, и первый пукъ старновки, пущенный для пробы, съ жужжаньемъ и визгомъ пролетаетъ въ барабанъ и растрепаннымъ вѣеромъ возносится изъ-подъ него кверху. А барабанъ гудитъ все настойчивѣе и громче, оживленнѣе и дружныѣ закипаетъ работа, и скоро всѣ звуки сливаются въ общій веселый шумъ молотьбы. Баринъ стоитъ у воротъ риги и смотритъ, какъ въ ея темнотѣ мелькаютъ красные и желтые платки, руки, грабли, солома, и все это мѣрно двигается и суетится подъ гулъ барабана и однообразный крикъ и свистъ погонщика. Хоботье облаками летитъ къ воротамъ. Баринъ стоитъ, весь посѣрѣвшій отъ него, и лицо его задумчиво. Часто онъ поглядываетъ въ поле, вспоминаетъ банковскіе платежи, охоты, молодость, свое разоренье... А время наступаетъ хорошее: скоро-скоро забѣлѣютъ поля, скоро покроетъ ихъ зазимокъ.

Зазимокъ, первый снѣгъ! Какъ онъ оживитъ и освѣжитъ деревню, какъ обрадуется ему мелкопомѣстный ба-

ринъ! Борзыхъ нѣтъ. охотиться осенью не съ чѣмъ; но наступаетъ зима, и начинается „работа“ съ гончими.

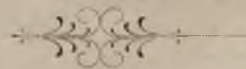
И вотъ опять, какъ въ прежнія времена, сбѣзжаются мелкопомѣстные другъ къ другу, пьютъ на послѣдніи деньги, по цѣлымъ днямъ пропадають въ снѣжныхъ поляхъ. А вечеромъ на какомъ-нибудь глухомъ хуторѣ далеко свѣтятся въ темноту зимней ночи окна флигеля. Тамъ, въ этомъ маленькомъ флигелѣ, пылаетъ печка, въ воздухѣ плаваютъ клубы дыма, тускло горятъ сальныя свѣчи и идутъ разговоры о „прежнемъ“. Потомъ настраивается гитара...

На сумерки буенъ вѣтеръ загулялъ,
Широкіи мои ворота растворялъ... —

несмѣло начинаетъ кто-нибудь груднымъ теноромъ. Нѣсколько голосовъ нескладно, прикидываясь, что они шутятъ, подхватываютъ послѣднюю фразу:

Широкии мои ворота растворялъ.
Вѣлымъ снѣгомъ путь-дорогу заметалъ!..

Но пѣсня разрастается сама собою. И еще до сихъ поръ звучитъ въ ней прежняя удалъ, теперь уже грустная и безнадежная, которая скоро и совсѣмъ замретъ, а какъ далекій отзвукъ былого сохранится только въ ней, — въ этой старой пѣснѣ...



ВЕЛГА.

Сѣверная легенда.

Слышишь какъ жалобно кричитъ чайка надъ шумящимъ, взволнованнымъ моремъ?

Въ туманной дали, на западѣ, теряются его темныя воды; въ туманную даль, на сѣверѣ, уходитъ каменистый берегъ. Холодно и вѣтрено. Глухой шумъ зыби, то ослабѣвая, то усиливаясь.—точно ропотъ сосноваго бора, когда по его вершинамъ идетъ и разрастается буря,—глубокими и величавыми вздохами разносится вмѣстѣ съ криками чайки... Видишь, какъ одиноко и безпріютно вьется и бѣлѣетъ она въ тускломъ осеннемъ туманѣ, качаясь по холодному вѣтру на упругихъ крыльяхъ?

Это къ непогодѣ. Ночью разыграется буря.

День съ самаго утра началъ хмуриться. Здѣсь, на этомъ непривѣтливомъ сѣверномъ морѣ, на его пустынныхъ островахъ и побережьяхъ, почти круглый годъ ненастье. Теперь же осень, а сѣверѣ еще печальнѣе осенью. Море угрюмо вздулось и становится темно-бутылочнаго цвѣта. Издали пелена его кажется выше, чѣмъ берегъ, и необозримою, суровою картиной уходитъ она въ туманный просторъ на западъ, а вѣтеръ все быстрѣе гонитъ съ запада волны и далеко разноситъ крики чайки.

— Кри-э! — жалобно и пронзительно звучитъ по вѣтру.

Утромъ она безпокойно и криво летала надъ самымъ прибоемъ. Море непрерывно крутящимися валами окаймляло весь берегъ. Здѣсь оно, налетая на него съ разбѣга, цѣлыми водопадами клубящейся пѣны съ грохотомъ и шумомъ рыло подъ собою гравій; тамъ, какъ кипящее молоко, миллионами прядяющихъ толкачиковъ разсыпалось съ шинѣнемъ на камни и широко взлизывалось на берегъ, но тотчасъ же скользило, какъ стекло, назадъ, подпирая собою новый крутящійся валь, а вдали расшибалось о камни и высоко взвивалось на воздухъ. И далеко гудѣлъ весь берегъ отъ прибоа... Чайка съ крикомъ бросалась между волнами, плавно соскальзывала внизъ по водѣ въ ихъ ухабы, выносилась на новой волнѣ до высокаго гребня и взлетала, вся въ брызгахъ и пѣнѣ. Вѣтеръ вольно носилъ ее низко надъ моремъ.

Но потомъ она словно устала. Надвигается ненастный вечеръ, и ужъ бессильно качается чайка по вѣтру, все дальше уходитъ, бѣлѣя въ туманѣ, отъ берега въ море... Слышишь, какъ жалобно разлаются ея радостныя стenanія?..

Вонъ она уже еле-еле виднѣется въ сумракѣ. Быстро спускается темная, бурная ночь; чаще и чаще то тамъ, то здѣсь мелькаютъ въ морѣ сѣдлыя космы пѣны. Шумъ прибоа растетъ, ледяной вѣтеръ вздымаетъ и бѣшено срываетъ волны, разнося по воздуху брызги и рѣзкій запахъ моря. Гулъ прибоа растетъ, и весь берегъ во мракѣ бѣлѣетъ какъ снѣгъ...

— Кри-э!..—доносится откуда-то издалека, снизу.

Это мечется скорбная чайка... Слушай, я расскажу тебѣ, подъ шумъ бушующаго сѣвернаго моря, старую сѣверную легенду.

I.

Было это давно, въ незапамятное время.

У холоднаго сѣвернаго моря жила молодая и сильная

Велга. На закатъ были воды, на востокъ—только песчаный берегъ, близко за селеніемъ сходявшійся съ небомъ. Что было тамъ, къ востоку,—Велга не знала и не хотѣла знать. Она никогда не ходила къ востоку. Не ходилъ и отецъ ея, не ходила и мать, не ходила и старшая сестра, Снеггарь. Они знали только море.

Возлѣ моря проходило и дѣтство Велги. Быстро проходило оно, и весело было ей въ дѣтствѣ! Зимой, когда море только подъ самымъ краемъ неба чернѣло волнами, а у береговъ было покрыто бѣлымъ снѣгомъ, Велга спала въ мягкомъ гагачьемъ пуху и, просыпаясь, видѣла передъ собой веселый свѣтъ очага среди темной и низкой хижины. Лѣтомъ, когда свѣтитъ солнце, дуетъ теплый вѣтеръ, и вода легко плещется въ морѣ, Велга искала на пескахъ яички зуйковъ и плавунчиковъ, или бѣгала къ прибою, ложилась ничкомъ, головой на берегъ, а волны съ шумомъ обдавали ее сверху... Такъ забавлялась она лѣтомъ, и всегда съ Велгой были Ирвальдъ и Снеггарь.

Толстая Снеггарь часто смѣялась и пѣла, да не умѣла она такъ звонко кричать и такъ смѣло кидаться въ шумящее море, какъ Велга. Но Ирвальдъ умѣлъ: онъ всегда былъ и веселъ и ловокъ.

— Отчего ты не братъ мнѣ, Ирвальдъ?—сказала ему Велга.—Отчего у меня нѣтъ брата, котораго я любила бы такъ, какъ тебя, Ирвальдъ? Я бы не скучала безъ тебя долгую зиму.

Онъ взглянулъ на нее, улыбнулся и вдругъ кинулся къ морю.

— Смотри, смотри: гагара!—закричалъ онъ ей.—Давай поймаемъ!

И они, какъ вѣтеръ, гнались другъ за другомъ, убѣгали туда, гдѣ въ прибрежныхъ пещерахъ звонко раздается голось, гдѣ у берега громоздятся высокія скалы, а тяжелая вода съ шумомъ поднимается и скользитъ между ними, шипитъ и кипитъ, опускаясь, и съ жур-

чаньемъ, струями сливается съ плоскаго камня. Тамъ дразнили они волны, близко подбѣгая къ нимъ, и, усталые, засыпали крѣпкимъ, счастливымъ сномъ...

Зачѣмъ такъ быстро прошло дѣтство Велги?..

Но и потомъ еще долго радовалась она.

Все нетерпѣливѣе проводила она долгія зимы въ хижинѣ, занесенной снѣгомъ. Стало ей четырнадцать лѣтъ, а Ирвальду—шестнадцать, и часто уѣзжалъ онъ теперь за рыбой въ море. Но зато какъ радовалась Велга, когда Ирвальдъ возвращался!

— Милый Ирвальдъ,—говорила она ему,—мнѣ хочется плакать, что такъ долго тебя не было, и хочется смѣяться, что я опять вижу тебя!

Но ужъ выросла и Снеггарь большая. И Ирвальдъ забывать сталъ о Велгѣ. Онъ часто сидѣлъ возлѣ Снеггарь и глядѣлъ въ ея веселое лицо. А Велга издали наблюдала за ними. Не хотѣлось ей при сестрѣ разговаривать съ Ирвальдомъ. Но когда онъ уходилъ по берегу къ своему дому, Велга догоняла его и провожала до самаго порога.

— Милый Ирвальдъ,—говорила она ему,—зачѣмъ ты такъ долго сидишь возлѣ Снеггарь? Зачѣмъ горе мѣшаетъ моей радости?

И стала Велга одна на берегу моря пѣть звонкія и веселыя пѣсни сквозь слезы. А когда съ ней встрѣчались подруги, она замолкала, и лицо ея становилось сурово и гордо.

II.

Хижина отца Велги стояла одиноко, вдаль отъ рыбацьяго селенья, на каменистомъ побережьи, засыпанномъ жесткими песками, и, въ часы прилива, море широкими разлатыми волнами добѣгало почти до ея порога.

Если же приливъ былъ въ бурю, то оно хлестало даже въ окна, затянутыя кишками гагары. Тогда Снеггарь

обрывала веселую пѣсню, бросала въ испугѣ работу и уходила отъ оконъ. Старая мать Велги бормотала заклятія и съ тревогой прислушивалась къ завыванью вѣтра. Но сама Велга не боялась бури. Она вмѣстѣ съ отцомъ выходила на мокрый порогъ хижины, скатывала на вѣтру сѣти, а потомъ вбѣгала въ воду, и холодная вода, поднимаясь и опускаясь, обнимала и мыла ея босыя ноги, обдавала ихъ шипящею, сѣрою пѣной и опутывала морскими блѣдно-зелеными травами. Она разрывала ихъ ногами и вдыхала сильною грудью свѣжій, влажный вѣтеръ, поднимала навстрѣчу ему голову, а вѣтеръ трепалъ ея русые волосы. Такъ стояла она, молодая и стройная, лицо ея было смѣло и весело, а бирюзовые глаза зорко противъ бури глядѣли въ даль. Но только птицы св. Петра носились тамъ крикливыми стаями и по водѣ взбѣгали, распутивъ крылышки, на самые высокіе гребни взметывающихся и разсыпающихся водяныхъ бугровъ...

На что же смотрѣла Велга?

Дѣвушки стали называть ее печальною и злою, потому что никогда не смѣялась Велга по-пусту и не пѣла съ сестрой за работой. Но никогда до пятнадцати лѣтъ не бывала Велга печальною и злою. Сердце ея было весело и отважно, какъ у молодой птицы, и радовалась Велга на бури и море, на солнце и землю, на свою дѣвичью свободу. Только грустила она безъ Ирвальда, потому что сильно хотѣлось ей рассказать ему, какъ хорошо жить на свѣтѣ...

А Ирвальдъ ужъ давно былъ въ морѣ. Утомилась Велга ходить по побережью и слѣдить за волнами; хотѣлось ей крикнуть черезъ море, что утомилась она ожидать Ирвальда, что нельзя ему любить Снеггарь, если Велга уже не можетъ жить безъ него...

А когда подулъ теплый вѣтеръ съ заката, и стало опускаться къ морю солнце, Велга пришла къ сестрѣ и сказала ей:

— Милая Снеггарь, хочешь, я расскажу тебѣ, какъ лас-

ковъ лѣтній вѣтеръ, какъ легко пахнетъ море водой, и какъ мнѣ грустно безъ Ирвальда?

— Не хочу,—отвѣчала Снеггарь, праздно и спокойно сѣдя у порога.

Велга отвернулась и ушла отъ нея. Она сѣла на берегу, опустивъ голову, и долго слушала, какъ плещется теплая вода въ сумеркахъ. Слезы, какъ теплая вода, падали на ея руки.

Вдругъ подѣхалъ Ирвальдъ. Она вскрикнула, а онъ засмѣялся и приказалъ ей носить изъ лодки рыбу и сѣти на берегъ. Она послушно и долго трудилась съ нимъ, смущенно спрашивая его, куда онъ ѣздитъ, а когда сталъ подниматься надъ моремъ большой, блѣдный мѣсяцъ, она утомилась, сѣла въ пустую лодку и вздохнула ночнымъ вѣтромъ.

— Ирвальдъ,—сказала она,—знаешь, я часто плакала безъ тебя. Я быстро ходила по берегу и безпокойно билось и томилось мое сердце. Но, когда ты пріѣхалъ, мнѣ стало такъ легко и весело!

Но Ирвальдъ молча сидѣлъ на кормѣ и глядѣлъ на мѣсяцъ. Стыдно стало Велгѣ, что онъ не отвѣтилъ ей, и она, опустивъ глаза, спросила его тихо:

— Ты слышалъ мои слова, Ирвальдъ?

— Да,—сказалъ Ирвальдъ.

И тогда совсѣмъ низко наклонила Велга голову и проговорила Ирвальду:

— Возьми меня въ свой домъ, Ирвальдъ! Я буду ѣздить съ тобой въ море, буду всегда веселою для тебя, буду пѣть тебѣ пѣсни и работать съ тобой. Такъ хорошо жить на свѣтѣ съ тобой!

— Мы никогда не будемъ жить съ тобой,—твердо отвѣчалъ ей Ирвальдъ.—Я буду жить со своею женой, Снеггарь. Завтра я опять уѣду въ лодкѣ, а когда вернусь, возьму за руку Снеггарь и уведу ее въ свое жилище. Тамъ проведемъ мы зиму, а лѣтомъ уплывемъ, какъ двѣ гагары, въ море.

— А я?—медленно сказала Велга и почувствовала, как тяжело застучало ее сердце.—Я останусь одна?—громко сказала Велга и поднялась на ноги въ лодкѣ.

— Да,—отвѣтилъ Ирвальдъ.

Тогда Велга быстро прыгнула на берегъ и быстро пошла по берегу въ южную сторону. И когда далеко ушла туда, кинулась на сѣрый камень и закричала мѣсяцу, что ей больно въ сердцѣ, и зарыдала, и упала на камень.

III.

Слышишь, какъ дико завываетъ вѣтеръ во мракѣ?.. Непривѣтливо сѣверное море!

Три дня и три ночи пролежала Велга, обезсиленная горемъ, а на четвертое утро уже наступила осень, и шумѣли въ тускломъ туманѣ отяжелѣвшія волны. И когда пахнуло на Велгу холоднымъ вѣтромъ, вскочила она и бросилась въ воду. Но волна поднялась и далеко отшвырнула ее на берегъ.

— Море не хочетъ, чтобъ я умерла,—сказала себѣ Велга.—Прежде я должна убить Ирвальда.

И молча возвратилась она домой. Высохли на щекахъ ея слезы, и спокойно было ея суровое лицо, но темно на сердцѣ.

— Снеггарь, — сказала она сестрѣ, — уѣхалъ Ирвальдъ?

— Да,—отвѣчала равнодушно Снеггарь.

— Когда вернется онъ?—спросила Велга.

— Когда начнетъ падать мокрый снѣгъ, и потемнѣетъ море,—отвѣчала Снеггарь.

Тогда Велга съѣла рыбы и ушла на порогъ хижины. Тамъ съѣла она на вѣтру и просидѣла весь день, скорбно сдвинувъ брови. На ночь она вернулась подъ кровлю а утромъ опять вышла за двери, ожидая Ирвальда. И такъ проводила она дни и ночи, пока не пошелъ первый мокрый снѣгъ.

„Скоро вернется Ирвальдъ,—думала Велга, и сладостная горечь обиды и злобы томительно вливалась въ ее сердце.—Я убью его, а потомъ и сама успокоюсь въ могилѣ“.

Но Ирвальдъ не возвращался. Ужъ надвигались сумерки, и все чаще стала Велга подниматься съ порога и, стоя, напряженно глядѣть въ море. А на морѣ еще никогда не поднималось такой яростной бури! И въ сумеркахъ изъ хижины вышелъ старый отецъ Велги. Онъ былъ могучъ, какъ старый утесъ среди моря, но лицо его было печально въ этотъ вечеръ, и вѣтеръ развѣвалъ его длинные, сѣдые волосы.

— Велга, дитя мое,—сказалъ онъ ласково,—отчего ты покинула родную хижину? Посмотри, поднимается зловѣщая ночная буря, передъ которой неутѣшно тоскуетъ сердце человѣка. Помоги мнѣ укрѣпить подпорками стѣны, положить камней на ихъ кровлю изъ кожи тюленей, и укроюся подъ кровлей отъ непогоды и ночи.

Отъ нѣжныхъ словъ дрогнуло сердце Велги жадностью къ самой себѣ, къ отцу и къ Ирвальду. Она поспѣшно стала помогать въ работѣ. Вѣтеръ валилъ ихъ съ ногъ и застилалъ весь воздухъ водяною пылью, словно въ морѣ бушевала вьюга. Въ самыя окна хижины хлестали волны косматою пѣной, и въ испугѣ Велга посиѣшила за отцомъ подъ кровлю.

Тамъ, въ темнотѣ ночи, вдругъ вспомнила она, какъ много лѣтъ назадъ, когда Ирвальдъ былъ еще ребенкомъ, онъ остался ночевать, застигнутый бурей, въ ихъ хижинѣ. Онъ былъ въ эту ночь ея гостемъ, и она сама постлала ему постель и поцѣловала его, по обычаю гостепрѣимства, передъ сномъ. Она вспомнила веселое, милое ей, лицо его, и еще больше овладѣли ея сердцемъ жалость и любовь къ нему. Тогда она, забывъ, что хотѣла убить его, быстро встала съ ложа и въ тревогѣ стала слушать. Ей чудились въ шумѣ вѣтра его крики,

и всю ночь трепетала она отъ страха и, обезсиленная, забылась сномъ лишь подъ утро.

Море же стало стихать; въ воздухъ повѣяло дыханіемъ зимняго мороза. Но когда Велга проснулась и отворила на дневной свѣтъ дверь дома, навстрѣчу ей переступила порогъ Снеггарь.

— Велга!—сказала она и заплакала горькими слезами.—Буря унесла Ирвальда на дикіе острова Ледяного моря и разбила его лодку. Онъ одинъ теперь въ морѣ и ждетъ смерти отъ холода, голода и толстыхъ клювовъ морскихъ птицъ.

— Кто сказалъ тебѣ?—крикнула Велга.

— Я была у вѣщей Чарны, и она гадала мнѣ на кишкахъ гагары,—отвѣчала Снеггарь и, закрывъ лицо руками, опустила съ рыданіями на свое ложе.

— Снеггарь...—нѣжно хотѣла проговорить Велга.

Но брови ея сурово сдвинулись, и она сильною рукою распахнула дверь дома.

— Молчи!—твердо сказала она.—Я люблю и ненавижу тебя!

IV.

Она быстро пошла по побережью на сѣверъ. Въ холодный, темный вечеръ вступила она въ хижину Чарны, теплую отъ костра, пылающаго краснымъ пламенемъ.

— Научи меня, о, вѣщая!—воскликнула она передъ Чарной.—Укажи путь къ Ирвальду!

— Поспѣши!—сказала Чарна.—Два дня и двѣ ночи надо плыть къ Ирвальду. Не поспѣешь къ разсвѣту третьяго дня,—онъ погибнетъ. Но скажи мнѣ, Велга, слышала ли ты о пустыняхъ Ледяного моря, гдѣ такъ же дико и печально, какъ и въ первые дни міра? Можешь ли ты навѣки покинуть родную хижину?

Какъ пойманная рыба, затрепетало сердце Велги, но съ пылающимъ лицомъ она отвѣтила Чарнѣ:

— Пожалѣй меня, Чарна! Я молода, и мнѣ грустно разстаться съ жизнью. Но, если такъ надо, скажи только, что будетъ со мною?

— Два дня и двѣ ночи проведешь ты въ тоскѣ и страхѣ, среди моря,—сказала Чарна.—А когда ступишь на островъ, гдѣ томится Ирвальдъ, обратишься ты въ чайку, и не узнаетъ онъ, для кого ты погибла. Таково повелѣніе рока.

Какъ первый свѣтъ, поблѣднѣла Велга, но глаза ея сверкнули радостью, и она отвѣчала Чарнѣ:

— Я иду, Чарна!

— Поспѣши,—сказала Чарна,—уже кровавая полоса зари меркнетъ за моремъ подъ черными тучами.

Противъ вѣтра, по мокрому песку побережья побѣжала Велга къ шумящему, темному морю. Хотѣлось ей крикнуть „прости“ сестрѣ, отцу и матери, но спокойно билась у берега лодка на волнахъ, и быстро прыгнула въ нее Велга. На закатѣ, гдѣ едва свѣтила кровавая полоса зари, направила она лодку, и стояла, качаясь на волнахъ, и слезы горѣли на ея глазахъ, а вѣтеръ развѣвалъ въ темнотѣ ея бѣлую одежду и дулъ въ лицо съ Ледяного моря.

V.

Она летѣла, какъ чайка. Сердце ея сжималось отъ боли, въ ожиданіи гибели, но всетаки не хотѣло оно вѣрить, что не узнаетъ Ирвальдъ, для кого она погибла.

И жутко стало Велгѣ, когда на разсвѣтѣ увидала она себя окруженной блѣднымъ, холоднымъ моремъ, у песчанаго, пустыннаго острова. Никого не было на томъ островѣ. Только вода взбѣгала на его песокъ и бѣлѣла по краямъ пѣной. „Водяные пастушки“, на высокихъ и тонкихъ ногахъ, бѣгали у прибоя и искали среди раковинъ пищи. Но и „водяныхъ пастушковъ“ было мало.

Они почти всё улетѣли на зиму къ берегамъ, гдѣ дуютъ теплыя вѣтры. И еще нѣжнѣе загрузило сердце Велги.

А Ледяное море уже начиналось. Цѣлый день плыла Велга, и вступила въ тѣ безграничныя воды, что уходятъ на край свѣта и сливаются съ небомъ. Все тяжелѣе стучали волны въ дно лодки, потому что уже нѣтъ земли подъ тѣми волнами. Самыя дикія сѣверныя птицы живутъ въ тѣхъ моряхъ, вдали отъ людей, на скалистыхъ островахъ. Онѣ сильны и одѣты плотнымъ пухомъ; онѣ всю зиму могутъ плавать среди льдовъ и глубоко ныряютъ въ ледяную воду. Тысячи ихъ гнѣздились на островахъ, и каждый островъ, какъ снѣгомъ, бѣлѣлъ птицами. Тамъ были гнѣзда на уединенныхъ утесахъ и въ норахъ, подъ утесами... И въ сумеркахъ проплыла Велга мимо самаго большого острова.

Онъ весь, сверху донизу, былъ покрытъ, какъ сѣрою корой, засыхающимъ пометомъ птицъ, ихъ перьями и пухомъ. Птицы длинными рядами сидѣли на всѣхъ уступахъ скаль. Внизу гнѣздились тѣ, которыя были поменьше, наверху стояли и дремали самыя большія и прозорливыя, съ бѣлыми животами и черными спинами, съ толстыми шеями и маленькими головами, съ блестящими глазами въ кольцахъ блага пуха и съ огромными уродливыми клювами, съ крѣпкими, грубыми лапами и короткими руками безъ пальцевъ. Птицы громко и злобно разговаривали, а какъ только наступили сумерки, и Велга, обезсиленная борьбой съ морознымъ вѣтромъ, причалила къ берегу на отдыхъ, тысячи ихъ поднялись съ шумомъ надъ нею, а самыя большія загоготали и заревѣли дико и радостно, стараясь перекричать другъ друга... И, какъ снѣгъ, поблѣднѣла Велга, собрала послѣднія силы и опять прыгнула въ лодку.

Она снова летѣла, какъ чайка... Ледяной туманъ окутывалъ ее мглой, плывя оттуда, гдѣ море сливается съ небомъ. Но уже не плакала и не грустила Велга теперь.

Она трепетала отъ скорби предъ гибелью и отъ радости за Ирвальда.

И къ вечеру послѣдняго дня показался среди сѣдого и пасмурнаго тумана высокій и дикій утесъ на краю свѣта,—тотъ, до котораго доходили только могучіе викинги и вбили въ него желѣзныя кольца, чтобы привязывать лодки. Яростный шумъ и гулъ буруновъ сливался тамъ съ тысячеголосными криками хищныхъ птицъ, кружившихся въ туманѣ. А Ирвальдъ лежалъ у приборя, обезсиленный предсмертнымъ сномъ отъ холода и голода. Онъ былъ блѣденъ, какъ морская пѣна, и въ кудряхъ его былъ мокрый песокъ.

— Ирвальдъ! — крикнула Велга страстно и звонко.

Отъ звука ея голоса мгновенно очнулся Ирвальдъ. Хотѣла Велга крикнуть ему, что она любитъ его, какъ въ дѣтствѣ, но не коснулись ея ноги земли, когда она прыгнула съ лодки на берегъ: въ воздухѣ повисла она бѣлою чайкой на крыльяхъ, и крикъ ея раздался жалобно-радостнымъ крикомъ чайки надъ Ирвальдомъ. Онъ мгновенно очнулся отъ крика,—голосъ друга коснулся его сердца, — но, взглянувъ, онъ увидѣлъ лишь бѣлую чайку, взлетѣвшую съ крикомъ надъ лодкой...

Такъ погибла Велга, и возвратился къ жизни тотъ, кого она любила.

Онъ уплылъ на востокъ. Она долго вилась надъ водой, провозжая Ирвальда. А когда онъ сокрылся вдали, закачалась она безпріютною чайкой по вѣтру. Такъ тоскуетъ она и донинѣ, кричитъ къ непогодѣ, вспоминая утесы въ туманѣ, гдѣ когда-то томился Ирвальдъ...

Но въ стenanьяхъ ея звучитъ радость...

Въ морѣ бури бушуютъ, скорби жизнь омрачаютъ, и гибнуть, какъ въ морѣ, въ страданіяхъ люди. Неприятливо грозное море, много въ жизни страданій, но великая радость въ страданіи за брата!

СКИТЬ.

Были свѣтлыя майскія сумерки, когда я подѣвжалъ верхомъ къ караулкѣ. Лошадь легко и бодро шла по узкой дорогѣ среди березоваго и дубоваго лѣса, полнаго свѣжей поросли осинокъ и орѣшника, и въ полусумракѣ ясно раздавался трескъ каждаго сухого сучка подъ копытомъ. Въ старомъ „заказѣ“ все было молодо и зелено въ этотъ вечеръ, и соловьи нѣжно и отчетливо выщелкивали по сторонамъ, звонко перекликаясь съ эхо. Уже и солнце давно зашло, и алые пятна заката слабѣли, сквозя по лѣсу, направо, но не было замѣтно, чтобы лѣсъ готовился ко сну. Горлинки журчали гдѣ-то по близости, кукушка глухо и настойчиво куковала въ отдаленнѣи... Въ майскія ночи, когда, какъ говоритъ народъ, „заря зарю встрѣчаетъ“, сонъ слабъ и недологъ, и до утра брезжитъ надъ землей тонкій полусвѣтъ...

А на полянѣ было и совсѣмъ свѣтло. Въ лощинѣ зеркаломъ стоялъ большой, полный прудъ, лѣсъ окружалъ поляну высокій и живописный, и налѣво, какъ разъ напротивъ широкаго блѣдно-алаго заката, рисовался надъ столѣтними березами и дубами блѣдный и прозрачный щитъ мѣсяца. Старикъ сидѣлъ надъ самымъ прудомъ, на пнѣ, среди травы, и заботливо подбрасывалъ сухія прутики въ жаркій и веселый костерчикъ, разведенный въ земляной печкѣ подъ котелкомъ. Какъ и всегда, онъ былъ „прибранъ“ на случай смерти, т. е.

одѣтъ въ чистые, хотя и заплатаанные портки и рубаху, причемъ онучи надъ лаптями были аккуратно подвязаны оборочками. Николаевскій солдатъ еще сохранился въ немъ, но было уже что-то покорное и глубоко-старческое во всей его фигурѣ. Онъ сидѣлъ, поставивъ на колѣни руки и положивъ въ ладони голову, смотрѣлъ на огонь, а самъ напѣвалъ тихимъ и тонкимъ, совсѣмъ женскимъ голосомъ.

— Или карасиковъ наловилъ, Мелитонъ? спросилъ я какъ можно веселѣе, соскакивая съ лошади.

Но тутъ произошло то же, что и всегда: мирное одиночество было прервано, и старикъ поднялся во весь ростъ, старчески-серьезно, но непрекословно готовый къ услугамъ. Какъ и всегда, онъ мгновенно принялъ безстрастное выраженіе и такъ глубоко затаилъ свою постоянную печаль, что, казалось, никогда не узнаешь ея причины. Но печаль эта чувствовалась, и неловко было смотрѣть въ бирюзовые, грустные глаза подъ сдвинутыми бровями и видѣть вмѣстѣ съ этимъ солдатскую подтянутость фигуры. Росту Мелитонъ былъ высокаго, фигура у него была худая и костлявая. Густыя сѣрыя брови и усы, сходявшіеся на щекахъ со щетинистыми бакенбардами, а больше всего пробритый подбородокъ—придавали ему солдатскій видъ; но лысина, бирюзовые слезящіеся глаза и чистая крестьянская одежда, свидѣтельствующая о готовности лечь „подъ святыне“ когда угодно, говорили о кроткой, отшельнической жизни.

Когда картошки въ чугуничкѣ стали сипѣть, Мелитонъ потыкалъ въ нихъ сухой щепочкой и снялъ чугуничекъ съ огня. Огонь сталъ потухать, и только красная грудка жара свѣтилась въ земляной печкѣ. Возлѣ нея пахло сгорѣвшими дубовыми листьями, а когда старикъ сталъ чистить картошки, запахло такъ вкусно, что я попросилъ и себѣ парочку. И мы долго молча ужинали возлѣ неподвижнаго, потемнѣвшаго пруда, въ тишинѣ непогасавшей весенней зари. Закатъ алѣлъ

нѣжно и прозрачно, и казалось, что за лѣсомъ разсвѣтаетъ, а надъ сумракомъ, который низко стоялъ надъ землею, долго-долго брезжило...

— Мелитонъ,—спросилъ я съ юношеской простодушностью,—правда, тебя сквозь строй прогоняли?

— Правда-съ,—отвѣтилъ онъ тоже просто и кратко.

И лицо у него осталось все такимъ же безразличнымъ, только въ глазахъ и скорбно сдвинутыхъ бровяхъ глубоко таилась давнишняя непроходящая печаль.

Онъ ушелъ въ избу, а я долго сидѣлъ одинъ, глядя на свѣтъ зари и на тлѣющіе, раскаленные уголья. Появился онъ изъ сумрака неслышно и принесъ съ собою большой ломоть ржаного хлѣба, ножикъ, сдѣланный изъ старой косы, и горсть соли. Когда онъ клалъ все это на траву, я опять спросилъ:

— А правда, ты умѣешь заговаривать и отворять кровь?

— Когда рука была потверже, отворялъ,—отвѣтилъ онъ, съ трудомъ садясь на пенъ.

Нервно и ласково виляя хвостомъ, изъ сумрака появился и Крутикъ, маленькій, веселый, но отчаянно-злой, несмотря на свою ласковость. Онъ тоже сѣлъ возлѣ огня, съ удовольствіемъ зѣвнулъ, облизнулся и сталъ слѣдить глазами за каждымъ движеніемъ Мелитона, чистившаго горячія разсыпчатая картошки. Соловьи пѣли попережнему, страстно и отчетливо заливаясь нѣжно-удалой пѣсней.

— Жена-то у тебя давно померла?—спросилъ я еще разъ.

— Восьмой годъ-съ. Да вѣдь ихъ у меня двѣ были.

— А дѣти?

— Дѣтей у меня шесть человѣкъ было.

— Живы?

— Нѣтъ-съ, четверо померло, двое осталось. Одинъ на Ворглѣ у барина Нечаева служить, другой у лавошника на станціи.

И опять Мелитонъ замолчалъ, со старческой осторожностью прожевывая горячую картошку. Я вглядывался въ его лицо, пока онъ сидѣлъ съ опущенными глазами, и опять рѣшилъ, что никогда не проникнуть мнѣ въ тайну его печальной молчаливости... Онъ кротко и безпомощно взглянулъ на меня,—я отвернулся. И такъ какъ мнѣ было тогда девятнадцать лѣтъ, то, помню, меня умилила и эта тихая ночь въ лѣсу, и грустный старикъ, всегда „прибранный“ къ смерти, и его ужинъ. Лѣсъ, небо, дубовая караулка, пучки какихъ-то травъ и вѣничковъ въ сѣнцахъ подъ крышей между сухой листвою рѣшетника... На ногахъ старика лыковые лапти, на тѣлѣ—чистая замашная рубаха... Какъ хорошо и самому прожить такую же чистую и простую жизнь!

— Для кого онъ собираетъ и вяжетъ эти вѣнички? думалъ я, внутренно улыбаясь. Вяжутъ ихъ изъ „перекати-поля“ и у старосвѣтскихъ помѣщиковъ еще до сихъ поръ чистятъ ими платье. Они очень душисты; въ дѣтствѣ я самъ собиралъ ихъ... Воспоминаніе объ этомъ и какая-то связь между воспоминаніями и Мелитономъ еще болѣе тронули меня, и я сказалъ подымаясь:

— Совсѣмъ у тебя скитъ, Мелитонъ!

Старикъ слабо улыбнулся.

— Въ скиту часовенки бываютъ-съ,—сказалъ онъ, бросая корки хлѣба Крутику, и залилъ водой изъ чугуника уголья. Они зашипѣли и померкли. И тотчасъ же стало видно, что въ лѣсу воцарилась свѣтлая лунная ночь, что поляна освѣщена сіяющимъ мѣсяцемъ, а чащи почернѣли и отдѣлились отъ нея. И ночь казалась еще красивѣе и веселѣе отъ того, что къ сѣверу за лѣсомъ теплилась вечерняя зоря. Крутикъ, какъ только поужиналъ, тотчасъ же принялся за свою ночную работу. Онъ со звонкимъ лаемъ хлопоталъ то тамъ, то здѣсь за караулкой, и было похоже, что весь лѣсъ полонъ злыми и неугомонными собачонками. Мелитонъ зажегъ лампочку въ избѣ, настилая мнѣ на коникѣ

сѣна,—окошечки подъ ея старой нахлобученной крышей засіяли, какъ два золотые глаза... Потомъ онъ вынесъ лампочку въ сѣни. Я вошелъ туда, и онъ опять улыбнулся мнѣ.

— А то вотъ-съ на мою коечку ложитесь,—сказалъ онъ, указывая глазами на свою кровать.

Подъ крышей въ сѣнцахъ мягко и фантастично переламливались наши большія тѣни; а въ углу, направо отъ входа, было устроено нѣчто въ родѣ пароходной койки на высокихъ ножкахъ изъ бревенъ. На ней было постлано сѣно, прикрытое попоной и возвышавшееся къ изголовью.

— Да какой теперь сонъ,—сказалъ я:—скоро ужъ и разсвѣтать станетъ.

— Скоро-съ,—согласился Мелитонъ безстрастно.

И дѣйствительно, мы только подремали. Въ темной избѣ было прохладно, въ окошечки видѣлись зеленоватые кусочки лунной ночи. Но что-то не давало мнѣ спать; достаточно было тонкаго напѣва комара, чтобы сонъ исчезалъ куда-то. Я слушалъ Крутика, соловьевъ, думалъ о чемъ-то, чего не вспомнишь, какъ всегда въ безсонную ночь... Не спалъ и Мелитонъ. Его донимали блохи.

— Ну, ужъ погоди, окаянная, отучу я тебя спать подъ койкой!—бормоталъ онъ изрѣдка.

Потомъ онъ кашлялъ, вздыхалъ и что-то шепталъ... Наконецъ, я услышалъ его шаги подъ окнами. Я высунулся изъ окна на прохладу ночного воздуха. Мелитонъ меня не замѣчалъ. Онъ сидѣлъ на порогѣ, опустивъ голову, не спѣша растиралъ на ладони листовой табакъ и опять напѣвалъ грустнымъ, женскимъ голосомъ.

— Ахъ, Господи-Батюшка!—прошепталъ онъ съ глухимъ вздохомъ, покачивая головой и высѣкая огонь. И закуривъ трубку, оперся на руку и запѣлъ внятно, хотя попрежнему мягко и задушевно.

Слышно было, что разсказывалъ онъ въ пѣснѣ про

зеленые сады и напоминалъ кому-то съ добрымъ укоромъ тѣ мѣста, гдѣ „скончалась—распрощалась, ахъ, да прежняя любовь“... А ночь такъ и сіяла. Все замерло, мѣсяцъ выбрался на середину неба надъ самымъ прудомъ. Изрѣдка по водѣ что-то струисто поблескивало, точно по водѣ скользилъ серебристый ужъ. У противоположнаго берега воды какъ будто не было. Тамъ была свѣтлая бездна въ другое, подземное небо. Вѣковые дубы и березы стояли па берегу и казались теперь выше и стройнѣе чѣмъ днемъ. Тайнственно въ росистой и темной чащѣ лѣса ночью! Но еще таинственнѣе былъ тотъ лѣсъ, который, вверхъ корнями, темнѣлъ подъ берегомъ, уходя внизъ вершинами. А налѣво уже занималась утренняя заря; небо тамъ стало стекловидно-зеленое, за опушкой лѣса, далеко въ полѣ, начали свѣжо и отчетливо перекликаться перепела... Я закрылъ глаза. Когда же я очнулся, было уже свѣтло. Прудъ дымился, поляна посѣдѣла отъ холодной крупной росы, зеленый лѣсъ неподвижно, но весело стоялъ вокругъ пруда, и зелень его была теперь еще какъ будто пышнѣе и гуще. какъ бываетъ только въ маѣ... Все точно умылось къ утру и ждало его въ спокойной и ясной тишинѣ. А потомъ въ окна потянуло свѣжестью, въ прудѣ заквакали лягушки, и пѣтухъ, сильно и выпукло захопавъ крыльями, заоралъ въ сѣнцахъ хриплымъ спросонья басомъ. Мелитонъ, покорно согнувшись, шелъ отъ пруда съ тяжелымъ, полнымъ ведромъ, изъ котораго плескалась вода, и оставлялъ за собой длинный, свѣже-зеленый слѣдъ по сѣдой полянѣ...

Потомъ мы не видались съ нимъ долго. Я уѣхалъ лѣтомъ на югъ, а осенью за-границу и совсѣмъ не замѣтилъ, какъ прошла осень. Изрѣдка только воспоминалась мнѣ Россія. И тогда она казалась мнѣ такой глухой, первобытной страной, что въ голову приходили Гостомысль, древляне, татарщина... Какая безконечная, темная, сырая осень! Тучи низко идутъ надъ полями и

грязными поселками, въ туманномъ отъ мелкаго дождя полѣ одиноко сидитъ нахохлившійся грачъ на пашнѣ, а на межахъ вѣтеръ качаетъ бурьянъ. Въ голомъ, рѣдкомъ лѣсу почернѣла отъ дождя стѣна караулки, передъ порогомъ стоитъ огромная лужа, полная гнилыхъ листьевъ. Въ избѣ темно и сыро. А ночью бушуетъ въ лѣсу буря, и ночь длится чуть не двадцать часовъ. Какое нужно терпѣніе, чтобы покорно пережить эту безконечную осень!

Когда я пріѣхалъ въ Россію, все было уже подъ снѣгомъ. Двое сутокъ поѣздъ мчалъ меня по снѣжнымъ равнинамъ и лѣсамъ. Въ Россіи былъ голодъ; но почти весь декабрь стояли хмурые дни, и густой иней нарасталъ подъ сѣрымъ и низкимъ небомъ на деревьяхъ и телеграфныхъ проволокахъ: это предвѣщало урожай. И первое, что сказалъ мнѣ на станціи нашъ кучеръ, было слово „иней“. На меня пахнуло чѣмъ-то роднымъ, знакомымъ, и я весело вышелъ садиться въ сани.

Отъ инея посѣрѣли и стали кудрявыми шапки, бороды, лошади и тяжелая, холодная волчья полость въ саняхъ. Въ сумеркахъ сливались небо, воздухъ и глубокіе снѣга, завалившіе весь дворъ станціи. Я сѣлъ въ бѣгунки одинъ, послалъ впередъ троечныя сани съ вещами и приказалъ ѣхать веселѣе. Кучеръ, стоя въ саняхъ, перевалился за высокій сугробъ на выѣздъ въ поле и шибко погналъ по глубокой снѣжной дорогѣ. Я отсталъ.

Тогда мало-по-малу смѣшалось сѣрое небо съ сѣрыми полями. Морозило, иней на межахъ наскль на бурьянъ такъ густо, что они, какъ огромные серебряные папоротники, лежали, пригнувшись къ землѣ. Потомъ уже ничего нельзя было разглядѣть въ сѣдой мглѣ ночи. Чувствуешь только запахъ снѣга и слышишь какой-то шепотъ: это шуршать полозья. И поминутно теряется представленіе о томъ, куда ѣдешь.

— Все-таки славно дома! — думать я, потрогивая лошадь.

Но вотъ во мглѣ на горизонтѣ стало свѣтлѣть. Пробиваясь сквозь нее огненно-малиновымъ шаромъ, сталъ подыматься большой мѣсяцъ, еще мутный и перерѣзанный пополамъ лиловой, длинной тучкой. Подымаясь онъ свѣтлѣть, оставивъ тучку ниже себя, а самъ становился все золотистѣе и прозрачнѣй, и, наконецъ, отъ лошади и саней обозначались направо тѣни. Когда же я подѣхалъ къ заказу, вѣхалъ въ сумракъ, лежавшій отъ него по полю и фантастично испещренный узорами свѣта,—вся снѣжная даль направо была озарена ярко и сияла.

А въ лѣсу было сказочное царство. Въ морозномъ воздухѣ было такъ тихо, что я поѣхалъ шагомъ. Деревья въ пушистомъ инеѣ казались огромными; они стояли, низко опустивъ свои тяжелыя, кудрявыя вершины, а мѣсяцъ, какъ электрическій свѣтъ въ оперной декорации, серебрилъ ихъ. Порою, на снѣжной полянѣ, онъ смотрѣлъ прямо на меня, порою я вѣзжалъ въ сумракъ, и мѣсяцъ таинственно сквозилъ за сказочными снѣжными деревьями... Но вотъ красновато-золотистой звѣздочкой засвѣтился огонекъ въ караулкѣ, и по всему чуткому, морозному лѣсу пошелъ звонкій, разбѣгающійся по чашамъ, лай Крутика.

У дубка передъ караулкой я привязалъ лошадь, причемъ съ дубка бенгальскимъ огнемъ сыпались искры снѣга, а Крутикъ извивался у меня подъ ногами. Потомъ я постоялъ и послушалъ глубокую тишину лѣса, осторожно подошелъ къ заваленкѣ и заглянулъ въ верхній кусочекъ полузамерзшаго окна... И глухая, отшельническая жизнь старика снова поразила меня своей мужицкой, древне-русской суровостью. Въ глубинѣ слабоосвѣщенной, законченной избы онъ стоялъ передъ иконой и закрывая глаза, кланялся ей въ поясъ, точно сокрушаемый великими грѣхами. Должно быть, онъ только что выкупался, — конечно, въ ледяныхъ сѣнцахъ, гдѣ рѣшетникъ въ инеѣ сверкалъ при лампочкѣ своею се-

ребриною бахромою... Рѣдкіе волосы его были мокры и причесаны, подбородокъ чисто пробритъ, длинная бѣлая рубаха аккуратно подпоясана. И когда онъ закидывалъ назадъ голову и долго стоялъ такъ съ закатившимися подъ лобъ глазами, я видѣлъ на его лицѣ такую старческую скорбь, такую радостно-грустную готовность принять тихую, желанную смерть, какихъ я еще никогда не видалъ прежде.

Говорилъ онъ опять мало, хотя былъ ласковъ. Въ избѣ было тепло и сыро, какъ въ банѣ; я скинулъ шубу и сидѣлъ на лавкѣ у столика. А старикъ стоялъ передо мною, отвѣчалъ не спѣша и все прикрывалъ глаза. Наконецъ, уже собираясь уѣзжать, я какъ будто мимоходомъ спросилъ:

— Мелитонъ, отчего это ты такой скучный?

Онъ удивился.

— Я-съ? — спросилъ онъ растеряно. — Я ничего-съ... Известно, старость.

— Или горе у тебя какое? — сказалъ я, взглядывая ему въ глаза.

— Избави Богъ-съ! — сказалъ онъ поспѣшно. — Я караюлю-съ...

— Да нѣтъ, я не про то, — сказалъ я смутившись. — Я такъ спросилъ...

Онъ понялъ, успокоился и нѣжно улынулся, прикрывая глаза.

— А я думалъ обида какая-съ, — сказалъ онъ ласково. — А что я невеселый, такъ какое же веселье? И грѣховъ много-съ...

Я перебилъ его:

— Какіе же у тебя грѣхи, Мелитонъ!

— Грѣхи-съ у всякого-съ есть, — сказалъ онъ со вздохомъ, кротко и серьезно. — На то и живемъ-съ, чтобы за грѣхи каяться.

— Да ты и то какъ святой живешь, — сказалъ я улыбаясь. — Ты вонъ постишься цѣлый вѣкъ...

Онъ опять удивился и даже слегка нахмурился.

— Тѣмъ-съ, какъ всѣ, — сказалъ онъ скороговоркой. — Живутъ хуже моего-съ, всѣ такъ живутъ...

Я вздохнулъ и сталъ надѣвать шубу.

— Ну, прощай! — сказалъ я, отворяя дверь на морозный воздухъ лунной ночи.

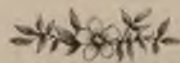
Морозило крѣпко, и Большая Медвѣдица, какъ бриллиантовая, висѣла по небу надъ сѣвжной поляной. Мелитонъ безъ шапки и въ одной рубахѣ стоялъ на порогѣ.

— Прощай, Мелитонъ! — сказалъ я, садясь въ сани. — Иди въ избу, простудишься?

— Ничего-съ, — смиренно отвѣтилъ Мелитонъ. — Счастливой дороги-съ!

Лошадь въ свѣтломъ полѣ бѣжала шибко и бодро, полозья пѣли и визжали по затвердѣвшему снѣгу, вѣтеръ съ сѣвера слегка обжигалъ лицо, сковывая усы и рѣсницы. Я отвертывался отъ него, прикрываясь воротникомъ, и машинально повторять:

— Всѣ такъ живутъ!



ТАРАНТЕЛЛА.

I.

Наканунъ сочельника учитель земской школы въ Можаровкѣ, Николай Нилычъ Турбинъ, занимался очень неохотно. Классъ былъ на половину пустъ, но все-таки Турбинъ съ усиленіемъ дотягивалъ занятія до половины второго. За послѣднее время во многихъ непріятностяхъ и въ утомительной работѣ онъ подкрѣплялъ себя, главнымъ образомъ, напряженнымъ ожиданіемъ праздника и надеждой съѣздить домой. Но ѣхать, оказалось, не на что. Турбинъ давно уже понялъ, что никуда не поѣдетъ, но сказать себѣ это опредѣленно—все оттягивалъ. Теперь больше всего хотѣлось остаться одному. «Обсудимъ, обсудимъ!»—думалъ онъ безпокойно, и уже по одному тому, что Николай Нилычъ прикрываетъ глаза, ребята видѣли, что онъ или сердитъ, или нездоровъ. И правда, къ концу занятій у него начало ломить въ лѣвой сторонѣ головы.

Когда же школа опустѣла, Турбинъ со злобой прихлопнулъ дверь въ передней и быстро пошелъ въ свою комнату. Тамъ онъ сѣлъ на сундучекъ и прислонился спиной къ стѣнѣ.

— Пусть будетъ такъ!—сказалъ онъ, наконецъ, медленно и, потягиваясь, стащилъ съ себя визитку. Потомъ лѣниво всталъ, повѣсилъ ее подъ простыню на стѣну и накиннулъ на себя длинный тулупъ, крытый казинетомъ.

Въ тулупѣ онъ легъ на кровать и закрылъ глаза. «Ночной зефиръ струить эфиръ»...—напѣвалъ онъ, качиваясь. Въ головѣ стояло одно и то же: пусть будетъ такъ!—что собственно значило: «чортъ его побери, не ѣхать, такъ не ѣхать... Эка важность!» А въ глубинѣ души было тоскливо. Тащиться къ дьячку обѣдать не хотѣлось. Лѣвая сторона головы продолжала болѣть. Онъ обмялъ плечомъ подушку поудобнѣе и старался не шевелиться.

Сквозь дремоту онъ слышалъ, какъ приходилъ сторожъ Павелъ, обивалъ отъ снѣга лапти, крикалъ съ мороза, сморкался и гремѣлъ ведрами; видѣлъ сквозь полузакрытыя вѣлки, что въ комнатѣ разливается отсвѣтъ заката; чувствовалъ, что отъ холода стынутъ ноги и кончикъ носа... И вдругъ очнулся и оглянулся безсознательнымъ взглядомъ: «а? что?»—невнятно спросилъ онъ; но тотчасъ ткнулъ голову въ подушку и заснулъ...

II.

Турбину шелъ двадцать четвертый годъ. Онъ былъ бѣлокуръ, очень высокъ ростомъ, худъ и отъ застѣнчивости очень неловокъ; отпечатокъ нужды былъ замѣтенъ во всей его наружности. Онъ былъ сынъ сельскаго дьякона, учился въ семинаріи, но курса не кончилъ; по бѣдности пришлось вернуться домой; дома онъ все выписывалъ программы, думая приготовиться то въ юнкерскую, то въ межевую школу. Кончилъ, однако, экзаменомъ на сельскаго учителя, и радъ былъ этому. Жить дома было тяжело. Матери онъ и не помнилъ, а самъ дьяконъ отличался болѣзненно-угрюмымъ характеромъ; лицо у него было, какъ на старинныхъ иконахъ у схимниковъ,—темное и деревянное, фигура суровая—сухая, высокая, сутуловатая; говорилъ онъ глухимъ басомъ и

все кашлялъ, заправляя за ухо длинныя косицы съдыхъ волосъ. Даже тонъ его разговора былъ всегда одинъ—такой, словно онъ старался вразумить, растолковать, образумить.

Однако, проживши годъ одиноко, Николай Нилычъ сталъ вспоминать объ отцѣ съ тоской и нѣжностью, какъ о единственномъ близкомъ человѣкѣ, и дни и ночи мечтавъ о поѣздкѣ домой. Какъ это всегда бываетъ, онъ все обманывалъ себя надеждами на будущее: вотъ, молъ, дай только это время пережить, а тамъ.. все поидеть прекрасно. Лѣто онъ пробылъ на кондиціи—изъ-за одного содержанія—у богатаго купца-лѣсорубщика, и думалъ отправиться домой въ августѣ, хотя недѣльки на двѣ. Но нужно было справиться къ зимѣ тулупъ. Осенью онъ надѣялся на святки. Со всѣми подробностями представлялъ онъ себѣ, какъ пріѣдетъ домой... напимѣръ, къ вечеру... долго будетъ сидѣть съ отцомъ въ этотъ первый вечеръ за самоваромъ, въ знакомой чистой и теплой хатѣ, задушевно будетъ говорить съ нимъ до поздней ночи... А потомъ поѣдетъ въ большое торговое село къ двоюродной сестрѣ; у сестры будутъ каждый вечеръ гости, барышни и молодые люди съ фабрики, будетъ людно, свѣтло и весело. «Надо будетъ захватить съ собой туда гитару»,—думалъ Турбинъ.

Чтобы скопить денегъ, онъ отъ священника перешелъ обѣдать и ужинать къ дьячку. Но въ ноябрѣ отецъ написалъ ему, что онъ долженъ ѣхать въ губернской городъ лѣчиться, и просилъ денегъ. Чтобы предупредить отказъ, письмо было строго и властительно. Внизу же была приписка: „а послѣднее мое слово: имѣй Бога и сознаніе, пожалѣй мою старость“. И учитель отослалъ все свое сбереженіе. Осталась надежда заработать значительную сумму корреспонденціями. Онъ сталъ почти ежедневно посылать въ губернской городъ статейки подъ заглавіемъ „Родные отголоски“, за подписью: „Аріель“.

Но изъ нихъ взяли только пару замѣтокъ—о дождяхъ и о несчастномъ случаѣ на винокуренномъ заводѣ.

Турбинъ захандрилъ...

III.

Село было небольшое. Школа стояла одиночкой, на горѣ. Слѣва была церковь и кладбище, походившее на запущенный садъ, справа—косогоръ. Дорога по немъ шла изъ полей мимо училища влѣво подъ гору. Подъ горой, ниже кладбища, жили духовные; противъ нихъ, черезъ дорогу, стояла лавка и кабакъ Грибакина. На той сторонѣ, за рѣчкой, была усадьба Линтварева съ бѣлыми хоромами и скучно-синѣющими рядами елей передъ ними. Винокуренный заводъ вѣчно дымился въ сторонѣ отъ нея, надъ рѣчкой. Подлѣ него находились неуклюжія заводскія строенія—очистныя, подвальные—и домики на манеръ желѣзнодорожныхъ—для служащихъ. Село располагалось отъ имѣнія влѣво.

Съ завода приходили къ Грибакину гости—старый барскій поваръ, всѣми уважаемый за его поѣздку въ Іерусалимъ, о которой онъ постоянно съ смиреніемъ и важностью рассказывалъ, и за его близкое знакомство съ интимной жизнью господъ; затѣмъ—конторщики, подвальные, дистилляторъ и мѣдникъ. Это былъ народъ лавочнику нужный; по вечерамъ они занимались у него стуколкой или играли на нѣмецкой гармоникѣ. Турбинъ избѣгалъ попадать на такіе вечера, потому что его усаживали за карты, а онъ не любилъ проигрывать деньги. Къ тому же, Грибакинъ обходился съ нимъ учтиво, но холодно. Весной онъ замѣтилъ, что у его жены, нахально-красивой молодой женщины, стали завязываться съ учителемъ какіе-то особенные разговоры, хотя, конечно, не подалъ вида—„давалъ спервоначала ходу“: такой онъ былъ благообразный и вѣжливый старичекъ,

въ опрятномъ сѣромъ тулупчикѣ. И, правда, учитель нравился лавочницѣ. Первое время его самого, при видѣ ея молодого лица съ раздувающимися ноздрями и смѣющимися глазами подъ завитой чолкой, охватывало сильное волненіе. Но что-то въ ней было и непріятно ему. Онъ старался отдѣлываться семинарскими шуточками. Анна Сергѣевна сперва покрикивала на него („это еще что за новости?“), а потомъ начала звать гулять къ кладбищу и все чаще нагѣвать сдержанно-страстно, прикрывая, какъ бы въ изнеможеніи, глаза:

Вотъ скоро, скоро я уѣду.
Забудь всѣ пылкія мечты.
Забудь, какъ я тебя любила,
Забудь мой ростъ, мой черты!..

Тогда Турбинъ сталъ пропадать по вечерамъ въ полѣ. Кромѣ невольнаго чувства, возстававшего противъ этой любви, его сдерживала еще боязнь „исторіи“. „Пойдутъ сплетни,—думалъ онъ,—различныя непріятности... неммыслимо!“ Замѣтивъ это, Анна Сергѣевна стала говорить ему при встрѣчахъ дерзости и преувеличенно ругать его передъ мужемъ.

— Ага,—думалъ Грибакинъ,—черковала язычекъ!

Въ гостяхъ на заводской сторонѣ учитель бывалъ раза три-четыре за всю зиму и весну у дистиллятора Таубкина. Таубкинъ, молодой еврей, рыжій и золотушный, въ золотыхъ очкахъ для близорукихъ, былъ чело-вѣкъ очень радушный и у него собиралась большая компанія. Но между нею и учителемъ отношенія тоже какъ-то не завязывались. Учитель дичился, а заводскіе всѣ были другъ съ другомъ за панибрата,—всѣ жили между собою дружно, одними интересами. У всѣхъ было много дѣла; и они дѣлали его, но въ то же время всегда казались праздными: часто бывали другъ у друга въ гостяхъ, пили портвейнъ и закусывали сардина-

ми, танцовали подъ аристонъ, а послѣ играли въ „шесть-десять шесть“, не исключая и дамъ. Старшіе рабочіе на заводѣ и въ „очистой“, здоровые мужики въ фартукахъ, отличались во всемъ грубой рѣшительностью, циничными разговорами и собственнымъ достоинствомъ. Учитель нѣкоторыхъ изъ нихъ отчасти побаивался даже,—напримѣръ, посыльнаго на почту. Когда тотъ привозилъ учителю письма, учитель говорилъ ему „вы“, давалъ на водку, но посыльный все-таки поражалъ его своимъ презрительнымъ спокойствіемъ.

IV.

Осень началась солнечными днями, свѣжими и веселыми.

По воскресеньямъ Турбинъ съ утра уходилъ въ поле, туда, гдѣ видны были на горизонтѣ станція и одинъ за другимъ уходящія въ даль телеграфные столбы. Его тянуло туда, потому что въ ту сторону поѣздъ долженъ унести его на родину.

Съ утра было особенно свѣжо, свѣтло и тихо. Низкое солнце блестяло ослѣпительно. Бѣлый, холодный туманъ затоплялъ рѣку. Бѣлый дымъ таялъ въ солнечныхъ лучахъ надъ крышами избъ и уходилъ въ бирюзовое небо. Въ барскомъ паркѣ, прохваченномъ ночью сыростью, на низахъ, стояли холодныя снѣга тѣни и пахло прѣлымъ листомъ и яблоками; на полянахъ, въ солнечномъ блескѣ, сверкали паутины и неподвижно рдѣли свѣтло-золотые клены. Рѣзкій крикъ дроздовъ иногда нарушалъ эту свѣтлую тишину. Только листья, прирѣтые солнцемъ, слабо колеблясь, падали на темныя, сырыя дорожки. Садъ пустѣлъ и дичалъ; далеко былъ виденъ въ немъ полураскрытый, покинутый шалашъ садовника.

Не спѣша, учитель входилъ на гору. Село живо-

писно лежало въ широкой котловинѣ. Ровно и медленно тянулся въ высь дымъ завода; въ ясной синевѣ осенняго неба кружились и сверкали бѣлые голуби. На деревнѣ всюду рѣзко желтѣла новая солома, слышался говоръ, съ громомъ неслись черезъ мостъ порожнія телеги.

А въ открытомъ полѣ—особенно подь солнцемъ, къ югу—все блестяло и сіяло, между тѣмъ какъ къ сѣверу горизонтъ былъ темень и тяжелъ и рѣзко отдѣлялся грифельнымъ цвѣтомъ отъ желтой скатерти жнивья. Издалека можно было различать фигуры женщинъ, работающихъ на картофельныхъ полосахъ, медленно ѣдущаго по полю мужика. Золотистыми кострами пылали въ лощинахъ лѣсочки. Виднѣлись кирпичнаго цвѣта крыши помѣщичьихъ хуторовъ. Учитель напряженно смотрѣлъ на нихъ. Имъ овладѣвало безпокойство одиночества, тянуло въ эту неизвѣстную ему среду, въ новую обстановку, гдѣ жизнь проходитъ свободно, легко и весело. И задумами о помѣщичьей жизни онъ совсѣмъ не видалъ красоты, которая была вокругъ. Такъ было просторно и тихо въ поляхъ! Даже срубленный лѣсъ не производилъ грустнаго впечатлѣнія. Теперь на мѣстѣ лѣса бѣлѣла щепка, стояли „сажни“ дровъ среди обрубленныхъ сучьевъ и поблекшихъ листьевъ, да возвышались три длинныя, тонкія березки съ уцѣлѣвшими макушками. Ихъ одинокія очертанія гармонировали съ открытыми далями.

Турбинъ, при видѣ этихъ березокъ, всегда вспоминалъ, что здѣсь онъ встрѣтилъ жену Линтварева. Съ нею и ея мужемъ онъ познакомился и встрѣчался нѣсколько разъ на станціи. Они держали себя съ нимъ просто и даже ласково, особенно мужъ; кромѣ того, про Линтварева было слышно, что онъ окончилъ курсъ въ университетѣ, увлеченъ земскими дѣлами и, главнымъ образомъ, профессиональнымъ образованіемъ. Все это, съ придачей богатства и знатности, внушало Турбину боль-

шое уваженіе къ Линтваревымъ. При встрѣчѣ съ нимъ около срубленнаго лѣса, жена Линтварева такъ ласково улыбнулась ему и показалась ему такъ изящна и аристократична въ своемъ черномъ платьѣ и шляпѣ въ видѣ цилиндра, что учитель покраснѣлъ отъ радости и тутъ же рѣшилъ непремѣнно побывать у нихъ въ гостяхъ, завязать прочное знакомство. Онъ долго глядѣлъ вслѣдъ ея англійскому шарабану, запряженному парой небольшихъ темныхъ лошадей, которыми она сама правила, между тѣмъ, какъ кучеръ, тоже весь въ черномъ, сидѣлъ сзади нея съ длиннымъ бичемъ въ рукѣ. Учитель не видѣлъ, куда идетъ, съ наслажденіемъ рисуя себѣ, какъ онъ будетъ сидѣть у Линтварева на балконѣ, какъ равный всѣмъ остальнымъ гостямъ, вести интересный, живой разговоръ, пить прекрасный чай, курить дорогую сигару... и даже когда-нибудь, въ весенній вечеръ, ѣхать верхомъ около молодой, стройной гостьи Линтваревыхъ за деревню, въ поле, въ темнѣющую даль...

V.

Къ концу сентября погода рѣзко измѣнилась. Дожди лили съ утра до ночи. Линтваревы уѣхали. Садъ ихъ почернѣлъ, сталъ какъ будто ниже и меньше. Деревья приняла темный, жалкій видъ. Холодный вѣтеръ затыгивалъ окрестности туманной сѣткой дождя. Въ училищѣ запахло кислымъ запахомъ печной сырости, стало холодно, темно и неуютно.

Турбинъ вставалъ еще при огнѣ, въ ту непріязненную пору, когда послѣ мрачной дождливой ночи надъ грязными полями, надъ колеями дорогъ, полными водою, недовольно начиналъ дымиться блѣдный разсвѣтъ. Съ разсвѣтомъ становилось еще неуютнѣе и холоднѣе. Учителя будилъ стукъ дверей. Ребята натаскивали на

лаптяхъ въ переднюю грязь, сморкались, возились, топали и кричали. Въ отворяющіяся двери несло ледяною сыростью. Съ дрожью подходилъ учитель къ умывальнику. Потомъ спѣшно пилъ горячій, жидкій чай въ прикуску и гушилъ лампочку. Послѣ ея желтаго свѣта въ комнатѣ снѣлъ холодный утренній сумракъ. Въ этомъ сумракѣ учитель входилъ въ классъ и, завернувшись въ тулупъ, натягивая его на холодѣющія колѣни, садился за свой столъ. Начиналась упорная работа. Сперва онъ горячился, напрягалъ все усилія говорить понятнѣе и сдержаннѣе; потомъ только смотрѣлъ, какъ сбѣчетъ въ окна косою дождь и тянутся обозы къ заводу; мужики шлепали по грязи, накрывшись рогожами; отъ потныхъ, потемнѣвшихъ лошадей валилъ паръ. И все представлялъ учитель самого себя вдуцимъ на вокзалъ въ телѣгѣ: телѣга медленно качается, хлюпаютъ по дорогѣ, залитой грязной водою, сбѣчетъ дождь и заливаются-стонетъ вѣтеръ, гнетъ въ полѣ одинокую, голую березку...

Оживлялся онъ при говорѣ и толкотнѣ уходившихъ учениковъ.

— Здорово льетъ?—спрашивалъ онъ Павла, засовывая ноги въ старыя, большія калоши.

— Кажись, перестаетъ,—каждый день отвѣчалъ на это Павелъ.

— По морю, яко по суху,—каждый день говорить ему и лавочникъ, стоя подъ навѣсомъ кабака, и снисходительно смѣялся.

Турбинъ, всегда въ этотъ моментъ перебивавшійся отъ лавки на другую, менѣе грязную сторону дороги, махалъ съ отвѣтнымъ смѣхомъ рукой и вдругъ дѣлалъ со всѣхъ своихъ длинныхъ ногъ гигантскій, отчаянный шагъ. Шлепнувъ калошей въ лужу и видя, что надъ этимъ прыжкомъ покатывается со смѣху сидящая за шитьемъ подъ окномъ лавочница, онъ, съ кривой улыбкой, неловко пробирался подъ плетнемъ дальше.

— Писемъ, Иванъ Филимоновичъ, нѣту?—кричалъ онъ издалека лавочнику.

— Пишутъ-съ!

— То-то несуразный-то!—говорила лавочница, какъ-бы съ сожалѣніемъ, раздумчиво качая головою и откусывая нитку...

Дьячекъ Скрябинъ былъ самый убогій человекъ въ селѣ. Трудно было встрѣтить мужчину болѣе недалекаго и некрасиваго. Унылый, поблекшій носъ, жидкая коса, слезящіеся глаза—все въ немъ напоминало старуху. Тяжело было глядѣть, какъ онъ весной, въ полую воду, или осенью, подъ дождемъ, брелъ по выгону въ огромныхъ растрепанныхъ валенкахъ, внутри которыхъ была подложена солома! На клиросѣ онъ читалъ и подпѣвалъ разбитымъ голосомъ такъ, словно онъ былъ выпивши, или бредилъ. Въ избѣ у него, какъ и у большинства духовныхъ, было довольно чисто и уютно, но толклось человекъ семь дѣтей. Никто не обращалъ на нихъ вниманія. Не смотря на свое нищенство, какъ самъ Скрябинъ, такъ и жена его только и думали съ утра до ночи, что объ ѣдѣ. Скрябинъ ѣлъ походя: то лазилъ въ печку за картофелемъ, то пѣкъ себѣ яйца, то наливалъ черезъ полчаса послѣ обѣда чашку похлебки, то жевалъ хлѣбъ. Раза три или четыре въ день онъ возился съ самоваромъ, собиралъ щенки, раздувалъ его то губами, то старымъ голенищемъ. У жены Скрябина было очень привѣтливое, открытое и грустное лицо. Но, кажется, въ душѣ ея и въ умѣ что-то было не въ порядкѣ. И жалка, и неприятна была ея нѣжность, съ которой она, измученная дѣтьми и заботой по дому, ухаживала за лѣнтяемъ дьячкомъ и все устраивала ему сюрпризы,—мастерила какое-нибудь замысловатое кушанье. Но сюрпризъ зачастую не удавался и дьячиха съ виноватой, жалкой улыбкой убирала кушанье куда-нибудь подъ лавку.

— Ну, что же это такое... что это такое?—говорилъ

Скрябинъ дребезжающимъ злобнымъ голосомъ.—Что же это такое, ей-Богу!..

— Я тебѣ, Алеша, лучше ветчинки принесу...

— Я издохну съ голоду,—продолжалъ бормотать дьячекъ, чуть не плача.

Это даже на учителя, привыкшаго къ бѣдности и убожеству, производило угнетающее впечатлѣніе...

А когда, въ октябрѣ, дьячиха умерла передъ концомъ беременности, онъ долго не могъ безъ содроганія видѣть ея несчастной хибарки...

Чаще всего послѣ обѣда Турбинъ бывалъ въ гостяхъ у священника, о. Федора Рокотова. Священникъ выходилъ изъ задней комнаты заспанный, съ свѣтлыми, слезящимися отъ сна глазами и красными полосами на вискѣ отъ рубцовъ подушки. Онъ улыбался и говорилъ съ благодушнымъ снисхожденіемъ къ своей слабости:

— А я прилегу на минуту да и задремалъ, какъ сурокъ...

Вечеромъ затѣвалась игра въ преферансъ на орѣхи. Иногда учитель игралъ съ поповной на двухъ гитарахъ «Въ глубокой тѣснинѣ Дарьяла», «Раздумье Вольтера» или на мотивъ малороссійскаго казачка «Прибѣжали въ избу дѣти ... Томной меланхоліей звучали струны гитаръ и всѣхъ мотивовъ. Священникъ острилъ на счетъ худобы и роста Турбина. И хотя Турбинъ всегда при этомъ смѣялся, прикрывая, по своей манерѣ, ротъ рукою, но остроты батюшки плохо разгоняли скуку.

VI.

По мѣрѣ того, какъ деревня все болѣе утопала въ сырыхъ сумеркахъ, зажигались на заводѣ огни и тянуло дымомъ самоваровъ, который вѣетъ всегда семейнымъ, долгимъ вечеромъ, теплымъ угломъ,—учитель скользилъ по липкой грязи, мучился медленнымъ восхожденіемъ

на гору. Темъ, холодъ, запахъ угарной печки и одиночество встрѣчали его въ безмолвномъ училищѣ. Но первое время это не смущало Турбина. Первый годъ въ школѣ прошелъ какъ-то удивительно быстро. Думать было некогда. Молодымъ, скрытнымъ семинаромъ онъ мечталъ о многомъ—думалъ стать миссіонеромъ, городскимъ священникомъ—словомъ, выбиться къ свободной, лучшей жизни. Удивительно ярко представлялъ онъ себя въ губернскомъ городѣ, о Николаемъ, въ шелковой лиловой рясѣ, на которую падаютъ выхолощенные кудри, даже почему-то въ золотыхъ очкахъ, какъ протоіерей въ Вознесенскомъ соборѣ, мечталъ о жизни съ достаткомъ, думалъ вести хорошее знакомство, быть человѣкомъ просвѣщеннымъ, слѣдящимъ за наукой, за политикой. Эти мечты погибли окончательно. Бдучи въ школу, онъ весь былъ переполненъ рвеніемъ поскорѣе начать работать, сразу сдѣлать свою школу образцовой, стать выдающимся учителемъ, подписывать статейки по народному образованію, приняться за составленіе учебниковъ. День за днемъ тускнѣли и эти мечты. Въ Можаровкѣ близость завода наводила его на мысль понасть на службу по акцизу, да такъ, чтобы годиковъ черезъ десять получать тысячъ три, а то и четыре—бывали примѣры. Но это въ будущемъ. Пока же хотѣлось поскорѣе хоть какъ-нибудь обновить, поднять свое житье-бытье, томила горячая, хотя и неопредѣленная жажда счастья.

— Необходимо прежде всего заняться самообразованіемъ,—рѣшалъ онъ;—это прежде всего; завести знакомство, почувствовать себя человѣкомъ. Вотъ только пройдетъ эта осень! Съѣзжу домой, а вернусь—буду ходить къ Липтвареву, буду, Богъ дастъ, съ живыми, настоящими людьми общаться и видѣться...

И, покачиваясь, Николай Нилычъ расхаживалъ по своей комнатѣ, взволнованный, переполненный думами о лучшемъ будущемъ... Потомъ рѣшительно бралъ въ

руки выпрошенную еще въ семинаріи у товарища книжку „Современника“ и принимался за статью: „Взглядъ на русское судоустройство и судопроизводство“. Но статья была невеселая. Осилить нѣсколько страницъ, Турбинъ опускалъ книгу, закрывалъ глаза и опять отдавался думамъ... То рисовались ему сцены знакомства съ Липтваревымъ, и въ душѣ подымались и радость, и смущеніе, то поскорѣй-поскорѣй хотѣлось домой, отдохнуть, освѣжиться. Иногда поздней ночью, растроганный нѣжностью къ отцу, воспоминаніями и надеждами, Турбинъ долго-долго писалъ къ нему длинныя лирическія письма; но на утро они казались ему витіеватыми и невыразительными и онъ не посылалъ ихъ...

Когда же обнаружилось, что ѣхать не на что, вечера измѣнились. Онъ сталъ проводить ихъ въ безпокойной тоскѣ и безплодныхъ придумываніяхъ, какъ устроить эту поѣздку. Иногда онъ рѣшался даже на послѣднее средство—занять денегъ. Но тотчасъ же и отказывался отъ него. „Немыслимо! Долги — погибел!“ Въ голову шли безконечной вереницей самыя невеселыя мысли, но высказать хоть одну изъ нихъ было совершенно некому. Проклиная въ душѣ и себя, и темноту, и училище, онъ рѣшительно шагалъ къ дьячку ужинать. Возвратясь, тотчасъ же завертывался въ тулупъ и ложился въ постель. Вся тоска и холодъ этихъ одинокихъ осеннихъ дней охватывала его тогда. Черная ночь глядѣла въ окна. На деревнѣ во мракѣ зіялъ огнями заводъ; огненными искрами роились его высокія трубы. А когда тяжелымъ взмахомъ налеталъ вѣтеръ, чаще и гуще стрекалъ косой дождь въ стекла оконъ и еще жалобнѣе завывало въ печкѣ...

Словно отдаленными-отдаленными, протяжными стопами доносилась съ села перекличка пѣтуховъ на разсвѣтѣ; медленно-медленно послѣ долгой ночи пробуждалась жизнь. Дождь стихалъ; холодѣло; вѣтеръ гналъ въ утреннемъ холодномъ небѣ бѣлесыя космы тучъ.

Надъ деревней, надъ голыми, пустынными полями занимался новый скучный день...

А потомъ пошли мятели, засыпали снѣгомъ избы, слѣпили окна. Побѣлѣвшая деревня еще болѣе опустѣла и затихла—даже собаки забивались въ сѣнцы. Только съ утра до ночи неслась надъ ней вьюга и стояли весь день мутныя сумерки. Въ бѣлой пыли тонулъ и заводъ, и одинокая церковь. Вѣтеръ по ночамъ уныло и жалобно перезванивалъ на колокольнѣ...

VII.

Часовъ около шести Павелъ зашуршалъ соломой, протаскивая вязанку въ дверь, и съ громомъ уронилъ на полъ вьюшку. Чтобы загладить свою неловкость, онъ закричалъ и чмокнулъ губами:

— Ну, и студено же на дворѣ! Вызвѣздило—страсть!

— А ты плѣшивыхъ посчитай,—раздался изъ темноты спокойный голосъ учителя.

— Ай проснулись?

— Подремалъ,—отвѣчалъ учитель, зѣвая.

На душѣ у него было какъ-то пусто. Онъ спустилъ длинныя ноги съ кровати и соображалъ, идти или нѣтъ къ дьячку. Бѣсть хотѣлось,—надо было идти.

На селѣ было темно и тихо. Морозило; на черномъ небѣ сверкали крупныя звѣзды. Лай собаченки съ того боку деревни звонко отдавался въ чистомъ воздухѣ. Свѣжесть зимней ночи ободрила Турбина.

— О. Алексѣю — почтеніе! — сказалъ онъ шуточно громко и съ удареніемъ на „о“, нагбываясь и входя въ избушку дьячка.—Съ преддверіемъ!

Дьячекъ чинилъ хомутъ, сидя на лавкѣ около коптившей лампочки. Онъ медленно поднялъ голову и, приложивъ большой палецъ къ ноздрѣ, сильно дунулъ носомъ.

въ сторону. И опять посмотрѣлъ на Турбина сквозь висѣвшія на кончикѣ носа очки.

— Не на званомъ-ли обѣдѣ были?—спросилъ онъ, слабо улыбаясь и вытирая носъ полою.

— На званомъ, о. Алексѣй, на званомъ.

Старшая дочка дьячка, косенькая, миловидная и тихая дѣвочка лѣтъ шести, шлепая босыми ножками по полу, собрала на столъ. Турбинъ молча принялся хлебать щи.

— Попробую и я съ вами...—сказалъ дьячекъ, откладывая хомутъ въ сторону, подошелъ къ лейкѣ надъ лоханью, плеснулъ водой на руки и принялся за щи.

Косенькая дѣвочка молча стояла у печки. Дьячекъ посмотрѣлъ на нее и опустилъ голову. Но, немного погодя, онъ опять взялся за ложку и сказалъ:

— Еже во плоти Рождество Господа нашего Иисуса Христа... Да... воспоминаніе избавленія церкви и державы... А тамъ и отланіе праздника и новый годъ... Что-то я забылъ, когда восходъ солнца? Заходъ знаю—3 ч. 44 м., а вотъ восходъ?.. Вы не помните?

Турбинъ захохоталъ, откинувшись къ стѣнѣ и закрывъ ротъ рукою.

— А на что онъ вамъ, о. Алексѣй?

Дѣвочка подошла къ столу и серьезно стала убирать ложки. Турбинъ смолкъ и поскорѣе выбрался на улицу.

— Эхе-хе-хе-хе!..—говорилъ онъ, шагая въ гору и грустно качая головой.

На полугорѣ онъ остановился и глубоко вздохнулъ свѣжимъ и чистымъ воздухомъ... и потомъ оглядѣлся кругомъ такъ, словно попалъ въ село въ первый разъ въ жизни. Бываетъ, что умъ и чувство, долго подчиняясь извѣстному ходу обстоятельствъ, вдругъ какъ бы отдѣляются отъ нихъ и сразу получаютъ возможность взглянуть на протекшій періодъ времени критически, почувствовать себя выше ихъ. Невольно учитель сопо-

ставлялъ жизнь дьячка и свою. И настроеніе поднялось, просвѣтлѣло. Онъ теперь могъ взглянуть на всю прошлую осень, на свои неприятели спокойнѣе, почувствовать себя по отношенію къ нимъ болѣе сильнымъ.

— Какой же собственно смыслъ въ тоскѣ?

Онъ постоялъ, прикрывши глаза, и сказалъ твердо:

— Никакого.

И, улыбаясь этому разговору съ самимъ собою, пошелъ къ училищу.

Къ удивленію его, въ училищѣ свѣтился огонь. Не отецъ-ли пріѣхалъ? Или кто-нибудь изъ забытыхъ товарищей? Но тогда бы у крыльца были лошади. „Навѣрняка, Слѣпушкинъ или Кондратъ Семенычъ“. Турбинъ поморщился и замедлить шаги.

VIII.

Кондратъ Семенычъ былъ сынъ когда-то богатого, безпутнаго помѣщика Кривцова, воспитывался въ гимназій, но дотянулъ только до 5-го класса. Этому, впрочемъ, помогло и то, что на охотѣ съ борзыми онъ сломалъ себѣ ногу. Въ ту же осень умеръ Кривцовъ. У матери Кондрата Семеныча осталось только десятинъ 30 земли, небольшой флигелекъ при ней на выѣздѣ Можаровки, шерстяной чулокъ съ двугривенными и изломанными серебряными ложками, шитье отъ дворянскаго мундира, портретъ Николая I, два бронзовые шандала и дорожный ларчикъ краснаго дерева, изъ затѣливыхъ ящичковъ котораго пахло старинными кислыми духами. Кондратъ Семенычъ высидѣлъ изъ чулка двугривенные, сдать исполу мужикамъ землю и первымъ дѣломъ „залезъ“ на ярмарку—подобрать троечку „Киргизовъ“; верхового мерина донской породы и удивительно неуклюжей худобы подарилъ ему еще самъ Кривцовъ.

Тамъ же нанялъ онъ и кучера, записного охотника и пьяницу Ваську и уже не разлучался съ нимъ.

Кондрату Семенычу было лѣтъ 25. Онъ былъ широкоплечъ и небольшого роста, особенно тогда, когда осѣдалъ на лѣвый бокъ, на хромую ногу; черные волосы его кудрявились, а симпатичное, загорѣлое, кирпичнаго цвѣта лицо оживлялось маленькими, веселыми глазками; нижняя челюсть выдавалась у него, но это придавало ему только добродушное выраженіе: концы черныхъ усиковъ на короткой верхней губѣ лихо завивались кверху. Онъ такъ добродушно болталъ своимъ хриплымъ, пріятнымъ голосомъ и такъ заливался веселымъ смѣхомъ, что даже всегда неловкій при новомъ человѣкѣ Турбинъ сразу почувствовалъ себя съ нимъ свободно и просто.

И правда, душа у Кондрата Семеныча была добрая и открытая. Все у него выходило добродушно и непосредственно: онъ велъ очень распушенную жизнь, пилъ и въ кабакахъ, и въ гостяхъ, и на охотѣ, лгалъ вообще и хвастался относительно женщинъ отчаянно, но какъ-то машинально, по веселости нрава, и не скрывалъ этого „а я тебѣ, братъ, чертовски брехалъ вчера“; сплетничалъ безъ всякой предвзятой цѣли—просто подъ влияніемъ расположенія къ другу, а друзьями у него на селѣ были почти всѣ. И съ господами, и съ мужиками онъ держался совершенно одинаково. Колтыхая по деревенской улицѣ, онъ также дружески встрѣчался и съ помѣщикомъ, какъ и ставилъ ногу на втулокъ колеса къ мужику и изъ одного кисета завертывалъ съ нимъ по цыгаркѣ махорки. Одѣвался онъ, впрочемъ, какъ и всѣ мелкомѣстные—въ длинные сапоги, шаровары, картузь и поддевку, которая, кстати сказать, издавала какой-то особенный запахъ—запахъ пороха и лошади; какъ и они, любилъ хвастнуть своей рыженькой троечкой, которая, когда неслась по селу, походила на букву „Ж“

прописью—такъ лихо завивались пристяжные въ разныя стороны.

Турбинъ былъ у него раза два. Онъ надѣялся черезъ Кондрата Семеныча познакомиться со многими помѣщиками. Но тотъ только силился напоить его оба раза. Къ тому же и обстановка у него была не такая, какую думалъ встрѣтить Турбинъ: крыльцо передъ домомъ было разрушено; въ „лакейской“ полъ былъ какъ въ свиной закутѣ—такъ онъ былъ унавоженъ жившими здѣсь и зиму и лѣто турманами, которые, при входѣ людей, поднимались тучей, съ шумомъ и съ свистомъ крыльевъ, и совѣмъ затемняли свѣтъ, проникавшій въ лакейскую сквозь радужныя отъ времени стекла. Въ углу зала былъ насыпанъ ворохъ овса; тутъ же, на соломѣ, повизгивали, ползали и тыкались слѣпыми мордами гончіе щенята; большая красивая сука, спавшая возлѣ нихъ, подняла голову съ лапъ и наполнила весь залъ музыкальнымъ лаемъ... Голыя стѣны кабинета были темны отъ табаку и мухъ; надъ турецкимъ диваномъ висѣли нагайки, княжалы и желтыя заскоружлыя шкурки лисицъ. Подъ окномъ, на разломанномъ письменномъ столѣ, кучей была насыпана махорка, стояла коробка колесной мази, лежала шлея и куски сырой, кислотоючей кожи, а на обгрызенныхъ кускахъ сахару черными стаями налипали мухи. Изъ-подъ стола зеленѣла четверть водки. Турбинъ чувствовалъ себя непріятно. Не нравилось ему и то, что Кондратъ Семенычъ говорилъ ему „ты“ и называлъ его циркулемъ, весело хромая, напѣвая и рассказывая про свои похождения...

Слѣпушкинъ служилъ на заводѣ у Линтварева подкурщикомъ; лицо у него было толстое, обрюзглое и темное, какъ у настоящаго алкоголика, голосъ тяжелый, фигура медвѣженка, пиджакъ—изъ мохнатаго драпа и штаны изъ верблюжьей шерсти. Пилъ Слѣпушкинъ, главнымъ образомъ, пиво и водку, смѣшанную съ шивомъ: такой составъ назывался „ершомъ“, вѣроятно, по труд-

ности проглотить его сразу. Въ гостяхъ у Турбина онъ засиживался до трехъ часовъ ночи и часто просилъ писать къ лавочнику записки, чтобы тотъ прислалъ ему „дюжину“.

— Не понимаю,—говорилъ онъ сонно и съ презрѣніемъ, облокотясь на столъ и глядя на учителя свинцовымъ взглядомъ,—не понимаю этихъ нѣжностей: вѣдь мнѣ онъ не повѣритъ... а я, надѣюсь, въ состояніи заплатить вамъ этотъ несчастный цѣлковый.

— Само собой,—говорилъ Турбинъ, расхаживая по комнатѣ и смущенно вертя въ рукахъ бумажку,—я не сомнѣваюсь, но право же...

— Само собой, само собой!—дразнилъ Слѣпушкинъ, дѣлая еще болѣе мутные глаза.

— Пусть будетъ такъ... — начиналъ Турбинъ, — но главная вещь...

Тогда Слѣпушкинъ подымался.

— А ужъ этого „пусть будетъ такъ“ я совсѣмъ не выношу!—говорилъ онъ съ искреннимъ презрѣніемъ.— Вѣроятно, мы теперь не скоро увидимся...

IX.

Съ неудовольствіемъ вспоминая такія подробности, Турбинъ подошелъ къ училищу и заглянулъ въ окно.

Кондрать Семенычъ лежалъ съ салагами на кровати. Таубкинъ, выгнувъ сутулую спину и запустивъ руки въ карманы модныхъ узкихъ брюкъ, молча сверкалъ очками. Слѣпушкинъ сосредоточенно игралъ на гитарѣ, опустивъ голову и покачиваясь. Ему вторилъ на „ливенской“ гармоникѣ одинъ изъ подвальныхъ, Митька Лызовъ, бѣлобрысый и безусый, походившій на приказчика. Турбинъ видѣлъ его только разъ у Таубкина. Онъ весь вечеръ грызъ подсолнухи, „приставалъ“ къ барышнямъ, потомъ плясалъ, щеголевато перебирая тонкими ногами

въ расчищенныхъ сапогахъ, разстегнувъ поддевку и началъ въ концѣ-концовъ изо всей силы шлепать Турбина ладошью по колѣну: треснетъ, зажметъ и потрясетъ съ лѣниво-сладкой улыбкой. Теперь онъ игралъ „страдательную“ и съ своей блаженной усмѣшкой тянулъ фальцетомъ:

А всѣмъ барышнямъ-модисткамъ
По поклончику по низкомъ!

Но кто-то былъ еще; какой-то благообразный господинъ съ лысиной во всю голову, съ длинными черными баками сидѣлъ задомъ къ окну. Осторожно Турбинъ пробрался къ противоположному окну, и даже руки у него похолодѣли отъ злобы: это былъ Прохоръ Матвѣичъ, Линтваревскій лакей.

— Значить, Линтваревъ пріѣхалъ, — думалъ Турбинъ.—Но какова это будетъ штука, если я пойду къ нему, буду сидѣть въ залѣ, и вдругъ входитъ Прохоръ Матвѣичъ?..

Вдругъ стукъ двери и голоса послышались на крыльцѣ. Турбинъ прижался за уголъ. По стѣгу заскрипѣли шаги, Лызовъ звонко заигралъ на гармоникѣ. Турбинъ осторожно пробрался въ школу. Дверь на крыльцо осталась открытой; въ комнатѣ пахло табакомъ и свѣжестью морознаго воздуха. Турбинъ поморщился. Но вдругъ взгляды его упали на столъ: конвертъ изъ плотной англійской бумаги! Турбинъ смѣшался, покраснѣлъ, неловко металлическимъ гребешкомъ рвануль его...

„Многоуважаемый Николай Нилычъ,—стояло въ письмѣ,—простите за поздній отвѣтъ. Въ тотъ пріѣздъ, какъ подучилъ ваше письмо, я не успѣлъ отвѣтить, а теперь хотѣлось бы поговорить съ вами лично по поводу вашей просьбы, почему надѣюсь, что вы не откажете мнѣ въ удовольствіи видѣть васъ у себя на второй день праздника вечеромъ. Преданный вамъ П. Линтваревъ“.

Это былъ отвѣтъ на просьбу Турбина помочь школь учебниками. Но теперь Турбину было не до учебниковъ: онъ ходилъ по комнатѣ и бормоталъ съ сіяющимъ лицомъ:

— Преданный! Гм... Вотъ, ей-Богу, чудакъ!..

А внутри у него все дрожало отъ восторга и радостнаго смущенія...

X.

Два слѣдующіе дня прошли почти въ непрерывныхъ, безпокойныхъ рѣшеніяхъ вопроса: идти или нѣтъ? Самые различные отвѣты на него Турбинъ давалъ себѣ поминутно.

Къ утру сочельника комната его сильно настудилась. Вода въ умывальникѣ замерзла. Стекла обоихъ оконъ были сверху до низу запушены инеемъ и зарисованы морозомъ серебряными пальмовыми листьями, узорчатыми папоротниками. Но Турбинъ спалъ глубокимъ сномъ, а проснулся веселымъ и крѣпкимъ, съ пріятнымъ ощущеніемъ какой-то хорошей цѣли. Онъ вскочилъ и отдернулъ примерзшую форточку. Рѣзкій скрипъ саней стоялъ надъ всѣмъ выгономъ: изъ-подъ горы тянулся длинный обозъ, весь завѣянный почной поземкой въ полѣ: морды лошадей были въ кудрявомъ инеѣ, мужики шагали бѣлыми фигурами... Картина села поражала бѣлоснежной красотой. Все тонуло въ яркихъ, но удивительно нѣжныхъ и чистыхъ краскахъ сѣвернаго утра. Выгоны, лозины и вся деревня казались снѣговыми изваяніями. И на всемъ уже сіялъ огнистый блескъ восходящаго солнца. Турбинъ заглянулъ изъ форточки влѣво и увидалъ его за церковью во всемъ ослѣпительномъ великолѣпіи: морозное кольцо съ двумя другими, отраженными солнцами еще болѣе увеличивало это великолѣпіе.

— Поразительно! — воскликнулъ Турбинъ и торопливо захлопнувъ форточку, юркнулъ подъ одѣяло. Ему было пріятно согрѣваться, задремывать и думать.

— Уши! — сказалъ онъ громко и засмѣялся, вспоминая, что мужики называютъ эти отраженные солнца „ушами“.

Веселое настроеніе не покинуло его и тогда, когда онъ опять проснулся. Передняя, куда онъ вышелъ умываться, вся была озарена солнцемъ. Щурясь заспанными глазами, онъ улыбался. Самоваръ застылъ и притихъ. Павла, по обыкновенію, не было, но Турбинъ не обратилъ на это вниманія. Онъ долго и особенно тщательно мылся борно-тимоловымъ мыломъ, потомъ заглянулъ въ классную: и тамъ было теперь весело отъ солнца и тишины предпраздничнаго утра. „Не шуми ты, розь!“... затынулъ онъ во все горло... Голосъ гулко отдался въ пустой комнатѣ, и это напомнило ему его одиночество. Онъ замолкъ и пошелъ въ переднюю пить чай на окнѣ, при солнцѣ. Сообразивши же, что онъ опоздалъ къ обѣднѣ, онъ даже немного обрадовался. Его тянуло куда-то идти, обдумать, получше обдумать что-то. Но, подавляя внутреннюю торопливость, онъ убралъ чашки и самоваръ, а затѣмъ надѣлъ свое новое „городское“ пальто и вышелъ.

Щурясь отъ ослѣпительнаго сверканья солнца на нарчѣ снѣга, отъ блестящихъ, отшлифованныхъ, какъ слононая кость, ухабовъ дороги, глубоко дыша холоднымъ воздухомъ, онъ шелъ тихо и все любовался деревней, синими, рѣзкими тѣнями около строеній и горизонтомъ зеленоватаго неба надъ далекимъ лѣсочкомъ въ снѣжномъ полѣ: туда, къ горизонту, небо было особенно нѣжно и ясно. Иней пріятно садился на вѣки, паръ шелъ отъ дыханія, а солнце пригрѣвало щеку. Турбинъ думалъ, что хорошо теперь полежать на солнцѣ въ затишьи гумна, пригрѣться въ ометѣ, на пахнувшей зимней свѣжестью соломѣ. А еще лучше откинуться въ задокъ

саней, полузакрѣтъ глаза и только покачиваться и слышать, какъ заливается колокольчикъ надъ тройкой, запряженной «впротязку»...

Мужикъ съ подводой догналъ Турбина въ полѣ. На розвальняхъ дымилась бочка, вся облитая лахучей бардой и заткнутая соломой.

— Ты съ завода, хлонецъ?—спросилъ Турбинъ.

— Съ завода.

— Баринъ-то давно прѣхалъ?

— Мы этихъ дѣловъ не знаемъ. А вы сами-то ай дальніе?

— Изъ тридевятаго государства,—засмѣялся Турбинъ.

Мужикъ долго съ удивленіемъ оглядывался на его высокую фигуру.

А Турбинъ уже забылъ о немъ и старался начать обдумывать.

— Ну, такъ какъ же? Иду, значить? Или нѣтъ—не стоить?

Въ душѣ Турбинъ еще вчера рѣшилъ, что пойдетъ, но чего-то боялся и волновался. «Да, такъ, лучше,—говорилъ онъ себѣ,—пойду на третій день, утромъ, по дѣлу, не надолго. Немыслимо сразу въ гости придти... это онъ для приличія... Поговорю и уйду. А тамъ, на новый годъ примѣрно, уже и вечеркомъ можно. Обязательно такъ, вѣрно какъ въ аптекъ».

Но, незамѣтно, онъ уходилъ въ поле все дальше и, говоря одно, повторялъ въ тоже время другое: «ну, такъ какъ же?..» Представивъ себѣ всю неловкость и непріятность этого посѣщенія, онъ тотчасъ же начиналъ разубѣждать себя въ этомъ, говорилъ, что «глупо рисовать все въ дурномъ смыслѣ», что онъ не хуже другихъ... Въ концѣ концовъ эта путаница мысли испортила ему настроеніе окончательно, утомила его и стала раздражать. Онъ посиѣшно пошелъ обѣдать.

Вернувшись и увидя свою бѣдную комнатку вымы-

той и прибранной къ празднику, онъ почувствовалъ себя совсѣмъ одинокимъ и сталъ думать спокойнѣе, серьезнѣе и грустнѣе. Онъ долго сидѣлъ, положивъ на столъ подъ лицо ладони; и когда поднималъ голову, лицо его было хмуро, но спокойно. Эти думы о посѣщеніи Линтварева теперь казались ему жалкими пустяками. «Еще успеется»...

Весь вечеръ онъ писалъ письма, читалъ, и ему было жалко себя.

— Видно, надо жить, какъ живется!..—думалъ онъ тихо и серьезно.

XI.

Наступилъ праздникъ.

На первый день Турбинъ чувствовалъ себя какъ-то особенно, какъ привыкъ чувствовать себя съ дѣтства въ большіе праздники, чинно стоялъ въ церкви, чинно разговлялся у батюшки. Дома не зная, за что приняться, онъ безцѣльно походилъ по классу, заглянулъ въ окно... Въ безлюдьи села чувствовалось начало праздника: все дождалось чего-то, одѣлись получше и не знаютъ, что дѣлать. Съ утра было сѣро и вѣтрено. Послѣ полудня воздухъ прояснился, облачное небо посинѣло, блѣдно-желтымъ пятномъ обозначилось солнце; снѣгъ сталъ ярче и желтѣе, поземка струйками закурилась на гребняхъ сугробовъ, подхватываясь и развѣваясь бѣлой пылью, криво понеслись по вѣтру галки. Проѣзжіи мужикъ повязалъ уши платкомъ, сталъ на колѣни и погналъ лошадь. Розвальни бѣжали, разрывая переносы сухого снѣга на обмерзлой дорогѣ, постукивая и раскачиваясь...

Скука съ новой силой охватила учителя.

Но вечеромъ, когда онъ пошелъ на заводскую сторону,

онъ неожиданно столкнулся въ Липтваревымъ и совершенно потерялся отъ смущенія.

— Съ праздникомъ!—сказалъ онъ не то галантно, не то въ шутку, неестественно изгибаясь.

Липтваревъ былъ средняго роста, лѣтъ 35-ти, съ простымъ, пріятнымъ лицомъ, съ русою бородкой и ласковыми глазами. На немъ былъ полушубокъ и валенки, на головѣ—барашковая шапка.

— Ахъ, Николай Нилычъ!—сказалъ онъ, встрепенувшись, ласково, какъ будто даже заискивающе.—Здравствуйте, здравствуйте!.. Благодарю васъ... ну, что, какъ вы, не соскучились?

— Пока еще нѣтъ,—отвѣтилъ Турбинъ, краснѣя и сляясь вложить въ каждое слово не то что-то особенное, не то проницательное.

— Да, да...

Постояли, помялись.

— Ну, такъ увидимся? До завтра?

Турбинъ опять не то галантно, не то комически раскланялся.

Домой онъ шелъ очень быстро. Какъ быть, гдѣ взять крахмальную рубашку? Въ вышитой положительно невозможно!..

А вечеромъ онъ долго зашивалъ съ великимъ трудомъ задникъ сапога нитками и замазывалъ ихъ чернилами, и лицо его въ этотъ вечеръ было такое доброе, открытое и веселое. Праздникъ уже рисовался ему вереницей шумныхъ вечеровъ, въ обществѣ умныхъ и живыхъ людей, въ новой, свѣтлой обстановкѣ...

XII.

Но настало утро, и начались хлопоты!

Все утро онъ быстро ходилъ по комнатамъ въ одномъ бѣльѣ, умывался, нѣсколько разъ принимался чистить

сапоги, пачкалъ и опять мылъ руки и все думалъ о рубашкѣ.

— Ничего не придумаешь!—говорилъ онъ, останавливаясь среди комнаты.—Послать къ Слѣпушкину? Немыслимо! Начнуть судить, рядить... дойдемъ до Липтварева... Гадость!

Но нѣчто подобное случилось.

Около полудня къ крыльцу школы подлетѣла рыженькая тройка Кондрата Семеныча. Съ мороза его лицо было особенно свѣжо и темно-красно. Подбородокъ былъ выбритъ, усы чернѣли ярко и лихо. На немъ была сюртучная пара; въ передней онъ сбросилъ енотовую шубу. Коренастый, приземистый,—объ дорожку не расшибешь, что называется,—бойко прихрамывая, онъ быстро вошелъ къ Турбину, крѣпко поцѣловался съ нимъ, причѣмъ на Турбина пахло морозной свѣжестью и запахомъ закуски, и тотчасъ принялъ живѣйшее участіе въ заботахъ о его нарядѣ.

— Валяй, братъ, валяй смѣлѣй!

Турбинъ, хотя и относился къ Кондрату Семенычу, какъ къ человѣку пустому, однако, зная, что Кондратъ Семенычъ „бывалъ въ обществѣ“ и можетъ подать много совѣтовъ.

— Какъ валять-то?—говорилъ онъ, сдерживая улыбку.—Тутъ такая неприятная исторія! Рубашки крахмальной нѣтъ!

Кондратъ Семенычъ качнулъ головой.

— Это, братъ, скверно. Въ вышитой явиться въ первый разъ въ домъ—нахальство!

Глазки его сверкнули, и, не выдержавъ, онъ залился самымъ заразительнымъ смѣхомъ.

— Ну, такъ какъ же?—говорилъ Турбинъ растерянно.

— Ни черта,—сказалъ Кондратъ Семенычъ.— Не робѣй!

И, отворивъ форточку, онъ своимъ хриплымъ, охотничьимъ голосомъ гаркнулъ:

— Васька! Домой валяй! Духомъ доставь рубашку крахмальную... въ сундукъ, подь лѣтней поддевкой...

Пока Василій ъздилъ за рубашкой, Кондрать Семенычъ рассказывалъ, гдѣ онъ успѣлъ уже побывать, и съ улыбкой сатира выгацилъ изъ рукава шубы бутылку водки.

— Хвати для храбрости! Хочешь? — говорилъ онъ, обивая сюргучъ съ горлышка.

— Ну, ужь нѣтъ!

— Что? — думаешь пахнуть будетъ? Ни капельки. Только чаемъ зажуи. А впрочемъ — чортъ съ тобой. Нѣтъ-ли чашечки?

Выпивши и закусивши кренделемъ, Кондрать Семенычъ заговорилъ совершенно серьезно:

— Ты, братъ, себя поразвянѣй держи, посвободнѣе. А то вѣдь будешь сидѣть, какъ кнутъ проглотилъ.

— А какъ брюки—ничего?—спрашивалъ Турбинъ.

Кондрать Семенычъ оглядѣлъ ихъ съ полной добро-совестностью и подумалъ.

— Сойдетъ!—сказалъ онъ рѣшительно, — за милую душу сойдетъ. Только вотъ—смяты немного. Снимай, давай разгладимъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, пустякъ,—бормоталъ Турбинъ, густо краснѣя.

— Ну, какъ знаешь.

Кондрать Семенычъ легъ на постель и вполголоса заплѣлъ:

Вода—для рыбы, раковъ,

Вино—для женщинъ и мужчинъ,

А мы, герои, водку пьемъ!

Въ это время Васька внесъ рубашку. Но едва Турбинъ надѣлъ ее, Кондрать Семенычъ такъ и покатился со смѣху.

— Нѣтъ... Не срамись!—хрипѣлъ онъ, задирая ее на голову Турбина,—не годится!

Правда, рубашка не годилась. Накрахмалена она была плохо—вся была какая-то грязно-синяя,—и воротъ былъ слишкомъ широкъ для Турбина.

— Декольте!—повторялъ Кондрать Семенычъ сквозь смѣхъ.

Турбинъ снова покраснѣлъ и даже запотѣлъ отъ злобы.

— Я вамъ не шутъ гороховый!—крикнулъ онъ бѣшено.

Тогда, въ свою очередь, почувствовалъ себя неловко Кондрать Семенычъ.

— Да за что жъ серчаешь-то? — заговорилъ онъ растерянно.—Самъ тонокъ, какъ шесть... хоть грачей доставать, а на меня серчаешь... Да я, наконецъ, ей-Богу отъ души сказалъ... Ну, хочешь—достану?

— Не понимаю—гдѣ?—глядя въ сторону, пробормоталъ Турбинъ.

— Да ужь это мое дѣло. Ну, хочешь?

И, не дожидаясь отвѣта, хлопнулъ дверью, накинулъ шубу и выскочилъ на крыльцо.

— Пошелъ!

Рыженькая троечка подхватила подь гору. Турбинъ бросился къ дверямъ.

— Кондрать Семенычъ! Кондрать Семенычъ!—вопилъ онъ отчаянно.

Кондрать Семенычъ только рукой махнулъ.

— Это Богъ знаетъ что такое!—сказалъ Турбинъ, входя въ комнату.—Это значить, всему заводу будетъ известно!.. Ахъ, ты, Господи! Что тутъ дѣлать прикажете?..

Однако, когда Кондрать Семенычъ черезъ десять минутъ явился обратно и привезъ съ собой Таубкина и его крахмальную рубашку, когда Таубкинъ самымъ душевнымъ тономъ сталъ просить „не беспокоиться“ и когда рубашка оказалась какъ разъ впору, Турбинъ, весь красный отъ волненія, началъ улыбаться.

— Что вы беспокоитесь?—говорилъ Таубкинъ фаль-

цетомъ.—Зачѣмъ? Что такое? Развѣ я не понимаю? Конечно, это останется между нами. Хотите мои часы?

Турбинъ отказывался. Кондрать Семенычъ преувеличенно расхваливалъ его костюмъ. Однако, всѣ трое по-чему-то ни слова не говорили о Линтваревѣ.

Уже въ сумерки Турбинъ былъ готовъ. Онъ повеселѣлъ, хотя и чувствовалъ себя наряженнымъ и точно связаннымъ. Въ ожиданіи онъ садился то на одинъ, то на другой стулъ.

— Вы къ самому Линтвареву?—вдругъ спросилъ Таубкинъ, какъ будто вскользь.

— Да, то-есть, такъ... по дѣлу отчасти.

— Такъ вамъ, пожалуй, пора.

Турбинъ уже давно думалъ про это. „Пожалуй, что и правда пора,—соображалъ онъ,—что-жъ, къ шапочному разбору-то придти? Только хозяевъ въ неловкое положеніе поставишь“...

— А который часъ?

— Четверть седьмого.

— Ну, братъ, вали!—подхватилъ и Кондрать Семенычъ.

— Пожалуй,—согласился Турбинъ, медленно подымаясь.

Напѣвая, Кондрать Семенычъ накинулъ на себя свою енотовую шубу и осмотрѣлъ пальто Турбина.

— Молодецъ!—сказалъ онъ, смѣясь одними глазами.— Хочешь, подвезу?

Турбинъ заторопился отказаться.

— Ну, чортъ съ тобой! Ыдемъ.

Онъ сунулся лицомъ къ лицу Турбина для поцѣлуя, ввалился въ сани рядомъ съ Таубкинымъ и крикнулъ:

— Обрати посерьезнѣй вниманіе на Линтварику. Хороша, анаѣма!

XIII.

Уже подходя къ аллеѣ передъ Линтваревскимъ домомъ, Турбинъ вдругъ оробѣлъ, оглянулся и поспѣшно зашагалъ опять подъ гору. „Рано, рано, немислимо такъ рано!“...

Волнуясь, онъ поспѣшно, словно по дѣлу, дошелъ до моста и опять оглянулся. Вотъ будетъ скверно, если видѣли, что онъ приходилъ! Но никого не было кругомъ. Только на деревнѣ горланили на „улицѣ“ дѣвки. Изъ дома черезъ аллею загадочно свѣтились окна. Что тамъ, въ домѣ? Начался вечеръ или нѣтъ? И кто тамъ, и что дѣлаютъ? А обстановка? „Небось, люстры, паркетъ, бархатъ, семейные портреты“...—думалъ Николай Нилычъ, прикрывая глаза и дѣлая важное лицо.—И въ то же время въ головѣ его мелькало: „вотъ отсчитаю сто... нѣтъ, двѣсти и тогда пойду“.

Вдругъ по мосту послышался скрипъ шаговъ. Турбинъ быстро повернулся и, не оглядываясь, почти побѣжалъ по аллеѣ. Не думая, онъ быстро растворилъ дверь, шагнулъ черезъ всѣ три ступеньки въ сѣняхъ и сталъ шарить по притолкѣ звонка. Но въ дверяхъ щелкнулъ замокъ, и горничная, красивая и нарядная, появилась на порогѣ.

— Павелъ Андреевичъ дома?—спросилъ учитель, снимая шапку.

— Пожалуйте-сь.

Горничная помогала ему снять пальто и торопливо пошла по комнатамъ. Какъ въ туманѣ, Турбинъ увидалъ большой свѣтлый залъ, открытый, блестящій чернымъ деревомъ рояль, тонкіе, тоже чернаго дерева, стулья, тропическія растенія... Поразили его только шпирочки около нихъ изъ матоваго стекла, расписанныя странной,

китайской живописью; все остальное показалось ему черзурь просто. Залъ выглядывалъ вовсе не парадной, торжественной комнатою; царилъ въ немъ даже безпорядокъ жилой комнаты: стулья стояли вразбросъ, на одномъ столикъ лежала какая-то женская работа. Цапая ногтями по паркету, изъ столовой выбѣжала щеголевато-тонкая собачка, а за нею быстро вышелъ Липтваревъ.

— Имѣю честь поздравить!—сказалъ Турбинъ и въ смущеніи вынулъ носовой платокъ.

Предупредительно ласково Липтваревъ пожалъ ему руку.

— Милости просимъ, милости просимъ!..

И, пропуская Турбина впередъ, онъ повелъ его въ столовую.

— А, Николай Нилычъ!—сказала Надежда Константиновна такъ, словно давно ждала его.

Турбинъ расшаркался, оглянулся.

— Николай Нилычъ Турбинъ... Г-нъ Турбинъ...—поспѣшно говорилъ хозяинъ.

Молодой, свѣжій и красивый флотскій офицеръ всталъ быстро и поклонился съ преувеличенной вѣжливостью. Невысокій, худощаво-широкоплечій, съ обвѣтреннымъ, ивородческаго типа лицомъ докторъ пожалъ ему руку просто и безъ улыбки. Пожилой солидный господинъ, не вставая, сдержанно-вѣжливо наклонилъ голову.

— Присаживайтесь-ка!—сказала хозяйка опять такъ, словно хотѣла сказать: „ну, наконецъ-то, вотъ теперь все пойдетъ прекрасно“.

Турбинъ сѣлъ, вытеръ платкомъ лобъ, все еще глядя словно черезъ воду. То, что одинъ изъ гостей не подалъ ему руки, заставило его ощутить почти физическую боль въ сердцѣ. Теперь онъ выглядывалъ чело-вѣкомъ, который пробѣжался подъ горячимъ, душливымъ зноемъ.

— Николай Нилычъ, вамъ сколько кусковъ сахару?—

обратилась къ нему хозяйка снова съ предупредительной улыбкой.

Турбинъ встрепенулся.

— Я бы попросилъ безъ сахару,—сказалъ онъ.

И онъ взялъ стаканъ, замирая отъ страха повалить его на скатерть или прикоснуться руками къ рукамъ Надежды Константиновны. Такъ какъ общій разговоръ на минуту прервался, то она продолжала:

— Ну, что, какъ ваша школа?

— Ничего, прекрасно,—отвѣтилъ Турбинъ, и его голосъ ему показался чужимъ и слишкомъ громкимъ.

— А въ Можаровкѣ вы на всѣ святки остались?—заботливо прибавилъ хозяинъ.

— Да, ужъ нынѣшній годъ думаю... рѣшилъ такъ, что не ѣздить лучше.

— Да?

Липтваревъ наклонилъ голову, словно приятно изумился. Затѣмъ торопливо, съ виноватой улыбкой—по необходимости, моль—обернулся къ сосѣду:

— И вы въ Вѣнѣ пробыли, значить, только дней десять?

И улыбкой пригласилъ учителя къ общему разговору.

Разговоръ оживился. Стараясь держаться свободнѣе, Турбинъ сталъ осматриваться.

XIV.

Тотъ, что не подалъ руки Турбину, Константинъ Павловичъ Беклемишевъ, былъ богатый помѣщикъ, членъ правленія N—скаго частнаго банка и видный чело-вѣкъ въ земствѣ. Липтваревъ часто за глаза подшучивалъ надъ Беклемишевымъ, какъ и надъ всѣми знакомыми, но въ сущности чувствовать къ нему большое уваженіе: Беклемишевъ умѣлъ производить впечатлѣніе. Онъ былъ невысокаго роста, плотенъ, но изященъ, родовитъ, съ

матовымъ цвѣтомъ моложаваго лица, хотя уже сѣдъ. Держался онъ всегда съ удивительнымъ хладнокровіемъ. Въ собраніяхъ, пока остальные гласные, какъ перепела, перебывали другъ друга, одни стараясь говорить чрезвычайно просто, по-домашнему, „практически-съ“, а другіе съ претензіями на литературную рѣчь въ приподнятомъ тонѣ,—Беклемишевъ спокойно курилъ, а когда говорилъ,—всегда послѣ всѣхъ,—то говорилъ очень сдержанно, дѣльно и серьезно, и эта дѣловитость всѣхъ побѣждала. И теперь такъ же просто и спокойно онъ сидѣлъ у Линтварева и, покуривая, рассказывалъ... Турбинъ старался не глядѣть на него.

Земскій докторъ держался тоже съ достоинствомъ, но просто, и его черемисское лицо и взгляды сквозь очки между быстрыми глотками чая не страшили учителя. Родственницы хозяйки, княжны Трипольскія, часто вставляли свои замѣчанія въ рассказъ Беклемишева лѣтливо-красивымъ тономъ. Ихъ Турбинъ уже видѣлъ нѣсколько разъ осенью, когда онъ амазонками проѣзжали по селу кататься. И у священника, и у лавочника заводились тогда безконечные разговоры о нихъ. Отъ стараго повара всѣ знали, что княжны очень богаты. живутъ то въ Петербургѣ, то въ своемъ имѣніи, то гостять у Линтварева, а больше всего—за границей.

— Что-жъ имъ? Катайся въ свое удовольствіе да и только!—говорилъ про нихъ лавочникъ съ умиленіемъ.

Но, кажется, удовольствія княжны особеннаго не испытывали. Старшая, изящная, но некрасивая, поблекшая, жила на свѣтѣ почти машинально, хотя и безъ скуки: жизнь наполнялась переѣздами. Младшая была молода, красива, но скучала и граціозничала своей скукой; улыбалась она такъ, какъ будто гримасничала, но гримаса выходила красивой и милой. Обѣ уже побывали на курсахъ и держали себя не какъ княжны.

Когда о Турбинѣ забыли, онъ успокоился и только чувствовалъ себя какъ-то странно хорошо въ этой новой

обстановкѣ, среди легко развивающагося разговора, сидя около хозяйки, похожей на красивую англійскую леди: такихъ изящныхъ чертъ лица, такой чистоты и нѣжности матовой кожи онъ еще никогда не видывалъ. А когда онъ вставалъ, такъ было легко и пріятно отодвигать тонкій красивый стулъ, ходить по паркету, въ этой просторной столовой, ярко озаренной большой лампой надъ столомъ, видѣть блескъ серебрянаго самовара и посуды изъ тончайшаго стекла. Было, правда, одно очень непріятное обстоятельство: во время рассказа Беклемишева Турбинъ, не зная, что дѣлать, наклонился и поймалъ собачку; но та, какъ стальная, выскочила изъ рукъ и при этомъ такъ пронзительно взвизгнула, что хозяйка схватилась за високъ и всѣ восторженно обратили на него глаза, и Турбинъ готовъ былъ провалиться сквозь землю отъ смущенія. Но сама же хозяйка и сумѣла замаять эту исторію и такъ непринужденно, словно ничего и не было, обратилась къ нему: „Николай Нилычъ, вы позволите еще чаю?“, что онъ ободрился и смогъ очень ловко отвѣтить: „нѣтъ, merci... достаточно уже!“.

Онъ выпилъ два стакана, наслаждаясь ароматомъ рома, который съ тихой лаской подливалъ ему въ чай хозяинъ, и отъ рому оживился, почувствовалъ смѣлость и вѣрную упругость въ ногахъ. Онъ даже не смутился, когда пріѣхало еще нѣсколько человѣкъ гостей: красивая, полная вдова-помѣщица съ завитой головой, съ горящими отъ мороза ушками, старикъ помѣщикъ, который немножко рисовался простотой, но котораго всѣ любили за эту простоту и тотчасъ окружили съ веселыми улыбками, еврей-инженеръ, сухой, черненькій, подвижной, въ родѣ той собачки, которую поймалъ Турбинъ, и, наконецъ, членъ суда, такой чистый, какъ всѣ судейскіе, свободный и веселый острякъ, дѣлавшій умные, насмѣшливые глаза. Онъ, какъ дома, прошелъ по всѣмъ комнатамъ и, сѣвши за рояль, началъ брать бурные аккорды.

Говорили о театрѣ. Трипольскія съ восторгомъ разсказывали объ игрѣ Заньковецкой въ Петербургѣ, объ оперѣ „Кармень“, бранили Мазини, хвалили Фигнера... разсказывали про своихъ знакомыхъ, про Толстого, про поэта Надсона. Какъ будто желая описать, какой онъ милый и больной человекъ, княжны разсказали, что онъ у нихъ былъ въ гостяхъ. а потомъ онъ его навѣстили въ Ниццѣ. Членъ суда декламировалъ пародіи Буренина на Надсоновскіе стихи. Потомъ разговоръ разбился—въ одномъ мѣстѣ слышались имена знакомыхъ, въ другомъ все еще Мазини и Фигнера. Учитель, изгибаясь и покачиваясь, подходилъ то къ одной, то къ другой группѣ и все время былъ въ напряженномъ состояніи отъ желанія хоть что-нибудь сказать. Но все разговоръ шелъ о неизвѣстномъ, и онъ молчалъ или смѣялся сдержанно и не искренно, когда смѣялись другіе.

— А вы все о своемъ профессиональномъ образованіи?—сказалъ онъ, наконецъ, подходя къ разговаривавшимъ въ столовой Линтвареву и Беклемишеву.

Беклемишевъ тихо поднялъ на него глаза.

— Нѣтъ, почему же...—сказалъ Линтваревъ, улыбаясь.

Турбинъ, тоже улыбаясь, поднялся на носки, отчего сталъ еще выше, опустилсѣ и продолжалъ:

— Вы хотите, какъ я слышалъ, такъ серьезно имъ заняться?

Отъ неловкости Турбинъ подчеркивалъ слова, и ихъ можно было принять за насмѣшку. Особенно нехорошо ему было отъ пристального и спокойнаго взгляда Беклемишева. Но все-таки онъ присѣлъ къ столу, предварительно посмотрѣвъ на стулъ и раздвинувъ полы сюртука, разставивъ острыми углами свои тонкія ноги и, поставивъ локоть на колѣно, сталъ пощипывать кончики своихъ жидкихъ бѣлесыхъ усовъ.

— Меня, по правдѣ сказать, очень интересуеъ этотъ

вопросъ,—сказать онъ, помолчавъ, какъ-то внезапно.— Я, конечно, говорю искренно...

— Съ какой же именно стороны васъ интересуеъ?—спросилъ Беклемишевъ.

— Т.-е. какъ съ какой стороны? Вообще... въ примѣненіи его въ жизни.

Беклемишевъ поставилъ руки на столъ и, соединяя ладони, смотрѣлъ, ровнѣ ли приходятся пальцы одинъ къ другому. Линтваревъ старательно набивалъ машинкой папирсы.

— Я читалъ,—продолжалъ Турбинъ уже съ усиленіемъ,—недавно въ одной газеткѣ про книжицу какого то Весселя о профессиональномъ образованіи... Меня собственно удивило, что къ его мыслямъ, очевидно, многіе относятся враждебно: напримѣръ, директоръ ремесленнаго училища Цесаревича Николая... Мнѣ кажется, что тутъ есть несправедливость... Онъ говоритъ, напримѣръ, что школа собственно несомѣстима съ мастерской...

— Т.-е. это,—мягко перебилъ Линтваревъ,—Песталлоци мнѣніе, а Вессель, хотя и...

— Ну, да, и Песталлоци,—перебилъ, въ свою очередь, Турбинъ, и уже въ немъ загорѣлось желаніе спорить.—Только, по моему мнѣнію, это и понятно... Позвольте... Когда мнѣ, позвольте спросить, обучать своего какого-либо мальчика мастерить разныя бездѣлушки, когда онъ самъ, въ своемъ быту, такъ сказать...

— Зачѣмъ же непременно бездѣлушки?

Турбинъ весело и ласково улыбнулся.

— Мнѣ собственно это все представляется какъ бы игрушками... Мнѣ трудно это объяснить, но все эти затѣи... говорятъ, подпорье хозяйству... но вѣдь смѣшно подпирать то, что разваливается окончательно... да и не соотвѣтствуетъ это все духу нашего народа, истатаго земледѣльца... А учить его, напримѣръ, дѣлать плетушки...

— Ну, да, ученаго учить только портить,—насмѣшливо сказалъ Беклемишевъ.

Турбинъ взглянулъ на него, и хотѣлъ продолжать, чтобы сказать, что онъ думаетъ, болѣе ясно и связно. Но Беклемишевъ, какъ бы забывъ о его присутствіи, тихо и спокойно промолвилъ Линтвареву:

— Да, такъ я думаю, что это еще гадательно: князь слишкомъ глупъ для этого, а Горницкій—юнь.

Линтваревъ виновато посмотрѣлъ на Турбина. Турбинъ смолкъ. Теперь ему хотѣлось одного—поскорѣе уйти изъ столовой. Но встать сразу было неловко.

— А я все хотѣлъ попросить у васъ какой-либо книжицы изъ вашей библіотеки.—сказалъ онъ, наконецъ, подымаясь.

— Съ величайшимъ удовольствіемъ,—поспѣшилъ отвѣтить Линтваревъ.

Турбинъ всталъ и медленно прошелся по столовой. Онъ долго стоялъ передъ каминомъ, а потомъ разсматривалъ большой портретъ Толстого, писанный масляными красками. Но ему уже было не по себѣ. Музыка въ залѣ ударила ему по сердцу какъ-то болѣзненно. И, пользуясь предлогомъ, что онъ идетъ слушать, онъ поспѣшно вышелъ въ залу.

XV.

Взволнованный онъ долго сидѣлъ, не понимая, что играютъ. Игралъ членъ суда.

— Что это?—спросилъ сидѣвшій около него старикъ помѣщикъ, обращаясь къ хозяйкѣ.

— Соната Грига. Вы не знаете?..

— Десять лѣтъ не игралъ,—сказалъ помѣщикъ со вздохомъ,—а хорошо!

— Чудно!—подтвердила хозяйка.

Музыка Грига рѣшительно не нравилась Турбину.

Звуки лились вычурно, быстро и не трогали его сердца. Онъ чувствовалъ, что она также чужда ему, какъ все общество, окружавшее его. Съ начала вечера онъ все ждалъ чего-то, напряженно ждалъ, что будетъ что-то хорошее. Теперь это чувство ослабѣло. Онъ думалъ, что надо идти домой, что никому онъ не нуженъ. Никто даже и не понтересовался имъ, не поговорилъ, чтобы узнать, что онъ за человѣкъ. Даже хозяинъ только предупредительно, безыкоино вѣжливо съ нимъ... И по мѣрѣ того, какъ переливались и возрастали звуки сонаты Грига, на душѣ у него становилось все скучнѣе и холоднѣе.

Но музыка смолкла. „Посижу еще, послушаю немного и уйду“, рѣшилъ Турбинъ. Но поднялся разговоръ о Григѣ. Старикъ-помѣщикъ добродушно-насмѣшливо покачивалъ головой. „Хорошо, а не забирачиваетъ“, говорилъ онъ. Членъ суда горячился, доказывая, что „Григъ великолѣпенъ“.

— А его симфоніи?—кричалъ въ восхищеніи,—а Peer Gynt? Это чудо искусства!

— Кто такой этотъ Peer Gynt?—спросилъ старикъ.

— Полноте, Сергѣй Львовичъ!—сказалъ членъ суда.

— Что? Богъ свидѣтель, не знаю.

— Но вѣдь вы, конечно, знаете, что Edward Grig—норвежскій композиторъ, что особенно знамениты его сонаты, баллады, музыка къ драматической поэмѣ Ибсена Peer Gynt?..

— А что это за штука Peer Gynt-то?—повторилъ Сергѣй Львовичъ.

Членъ суда смутился.

— Имя героя,—сказалъ онъ и сейчасъ же поспѣшилъ заиграть. Раздумчиво улыбаясь, онъ тихо началъ „Бѣлыя ночи“ Чайковскаго:

Какая ночь! На всея какая нѣга!

Благодарю, родной, ползочный край!

Турбинъ не зналъ ни этихъ словъ, ни Чайковского; но, при первыхъ же чистыхъ, поэтическихъ звукахъ мелодіи, у него дрогнуло сердце: что-то нѣжно-призывающее было въ нихъ; а когда эти зовущіе звуки опредѣлились въ томительно-грустные, Турбину захотѣлось заплакать отъ сладкой боли въ душѣ. Мысленно онъ сидѣлъ теперь одиноко, въ своей комнатѣ, и что-то воскрешало въ лучшія его воспоминанія, раскрывало и призывало его сердце къ чему-то давно забытому и хорошему, какъ первая любовь. Такъ жалко ему стало самого себя, такимъ просвѣтленнымъ чувствовалъ онъ себя въ эти минуты!

Когда рояль стихъ, всѣ помолчали. Турбинъ всталъ и подошелъ къ нему. Ему хотѣлось еще музыки, но онъ не зналъ, что назвать. Онъ подумалъ о „Молитвѣ дѣвы“... но это было какъ-то неловко сказать.

— Будьте добры, сыграйте еще чтонибудь,—обратился онъ, наконецъ, застѣнчиво къ члену суда.

— Что же?—спросилъ тотъ, перебирая ноты.

— Что-нибудь Бетховена.

— А Григъ вамъ не нравится?

— Нѣтъ.

Членъ суда посмотрѣлъ на него внимательно и сдѣлалъ насмѣшливые глаза.

— Сонату?—спросилъ онъ.

Турбинъ въ смущеніи качнулъ станомъ.

— Да, сонату...

— Какую же?

— Все равно... — пробормоталъ Турбинъ, чувствуя, что надъ нимъ смѣются.

— Можно!

Членъ суда быстро порывъ въ нотахъ, поставилъ одну тетрадь на пюпитръ и смѣло заигралъ: „Не искушай меня безъ нужды“... Турбинъ вспыхнулъ... а наклонившись, прочелъ: „Neuvième symphonie“.

— Вы...—едва выговорилъ онъ какъ можно громче

и почувствовалъ, что вся голова его похолодѣла отъ волненія,—вы... собственно... къ чему же это?..

— Что такое?—спросилъ членъ суда, опуская руки.

— Ну, и правда, къ чему же это, Василий Ананьевичъ?—сказалъ хозяинъ.

Но членъ суда уже сообразилъ, что поступилъ неосторожно.

— Виновать!..—заговорилъ онъ растерянно:—я только сейчасъ самъ понялъ, въ чемъ дѣло. Честное слово, я не хотѣлъ шутить надъ ними... Я такъ разсѣянъ, что забылъ ихъ просьбу и то, что развернулъ... Въ такомъ случаѣ, я вполне извиняюсь...

— И я...—пробормоталъ Турбинъ, отходя отъ рояля.

— Ну, да эту матерію можно оставить!—сказалъ старикъ-помѣщикъ и, немного погодя, подѣвши къ Турбину, такъ просто и мягко началъ разговоръ, что Турбинъ повеселѣлъ и отвѣчалъ уже безъ всякаго стѣсненія. Шопотомъ, улыбаясь своими добрыми сѣрыми глазами, Сергѣй Львовичъ говорилъ про все съ удивительно своеобразнымъ и милымъ юморомъ и очень заинтересовался, узнавъ, что Турбинъ играетъ на гитарѣ. Уединясь въ столовую, гдѣ уже шли приготовленія къ ужину, Турбинъ долго игралъ для Сергѣя Львовича русскія пѣсни.

— Вы, пожалуйста, ко мнѣ пріѣзжайте,—сказалъ подъ конецъ Сергѣй Львовичъ,—я за вами лошадей пришлю подъ новый годъ. Идетъ?

— Идетъ,—отвѣчалъ Турбинъ весело.

Услыхавъ гитару, пришелъ хозяинъ и сталъ звать его въ залъ, сыграть для всѣхъ. Многіе присоединились къ этой просьбѣ и, освѣженный разговоромъ съ Сергѣемъ Львовичемъ, Турбинъ не отвѣкивался. Но тутъ позвали къ закускѣ. Турбинъ настроилъ себя чинно и шелъ къ столу медленнѣе всѣхъ.

Хозяинъ особенно хвалилъ и предлагалъ селедку. Членъ суда, съ видомъ знатока, попробовалъ ее и на-

шелъ „геніальной“. Сергѣй Львовичъ переглянулся съ Турбинымъ. И отъ этого Турбину стало еще веселѣе.

— Николай Нилыч! Водки?—сказалъ хозяинъ.

— Можно.

— Хинной или простой?

— Хинной, такъ хинной.

— Такъ будьте добры—распоряжайтесь сами.

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, пожалуйста!

Около стола тѣснились, оживленно переговаривались. Съ тарелкою въ рукахъ Турбинъ долго стоялъ въ концѣ всѣхъ. Онъ не обѣдалъ и поэтому съ удовольствіемъ выпилъ рюмку водки, погнался вилокъ за ускользящимъ грибокъ и ограничился на первое время пирогомъ. Послѣ первой же рюмки онъ почувствовалъ легкій хмѣль, очень захотѣлъ ѣсть и долго, поглядывая искоса и стараясь не торопиться, ѣлъ однихъ омаровъ. Членъ суда уже дружески предлагалъ ему выпить съ нимъ, и учитель выпилъ еще рюмку простой водки. И водка, и дружескій тонъ члена суда совсѣмъ размягчили его.

Первыя минуты опьяненія онъ чувствовалъ себя такъ же, какъ въ самомъ началѣ вечера: какъ сквозь воду видѣлъ блескъ огней и посуды, лица гостей, слышалъ говоръ и смѣхъ, чувствовалъ, что теряетъ способность управлять словами и движеніями тѣла, хотя сознавалъ еще все ясно. Раскраснѣвшееся, потное лицо затягивало словно паутиной; въ головѣ слегка шумѣло. Но все-таки онъ старался оглядываться смѣло и весело своими томными глазами. Въѣсть съ тѣмъ, ему было жарко. Когда же Линтваревъ (Турбину казалось, что и Линтваревъ запьянѣлъ) взялъ его подъ руку и повелъ къ столу ужинать, онъ почувствовалъ себя такимъ большимъ и неловкимъ.

— Не выпьемъ-ли еще по единой передъ сигомъ?—сказалъ ему членъ суда.

— Блаженный Теодоритъ велитъ повторить,—отвѣчалъ Турбинъ со смѣхомъ.

— Repeticio est mater studiorum. Не такъ ли?—промолвилъ съ другого конца стола флотскій офицеръ, явно поддѣлываясь подъ семинарскую рѣчь.

Турбинъ понялъ это и вызывающе поглядѣлъ на офицера.—Ну, и чортъ съ тобой!—подумалъ онъ и, усмѣхаясь, крикнулъ:

— Optime!

Членъ суда поспѣшилъ налить. Хозяйка какъ будто вскользя, но значительно поглядѣла на него. И это Турбинъ замѣтилъ, но никакъ не могъ обидѣться: такъ просто и тепло стало у него на душѣ.

— Да и послѣдняя!—сказалъ онъ, выпивая рюмку и махая рукой.—Я и такъ мокрый, какъ мышь.

Удерживаясь отъ смѣха, младшая княжна зажала ротъ платкомъ. Турбинъ поглядѣлъ на тонкій профиль ея молодого личика, на приподнятую верхнюю губку и смѣющіеся глаза, и сердце его такъ и запрыгало. Такою молодостью вѣяло отъ нея, такъ были хороши темныя кудри надъ ея матовымъ лбомъ.

Ужинъ, какъ показалось Турбину, прошелъ чрезвычайно быстро. Онъ запомнилъ только, что ѣлъ горячій ростбифъ, при чемъ сои огнемъ охватили ему ротъ, съѣлъ кусокъ тетерки, пилъ мадеру и лафитъ и плохо соображалъ, о чемъ идетъ говоръ. На его счастье Беклемишевъ куда-то скрылся. „Вѣрно, въ карты дуется“,—думалъ Турбинъ.

За масседуаномъ подали шампанское (былъ день рожденія хозяйки), и, дождавшись своего бокала, Турбинъ быстро всталъ и оглушительно крикнулъ „ура!“ Но за оживленіемъ на это не обратили особеннаго вниманія. Всѣ столпились въ кучу, поздравляя хозяйку и самого Линтварева. Линтваревъ, съ бокаломъ въ одной рукѣ, прижималъ другую къ сердцу и старался казаться и тронутымъ, и шутливымъ.

— Ура!—крикнулъ еще разъ Турбинъ, но уже потише и улыбнулся слабой, жалкой улыбкой.

— Не стойте! — шепнул докторъ, сжимая ему локоть.

— Ну, не надо...

И улыбаясь, Турбинъ медленно пошелъ въ залъ. Теперь онъ уже освоился съ тѣмъ, что не можетъ управлять собою.

XVI.

Послѣ ужина оживились всѣ. Лакей разносилъ чай, предложенный хозяиномъ. „Люблю, грѣшный человѣкъ!“ — говорилъ онъ. — „Господа, кто желаетъ китайскаго зелья?“ Всѣ приняли это предложеніе съ шумными одобреніями, какъ на земскихъ собраніяхъ: „Просимъ, просимъ!“

— Отклоните! — крикнулъ Сергѣй Львовичъ среди общаго смѣха.

— Сергѣя Львовича сыграть просимъ! — крикнулъ хозяинъ.

— Благодарю, господа, я чувствую себя слишкомъ утомленнымъ, — отнѣкивался Сергѣй Львовичъ, продолжая пародировать гласныхъ. Но тутъ поднялся такой шумъ и крикъ, что отказываться было невозможно.

— Просимъ! — крикнулъ Турбинъ уже послѣ всѣхъ.

Ему самому хотѣлось схватить гитару и залиться какой-нибудь удалой пѣсней.

— Давненько я не бралъ въ руки шашекъ! — говорилъ Сергѣй Львовичъ, кряхтя и усаживаясь за рояль.

Когда же онъ заигралъ, всѣ затаили дыханіе. Онъ игралъ сильно, чисто и чрезвычайно мягко. Лицо его стало молодо, задумчиво; играя Шопена, онъ опустил голову и только по той порывистой нѣжности и силѣ, съ которой онъ бралъ каждую ноту, можно было видѣть, что онъ взволнованъ.

— Сергѣй Львовичъ! Вебера! — сказала членъ суда во время перерыва.

Сергѣй Львовичъ поднялъ брови и подумалъ.

— Нѣтъ, — сказалъ онъ съ улыбкой, — попробуемъ блеснуть техникой. Ну-ка... нѣтъ... вотъ! Да, да, такъ...

— Тарантелла... — шепнулъ флотскій офицеръ. — Николая Рубинштейна?

Членъ суда утвердительно кивнулъ головой.

Изъ медленныхъ, въ которыхъ сказывалась хитрая, сдержанная удалъ, звуки уже превратились въ шумные, быстрые и затрепетали въ какомъ-то дикомъ восторгѣ.

— Что это такое, что? — шепталъ Турбинъ, хватая доктора за руку.

Но тутъ возгласы одобренія заглушили послѣдніе аккорды „Тарантеллы“. Казалось, что если бы танецъ не кончился, можно было бы задохнуться отъ напряженія... Турбинъ хохоталъ нервнымъ смѣхомъ.

— Вотъ это такъ, такъ! — бормоталъ онъ въ восторгѣ.

— А теперь — угодно кадрили? — крикнулъ Сергѣй Львовичъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, — подхватилъ Липтваревъ, — гротесъ-фатеръ!

Подъ церемонные звуки старинной музыки дамы во главѣ съ хозяиномъ и членомъ суда начали комически двигаться, раскланиваясь, но спутались, перемѣнялись и со смѣхомъ остановились.

— Ну, лянсье! — зывалъ хозяинъ.

— Не выйдете!

— Выйдете!

— Кадриль!

Турбинъ тоже порывался танцевать и, сверкая веселыми глазами, быстро оглядывался кругомъ, ища дамы. Когда же раздался звукъ кадрили и флотскій офицеръ устремился къ старшей княжнѣ (впрочемъ, какъ-то полущутя), Турбинъ расшаркался передъ полной вдовой-помѣщицей, которая весь вечеръ сидѣла молча. Она

поглядѣла на него и покачала головой. „Ну, не надо.. все равно!“—подумаль Турбинъ отчаянно и, повернувшись, лихо поклонился младшей княжнѣ.

— А визави?

— Къ вашимъ услугамъ,—сказаль членъ суда подь руку съ хозяйкой.

Торопясь и наталкиваясь на танцующихъ, Турбинъ почти побѣжалъ впередъ съ княжной. Музыка становилась все веселѣе; пары шаркали по полу; запотѣвшій, улыбающійся флотскій офицеръ кричалъ сдержанно-бойко и торопливо:

— *Chaine de dames!.. chaine de messieurs!.. en avant!..*

И, увлекая за собой дамъ и самъ растянутый ими за руки въ разныя стороны, едва успѣвалъ движеніями головы командовать танцующими. Но все-таки въ третьей фигурѣ всѣ перемѣшались и спутались, какъ въ гроесъ-фатерѣ. Отъ этого Турбину стало еще веселѣе. Звукъ четвертой фигуры раздался вдругъ такъ вызывающе, что онъ, уже не слушая криковъ офицера, понесся впередъ съ отчаянной рѣшимостью. Старшая княжна пугливо сторонилась отъ его неловко размахивающейся фигуры. А онъ уже не могъ удержаться: музыка, потребность движенія, веселья, блескъ глазъ княжны, вся ея фигурка въ его большихъ рукахъ—пьянили его все болѣе и болѣе.

— Пятую!—возгласилъ флотскій офицеръ и захопаль въ ладоши.

— Русскую!—крикнулъ членъ суда.

Сергѣй Львовичъ обернулся, весело кивнулъ головой и ударилъ по клавишамъ.

— Русскую!—повторилъ членъ суда и Турбину.

Турбинъ тотчасъ же бросилъ свою даму, отбѣжалъ назадъ, постоялъ мгновение и вдругъ такъ рванулся впередъ, что кругомъ послышался хохотъ. Это ударило ему въ голову горячими парами.

— Сергѣй Львовичъ!—завопилъ онъ,—пожалуйста!.. ту, веселую..

— Тарантеллу?

— Да, да!

И, уже не слушая музыки, безъ всякаго такта, Турбинъ зашаркалъ ногами впередъ, потомъ все быстрѣе, быстрѣе пошелъ мелкой дробью и вдругъ стукнулъ ногами въ паркетъ, подпрыгнулъ и пустилъ руки между ногами, словно разрубилъ что-то со всего размаха.

— Еще!—крикнулъ кто-то насмѣшливо.

Подъ разрастающіеся звуки «Тарантеллы» Турбинъ охотно понесся назадъ, заплетая и размахивая ногами, какъ веслами.

Но—о, ужасъ!—въ двухъ шагахъ отъ него стоялъ отецъ Линтварева: шаркая старческими ногами и подаваясь впередъ, онъ поторопился изъ маленькой гостиной, гдѣ игралъ въ карты, на шумъ въ залъ. Увидавъ пляску, онъ въ изумленіи поднялъ свою сѣдую, большую голову и, приложивъ къ переносицѣ пенса, глядѣлъ прямо въ лицо Турбину удивленными, остановившимися глазами.

Турбинъ качнулся въ сторону и съ жалкой улыбкой махнулъ рукой. Докторъ быстро подошелъ къ нему.

— Поѣдьте, батенька, домой, —сказаль онъ ему строго.

— Нѣтъ, чего же?.. слабо и съ горькой улыбкой отвѣтилъ Турбинъ.—Я еще не хочу.

Лицо его было блѣдно, холодный потъ крупными каплями покрываль лобъ..

— Нельзя, нельзя,—повторилъ докторъ еще строже и, взявъ его подь руку, повелъ въ переднюю.

Турбинъ, приплясывая, покорно пошелъ..

XVII.

Трудно было опредѣлить—спалъ или не спалъ онъ, добравшись домой: до того живы и безпокойны были сновидѣнія. Казалось, что онъ все еще въ гостяхъ: вся обстановка, всѣ лица гостей окружали его; люди двигались, перетасовывались, проходили передъ нимъ какъ въ пантомимѣ, и онъ самъ во всемъ участвовалъ и чувствовалъ, что все выходитъ хорошо и ловко, хотя и безпокоить что-то, спутываетъ все. Турбинъ старался вспомнить, что же это мѣшаетъ и никакъ не могъ, и сновидѣнія возобновлялись, картины, какъ въ панорамѣ, появлялись снова. Утомленный этимъ безпокойнымъ сномъ до послѣдней степени, Турбинъ былъ радъ, когда, наконецъ, открылъ глаза. Дневной свѣтъ совершенно отрезвилъ его, и первое ощущеніе, испытанное Турбинымъ, было удивленіе передъ всѣмъ совершившимся вчера. Да, вѣдь, онъ на самомъ дѣлѣ былъ, этотъ вечеръ! То, что такъ долго ожидалось, уже сбылось и кончилось... А подробности этого вечера...

Стыдъ, жгучій стыдъ до слезъ, до боли пронялъ всю душу Турбина. Онъ стиснулъ зубы, крѣпко прижалъ голову къ подушкѣ. Все внутри трепетало у него отъ возростающаго горькаго чувства.

Вдругъ онъ вскочилъ. Онъ рѣшился переломить себя, задавить всѣ эти воспоминанія. Онъ поспѣшно одѣвался, убиралъ комнату. Въ ногахъ была слабость, но голова не болѣла. Онъ старался дѣлать все какъ можно правильнѣе и серьезнѣе. И въ то же время безпокойно выискивалъ оправданія прошлому вечеру.

— Да что, въ самомъ дѣлѣ?—сказалъ онъ, наконецъ, громко,—что случилось особеннаго-то?.. Да и не увижу я, можетъ быть, больше никогда этого барина...

Отворилась дверь. Увидавъ Павла, Турбинъ сдѣлалъ серьезное и будничное лицо.

— Самоваръ-то ставить, что-ль?—спросилъ Павелъ.

— А почему же не ставить?

— Да то-то, молъ, надо-ли?..

Турбинъ отвернулся и старательно разстилавъ одѣяло. Павелъ помолчалъ, потомъ вдругъ лукаво заглянулъ Турбину въ глаза и, съ просіявшимъ лицомъ, быстрымъ шопотомъ спросилъ:

— Ай слетать къ Ивану Филимонычу?

— Это зачѣмъ?

— За похмѣлочкой?.. а?

— Убирайся ты отъ меня къ шути съ своими бессмысленными глупостями!—закричалъ вдругъ Турбинъ, багровѣя отъ злости.

Послѣ чая онъ лежалъ на кровати. Въ головѣ машинально проходили разныя успокоительныя мысли; иногда мгновенное яркое воспоминаніе о пласкѣ острой болью отзывалось въ сердцѣ. Тогда онъ почти съ яростью начиналъ придумывать самыя оскорбительныя фразы, которыя, вѣроятно, посыпались по его адресу, какъ только онъ вышелъ, въ домъ Линтварева. А на селѣ!.. Съ какими глазами показаться теперь на село?

Однако, онъ заставилъ себя одѣться, и какъ ни въ чемъ не бывало, пошелъ къ дьячку обѣдать. „Знаютъ или нѣтъ?“ думалъ онъ, боязливо глядя на заводскую сторону.

Около лавки онъ постарался идти какъ можно медленно.

— Съ праздникомъ, Иванъ Филимонычъ!—сказалъ онъ, увидя лавочника, стоявшаго около саней съ ящикомъ водки.

Лавочникъ считалъ бутылки, передавая ихъ въ лавку мальчику, но отвѣтилъ Турбину учтиво и поспѣшно

— И васъ также! Милости просимъ.

— Постараюсь.

— Николай Нилыч теперь загордѣлъ,—вдругъ раздался голосъ лавочницы съ крыльца.

Она стояла въ шубѣ, накинутой на плечи, и смотрѣла на Турбина насмѣшливо-пристально. Лавочникъ вдругъ обернулся къ ней съ строгимъ взглядомъ, и по одному этому взгляду Турбинъ понялъ, что все извѣстно, все... и съ замирающимъ сердцемъ поспѣшилъ скрыться въ избѣ дьячка.

Обѣдъ прошелъ спокойно. Но когда Турбинъ уже поднялся изъ-за стола, дьячекъ, глядя въ сторону, сказалъ такъ, словно продолжалъ начатый разговоръ:

— И совсѣмъ не стоило туда ходить. И батюшка тоже говоритъ, и Иванъ Филимонычъ.

Турбина словно ударили чѣмъ-нибудь по головѣ.

— Куда это?—черезъ силу спросилъ онъ.

— Если, гыргъ,—продолжалъ дьячекъ уныло-невозмутимымъ тономъ,—если, гыргъ, съѣсть-спить, такъ и у меня былъ бы сытъ, не попрекнулъ бы кускомъ... Да и правда: не намъ съ вами бывать у такихъ персонъ!

— Ну, да я... я, о. Алексѣй, кажется, самъ не маленький!

Дьячекъ только вздохнулъ. Дрожащими руками Турбинъ нашель скобку и хлопнулъ дверью.

— И прекрасно! И прекрасно!—съ злобной радостью похотывалъ онъ, почти бѣгомъ взбираясь на гору.

ХVIII.

— Дома?—раздался въ передней голосъ Слѣпушкина уже въ сумерки.

Павель отвѣчалъ что-то торопливымъ шопотомъ.

— Ну, ну, не надо; не буди.. Богъ съ нимъ.

Дверь хлопнула, все стихло. Турбинъ лежалъ безъ движенія...

— Очнись!—кричалъ черезъ полчаса Кондратъ Се-

менычъ, со смѣхомъ вваливаясь въ комнату.—Ты, говорятъ, чортъ тебя знаетъ, какихъ штукъ тамъ натворилъ? Какой это ты танецъ своего изобрѣтенія плясалъ?

— Оставьте, пожалуйста, меня въ покоѣ!

— Да нѣтъ, какъ же, братъ,—говорять, вдребезги насадился?

Ухмыляясь, Кондратъ Семенычъ присѣлъ на кровать и продолжалъ уже съ искреннимъ участіемъ, но обращаясь къ Турбину, какъ къ завѣдомому пьяницѣ:

— Гм, братъ, пожалуй, неловко; свинство! Ты бы хоть на первый-то разъ поддержался немного... Надо сходить извиниться. Еще, пожалуй, съ мѣста попрутъ... да, навѣрняка, даже попрутъ!..

А еще черезъ полчаса на столѣ стояла бутылка водки. Турбинъ, уже захмѣлѣвшій, облокотившись на столъ и положивъ голову на руки, сидѣлъ молча.

— Чортъ знаетъ что!—говорилъ Кондратъ Семенычъ,—говорять, тебя за крыльцо выкинули?

— Кто это?

— Что?

— Говорить-то?

— Слѣпушкинъ.

Турбинъ злорадно засмѣялся.

А Кондратъ Семенычъ съ серьезнымъ лицомъ грустно продолжалъ:

— Онъ, братъ, Лиятваревъ-то этотъ, глумился надъ тобой, сукинъ сынъ. Я бы на твоёмъ мѣстѣ ему морду разбилъ. Оплевать, воспользоваться твоей необразованностью!.. Подлю, братъ! Мнѣ тебя отъ души жаль.

Турбинъ вдругъ сморщился, захлопалъ, хотѣлъ что-то сказать, но захлебнулся слезами и только зубами скрипнулъ.

— Ну, вотъ и опять готовъ!—сказалъ Кондратъ Семенычъ съ сожалѣніемъ.—Тебѣ, братъ, стоитъ бросить пить.

— Да не пьянъ я!—закричалъ Турбинъ бѣшено, съ красными, полными слезъ глазами и треснулъ кулакомъ по столу...

XIX.

— Передущу!—крикнулъ Васька, когда рыженькая троечка что есть духу разнеслась въ темнотѣ подь гору, и толпа ребячь и дѣвокъ, какъ стадо овецъ, шарахнулась въ сторону.

Взрывъ хохота и криковъ на время покрылъ звонъ колокольчиковъ; мелькнули огни кабака, раздались пѣсни... Турбина охватило отчаянное чувство смѣлости и веселья.

— Пошелъ!—крикнулъ онъ кучеру.

На полугорѣ сани налетѣли на водовозку, сбили ее въ сторону. Около завода какая-то фигура вынырнула изъ темноты и ввалилась въ сани, на ноги Турбина.

— Митька? Ты?—крикнулъ Кондратъ Семенычъ.

— Ребята гнались,—молчи!

И, на поворотѣ въ село, фигура выпрыгнула изъ саней и опять скрылась въ темнотѣ.

Село все больше и больше оживлялось. Въ избахъ вездѣ свѣтились огни, попадались кучки народа на улицѣ, слышался гамъ, горластыя пѣсни и толкотня пляски. Тамъ и тутъ въ разные тоны «драли» гармоники, и звуки съ бѣшенствомъ перебивали другъ друга. Стономъ стояла и развивалась протяжная «страдательная», и вдругъ ее покрывалъ азартный трепакъ, топотъ ногъ и взвизгиванія...

Турбинъ сидѣлъ какъ во снѣ...

Сперва попали въ какую-то избу, биткомъ набитую народомъ. Съ непривычки, Турбину показалось даже страшно въ ней: такъ было жарко, низко и людно. Шла оживленная игра въ «короли». Неиграющіе, ложась другъ къ другу на плечи и почти доставая головами до по-

толка, покрытаго отъ черной топки словно чернымъ густымъ лакомъ, тѣснились къ столу. За столомъ тоже тѣснились ребята въ растегнутыхъ полшубкахъ и чистыхъ рубахахъ, дѣвки въ красныхъ ситцахъ, сильно пахнущихъ краскою. У всѣхъ были сжатія корабликомъ карты въ рукахъ и напряженно-веселыя лица. Ребятишки шмыгали по ногамъ, дѣзли изъ сѣнецъ въ избу. «Выстудили избу, окаянные!» кричала на нихъ хозяйка и громко спрашивала Кондрата Семеныча:

— А это чей же будеть?

— Свои, тетка!—отвѣтилъ Турбинъ съ хохотомъ и, сѣвши на лавку, не удержался, завалился за сидящихъ и задралъ ноги.

А Кондратъ Семенычъ суетился и поминутно исчезалъ въ сѣнцахъ. Выбравшись изъ душной избы, Турбинъ вдругъ услышалъ, что въ углу кто-то шепчетъ:

— Да ко мнѣ-то нельзя.

— Ну, куда же?

— Къ печнику. Ну, что-жъ?

— Ъдемъ.

И черезъ минуту Турбинъ былъ въ саняхъ, а Кондратъ Семенычъ втащилъ въ нихъ хохочущую солдатку (съ ней-то и велись переговоры) и, стоя, закричалъ Васькѣ:

— Дѣлай!

— Поѣхали!—закричалъ Турбинъ тонкимъ голосомъ.

— Попала шлея подь хвостъ, когда такое дѣло!—подхватилъ Кондратъ Семенычъ отчаянно.

XX.

Дальнѣйшія событія еще болѣе тонули въ хаотическомъ безпорядкѣ.

Отъ посѣщенія печника болѣе всего осталось въ памяти его пѣніе. И самъ печникъ, волосатый, пожи-

лой мужикъ и жена его, всегда веселая и разбитная баба, больше всего на свѣтѣ любили водку и пѣсни. Гости за посѣщеніе ихъ избы напанивали ихъ, и безпутные супруги бывали очень довольны такими вечерами. И теперь тотчасъ же въ печкѣ запылалъ огонь, зашипѣла и затрещала яичница съ ветчиной, загудѣла труба на самоварѣ. Запьянѣвшая, раскраснѣвшаяся хозяйка весело поддувала пламя подъ таганчикомъ и съ ласковой улыбкой останавливалась, разсматривая Турбина.. Затѣмъ начался пиръ. За каждымъ кускомъ слѣдовала водка; ошалѣвшій Турбинъ не отставалъ отъ другихъ, хотя уже чувствовалъ, что съ великимъ трудомъ слышитъ говоръ и пѣсни вокругъ себя. Пѣсни началъ печникъ... и дикое же впечатлѣніе осталось отъ этихъ пѣсней! Положивъ голову на волосатую руку, печникъ что ни есть мочи разливался такимъ неистовымъ крикомъ, что на шеѣ у него вздувались синія жилы.

— Ышьте, что-ль, ветчину-то—кричала въ то же время хозяйка.

Турбинъ машинально кусокъ за кускомъ ѣлъ страшно соленую ветчину, и челюсти у него ломило отъ безплодныхъ усилій разжевать эти жареные брусочки.

— Не урвешь!—кричалъ и Кондрать Семенычъ.— Хряковину, подлець, отпустилъ!

На печника уже не обращалъ никто вниманія. Перебивая его пѣсни, Кондрать Семенычъ съ Васькой лихо играли на двухъ гармоникахъ барыню, а бабы, обѣ раскраснѣвшіяся, съ полчаса, съ прибаутками, и съ серьезными, неподвижными лицами выхаживали другъ передъ другомъ, постукивая каблуками:

Посылала меня мать

Караулить гусака.

А я вышла за ворота---

Задавала плясака!

вычитывала хозяйка.

Ужъ я ее кнотомъ,

И кнотомъ, и протомъ...

бойко покрикивала въ отвѣтъ солдатка, то прихлопывая въ ладоши, то упирая руки въ боки.

— Дѣлай! Оудишсь!—повторялъ Васька, потрясая гармоникой надъ головою и пускаясь въ самыя отчаянныя варьяціи „барыни“. Въ чаду безпричинной, напряженной веселости сознаніе учителя иногда прояснялось. „Гдѣ это я? что такое?“ спрашивалъ онъ себя, но тотчасъ начиналъ хлопать въ ладоши и въ тактъ „барыни“ стучать сапогами въ полъ.

А за окномъ, которое завѣсили попоной, галдѣлъ народъ, порываясь въ избу. Горькій пьяница, рабочій съ завода, „Бубень“, огромный, худой мужикъ, съ лошадинымъ лицомъ, съ растрепанными пьяными губами, особенно долго упорствовалъ въ этомъ отношеніи.

— Не пускай, ну его къ чорту!—говорилъ Кондрать Семенычъ.

— Ну, что ты? кого тебѣ?—спрашивала хозяйка, загоразивая порогъ.

Улыбаясь и качаясь, „Бубень“ придерживался за притолку и говорилъ:

— Да чего? Да ничего! Зайтить закурить только.

— Никого тутъ нетути. Иди.

— Буде, буде толковать-то!

— Вотъ домовой-то,—какъ носомъ учуялъ!

Кондрать Семенычъ рѣшительно подошелъ-къ двери.

— Да кто это тамъ?

— Это я, Кондрать Семенычъ,—сдергивая шапку и улыбаясь пьяной, мутной улыбкой, отвѣчалъ «Бубень».— Я ничего плохого... Закурить только...

— Ну, ну... съ Богомъ!

У Турбина уже нестерпимо ломило въ теменіи отъ жары и водки. Но онъ все еще не отставалъ отъ другихъ и когда раздались крики, что съ лошадей сняли

возжи и черезсѣдельникъ, онъ даже выскочилъ вмѣстѣ съ Васькой на улицу, готовый на отчаянную драку. Но никого уже не было... На морозѣ водка еще болѣе разобрала его, и съ этого момента воспоминаія его совершенно путаются.

Запомнилъ онъ только, что онъ долго бродилъ по сѣнцамъ, а когда Кондратъ Семенычъ выпихнулъ къ нему бабу, онъ вытащилъ ее на скотный дворъ, а она вырывалась и торопливо шептала:

— Что ты, что ты? Ай подѣялось?... ай очумѣлъ?... Охъ, батюшки, пусти, пусти-и!.. тутъ погребица!..

И, взволнованный этой борьбой, Турбинъ съ трудомъ отыскалъ дверь въ избу и очутился въ полномъ мракѣ, и эта темнота, и шопоть, и возня на соломѣ еще болѣе взбудоражили его кровь. Онъ долго шарилъ по соломѣ трясущимися руками, наткнулся на печника, который сидѣлъ на полу и бормоталъ что-то, повалилъ кочергу... потомъ потерялъ всякое представленіе о томъ, гдѣ онъ и что было дальше.

Чувствовалъ только во снѣ, что откуда-то по ногамъ несло холодомъ. Онъ тщетно пряталъ ихъ подъ солому. Потомъ началась страшная жажда. Все внутри у него горѣло, и онъ чувствовалъ это сквозь сонъ и никакъ не могъ проснуться и все шепталъ горячечнымъ шопотомъ:

— Пить... Бога ради, пить!..

Казалось еще, что какая-то толпа растетъ вокругъ него, а онъ пляшетъ подъ „Тарантеллу“, пляшетъ-пляшетъ безъ конца и вдругъ слышитъ надъ самой своей головой рукоплесканія и крики, отчаянный крикъ. Онъ вскочилъ: пѣтухъ еще разъ крикнулъ на всю избу и затрепыхалъ крыльями.

Холодъ плыль по ногамъ. Еле-еле разсвѣтало. Въ смутномъ сумракѣ было видно нѣсколько человѣкъ сияющихъ на соломѣ. Шатаясь, Турбинъ началъ шарить по печуркамъ спичекъ: въ печуркахъ были только

какія-то сырыя, теплыя перья; на группѣ лежала деревянная спичечница, но она была пуста. Турбинъ задыхался отъ жажды.

— Бога ради напиться!—сказалъ онъ громко.

— Охъ, чтобы тебѣ совѣмъ! Вотъ напужалъ-то!

Солдатка вскочила и, заспанная, торопливо и неловко стала завязывать юбку и заворачивать подъ платокъ сбитые волосы.

— Пить нѣтъ-ли? Душа запекалась!

— Посмотри въ уголь, въ шерботомъ чугуничкѣ.

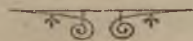
Турбинъ съ жадностью припалъ къ чугуничку. Но квась былъ такъ кисель и холоденъ, что Турбина съ первыхъ глотковъ подхватила лихорадка и, не попадая зубъ на зубъ, онъ бросился по нарамъ, черезъ Кондрата Семеныча, на печку; Кондратъ Семенычъ только замычалъ и заскрипѣлъ во снѣ зубами.

Какой-то тяжелый запахъ и тепло охватили Турбина на печкѣ, и онъ заснулъ, какъ убитый. Но и этотъ сонъ продолжался какъ будто мгновеніе. Затопили печку „по черному“, и дымъ, пеленой потянувшейся подъ потолкомъ въ дверь, завѣшенную попоной, буквально сталъ душить Турбина. Онъ зарывалъ голову въ солому и соръ, но ничто не помогало. Тогда онъ свѣсилъ голову съ печки, кое-какъ приладилъ ее къ кирпичамъ и такъ и проспалъ до самыхъ завтраковъ.

Въ завтраки Кондратъ Семенычъ съ опухшимъ лицомъ, но уже въ спокойномъ, будничномъ настроеніи, сидѣлъ за столомъ противъ печника, похмѣлялся и вертя цыгарку, поглядывалъ на сонное лицо Турбина. Оно было какъ мертвое: истомленное, страдальческое и кроткое.

— Вотъ те и педагогъ!—сказалъ онъ, наконецъ, съ сожалѣніемъ.—Пропалъ малый!

— Сирота, небось!—задумчиво произнесъ печникъ.



КОСТЕРЪ.

У поворота съ большой дороги, у высокаго столба, указывающаго путь на проселокъ, горѣлъ въ темнотѣ костеръ. Я ѣхалъ въ тарантасѣ тройкой, слушалъ звонъ поддужныхъ колокольчиковъ и вдыхалъ свѣжесть степной ночи. Костеръ разгорался ярко и, чѣмъ ближе я подъѣзжалъ къ нему, тѣмъ все рѣзче отдѣлялось пламя отъ нависавшаго надъ нимъ мрака. А векорѣ хорошо можно было различить и самый столбъ, озаренный изъ-подъ низу, и черныя фигуры людей, сидѣвшихъ на землѣ. Казалось, что они, точно заговорщики, проводятъ ночь въ какомъ-то хмуромъ подземельи и что темные своды этого подземелья мягко дрожатъ отъ переплетающихся языковъ пламени.

Когда его отблескъ коснулся головъ тройки, люди, сидѣвшіе у костра, повернулись къ намъ и стали вслушиваться. Позы у нихъ были внимательныя, лица красныя. Собака, которая до тѣхъ поръ незамѣтно лежала въ темнотѣ, вдругъ вырѣзалась на огненномъ фонѣ и сидя залаяла. Тревожно не спуская съ насъ взгляда, поднялся съ земли и одинъ изъ сидѣвшихъ. Въ низкомъ пространствѣ, озаренномъ костромъ, фигура его была огромна.

— Гирла-а!—гортанно и глухо крикнулъ онъ на собаку.

Отчего меня потянуло къ костру? Было что-то стран-

ное и красивое въ его пламени среди мрака и что-то родное чувствовалось въ присутствіи на степи людей, ночевавшихъ у дороги. Когда долго ѣдешь проселкомъ, видишь только звѣздное небо и сумракъ надъ сливающимися равнинами, грусть одиночества становится безнадежна и спокойна, какъ степная ночь, но отъ этого еще болѣе манитъ каждый огонекъ вдаль. И такъ какъ у меня нечего было сказать этимъ людямъ, то, остановивъ лошадей, я только поклонился и попросилъ спичекъ:

— Добрый вечеръ! Нельзя ли закурить у васъ?

За лаемъ собаки человѣкъ, который выжидательно всталъ передо мною, крѣпкій, широкогрудый старикъ въ бараньей шапкѣ и накинутаго на плечи кожуха, не слышалъ меня и злобно топнулъ ногою.

— Атъ, каторжна!—крикнулъ онъ на овчарку и, не спуская съ меня подозрительнаго взгляда, громко прибавилъ гортаннымъ, цыганскимъ говоромъ:—Добрый вечеръ пану! А шо милости его завгодно будѣ?

Ноздри у него были вырѣзаны рѣзко и характерно, борода доходила почти до самыхъ глазъ. И въ этихъ черныхъ расширенныхъ глазахъ, въ черныхъ жесткихъ волосахъ, густо вьющихся изъ-подъ шапки, и въ жесткой, кудрявой бородѣ—во всемъ почувствовалась мнѣ ликость и внимательность степного человѣка, у котораго совѣсть не спокойна въ этотъ вечеръ.

— Да вотъ закурить не чѣмъ,—повторилъ я приговорно-просто.—Дайте, пожалуйста, пару спичекъ.

— А хоба-жъ есть спички у цыганъ?—спросилъ старикъ, улыбаясь, и на минуту обернулся къ двумъ другимъ, сидѣвшимъ у костра, которые тоже осматривали и лошадей, и тарантасъ.—Може, панъ, отъ костра запалить?

— Ну, пожалуйста...—сказалъ я, вынимая папиросу.

Старикъ отошелъ къ костру, наклонился и спокойно кинулъ на ладонь лѣвой руки раскаленный уголь. Я

поспѣшили приставить къ нему папиросу и кинулъ дватри быстрыхъ взгляда на маленькій таборъ. Одинъ изъ сидѣвшихъ былъ рыжій, оборванный мужикъ, повидимому, бродяга-рабочій съ низовъ, другой—молодой цыганъ изъ тѣхъ, которые часто встрѣчаются на большихъ южныхъ ярмаркахъ. Онъ сидѣлъ, горделиво откинувъ голову назадъ, и, охвативъ руками поднятыя колѣни худыхъ ногъ, искоса смотрѣлъ на меня. Синевато-смуглое лицо было у него изящно, какъ у восточнаго принца, фигура—высока и стройна, какъ у бедуина. Бѣлки глазъ странно выдѣлялись на этомъ лицѣ, а глаза казались поэтому изумленными. И одѣтъ онъ былъ щеголемъ: тонкіе сапоги, новый картузь, городской пиджакъ, шелковая лиловая рубаша и длинная серебряная цѣпочка на шеѣ.

— Може, панъ, блукае?—спросилъ старикъ, кидая уголь въ костеръ.

— Нѣтъ,—пробормоталъ я машинально и еще разъ глянулъ за костеръ, который слѣпилъ меня своимъ яркимъ мерцаніемъ. И тогда изъ темноты выдѣлились сѣрыя полы большого разлатаго шатра, брошенная дуга и оглобли телѣги, а возлѣ нихъ—самоваръ, горшки и большая перина, на которой лежала толстая цыганка въ лохмотьяхъ, кормившая грудью полуголаго ребенка. Надо всѣмъ же этимъ стояла дѣвушка лѣтъ пятнадцати и пристально смотрѣла на меня меланхолично-призывными глазами необыкновенной красоты. Она выдѣлилась изъ сумрака внезапно, но достаточно было мгновенія: я мгновенно увидалъ грубые смоляные волосы, страстную нѣжность глазъ, губъ и всего древне-египетскаго овала лица. однимъ взглядомъ охватилъ всѣ формы стройнаго дѣвичьяго тѣла подъ лиловымъ тонкимъ платьемъ, изъ котораго она выросла... Что-то дрогнуло у меня въ сердцѣ, но столько было вопросительнаго ожиданія во всѣхъ лицахъ, а въ глазахъ и лохмотьяхъ бродяги столько дерзости, что я смутился и тронулъ за рукавъ кучера.

— Може, проводить пана?—повторилъ старикъ живо.

— Нѣтъ, спасибо,—поспѣшилъ я отвѣтить и, еще разъ жадно взглянувъ за костеръ, откинулся въ задокъ табортаса.

— Пошелъ!—крикнулъ я рѣшительно.

Лошади тронули, копыта дружно застучали, а колокольчикъ такъ и залился жалобнымъ звономъ, перебивая лай бросившейся за нами собаки. Я едва успѣлъ кивнуть головой табору...

Не было уже тепла и запаха горящаго бурьяна отъ костра, въ лицо вѣяло свѣжестью ночи и опять, темнѣя въ сумракъ, бѣжали навстрѣчу мнѣ поля. Черная дуга высоко вырѣзывалась на небѣ и, качаясь, задѣвала звѣзды. Но все уже ушло въ красоту дѣвичьяго образа, который внезапно всталъ передо мною. Еще ярче, чѣмъ у костра, я видѣлъ теперь черные волосы, нѣжно-страстные глаза и старое серебрянное монисто на шеѣ... И въ запахъ росистыхъ травъ и одинокомъ звонѣ колокольчика, въ звѣздахъ и въ небѣ было уже новое чувство,—томящее, непонятное и отъ этого еще болѣе сладостное. И казалось, что я поступилъ неоправимо, безразсудно, покинуть что-то близкое, созданное именно для меня, и только по роковой покорности нашей судьбѣ уходящее отъ меня все дальше и дальше...



НА КРАЙ СВѢТА.

I.

То, что такъ долго всѣхъ волновало и тревожило, наконецъ, разрѣшилось: „Великій Перевозъ“ сразу опустился на половину.

Много бѣлыхъ и голубыхъ хатъ осиротѣло въ этотъ лѣтній вечеръ. Много народу на вѣкъ покинуло родное село—его зеленые переулки между садами, пыльный базарный выгонъ, гдѣ такъ весело въ солнечное воскресное утро, когда кругомъ стоитъ оживленный говоръ, гудитъ бранью и спорами корчма, выкрикиваютъ торговки, поютъ нищѣ, пиликаетъ скрипка, меланхолично жужжитъ тихой музыкой лира, а важные волю, прикрывая отъ солнца глаза, сонно жуютъ сѣно подѣ эти нестройные звуки; покинуло разноцвѣтные огороды и густыя верболозы съ матово-блѣдной, длинной листвою надѣ „криницею“, при спускѣ къ затону рѣки, гдѣ въ тихіе вечера въ водѣ что-то стонетъ—глухо и однотонно, словно дуетъ въ пустую бочку; навсегда покинуло родину для далекихъ Уссурийскихъ земель и ушло „на край свѣта“...

Когда на село, расположенное въ долинѣ, легла широкая, прохладная тѣнь отъ горы, закрывающей западъ, а въ долинѣ, къ горизонту, все зарумянилось отблескомъ заката, зардѣлись рощи, вспыхнули алымъ глянцемъ изгибы рѣки и за рѣкой, какъ золото, засверкали рав-

нины песковъ,—на селѣ прекратилась суматоха, скрипъ телѣгъ, торопливый, отрывистый говоръ,—и народъ, пестрящийся яркими, праздничными нарядами, собрался на зеленую леваду, къ бѣлой, старинной церковкѣ, гдѣ молились еще казаки и чумаки передѣ своими далекими походами.

Тамъ подѣ открытымъ небомъ, между нагруженныхъ телѣгъ, въ многолюдной толпѣ, начался молебенъ, и въ толпѣ воцарилась мертвая тишина. Голосъ священника звучалъ внятно и раздѣльно, и каждое слово молитвы, казалось, проникало до глубины каждаго сердца...

Много слезъ упало на этомъ мѣстѣ и въ былые дни. Также молча стояли здѣсь когда-то снаряженные въ далекій путь „лицари“. Они тоже прощались, какъ передѣ кончиной, и съ дѣтьми, и съ женами, и не въ одномъ сердцѣ заранѣе звучала тогда величаво-грустная „дума“ о томъ, „якъ на Черному морю, на бѣлomu камени сидитъ ясенъ соколъ—бѣлозірець“, и „жалібенько квилить—проквилея“, предвѣщая бѣды и невзгоды путникамъ. Многихъ изъ нихъ ожидали „кайданы турецкіи, каторга бусурманская“, и „сиви туманы“ въ дорогѣ, и одинокая смерть подѣ степнымъ курганомъ, и стаи орловъ сизокрылыхъ, что будутъ „на черни кудри наступати, зѣ лоба очи козацькіи видирати“... Но тогда надо всѣмъ витала гордая казацкая воля. А теперь стоитъ сѣрая толпа, забитая нуждою, которую навсегда выгоняетъ на край свѣта не прихоть казацкая, а будничная, горькая бѣдность, эти желтые пески, что сверкаютъ за рѣкою. И какъ на великой панихидѣ, заказанной по самомъ себѣ, тихо стоялъ народъ на молебнѣ съ поникшими, обнаженными головами. Только ласточки звонко щелбтали надѣ ними, проносясь и утоная въ вечернемъ воздухѣ, въ голубомъ, глубокомъ небѣ...

А потомъ поднялись вопли.

И среди смутнаго гортаннаго говора, нестройнаго плача и криковъ двинулся этотъ странный, словно по-

хоронный, обозъ по дорогѣ въ гору. Въ послѣдній разъ показался „Великій Перевозъ“ въ родной долинь—и скрылся... И самъ обозъ скрылся, наконецъ, за хлѣбями, въ поляхъ, въ блескѣ низкаго вечерняго солнца...

„Великій Перевозъ“ опустѣлъ...

II.

Но говоръ и плачь еще не затихли совсѣмъ. Провожавшіе возвращались домой.

Взволнованный народъ толпами валить подъ гору, къ хатамъ. Были и такіе, что только вздохнули и пошли домой торопливо и безопасно... Но такихъ было мало.

Молча, покорно согнувшись, шли старики и старухи; хмурились суровые, хозяйственные мужики; ревѣли въ бессознательномъ страхѣ дѣти, которыхъ тащили за маленькія руки отцы и матери; громко кричали молодые бабы и дивчата.

Вотъ онѣ двѣ спускаются подъ гору, по бѣлой каменной дорогѣ. Одна, крѣпкая, невысокая, хмуритъ брови и разсѣянно смотритъ своими черными серьезными глазами куда-то въ даль, по долинь. Другая, высокая, худенькая, тихо плачетъ... И онѣ наряжены по праздничному, но ужъ праздникъ кончился, и еще грустнѣе глядѣть теперь на этотъ нарядъ похоронъ!

И какъ горько плачетъ дѣвушка, прижимая къ глазамъ рукава сорочки! Она почти не идетъ—каждую минуту спотыкаются на камни стройныя ножки въ сафьянныхъ сапогахъ, на которые такъ красиво падаетъ изъ подъ плахты бѣлоснѣжный подолъ рубашки.

— Зинька, слухай же!...—говоритъ ей подруга быстрымъ, умоляющимъ шепотомъ,—хай ему чортъ, чого ты плачешь?..

Но и у нея сжимается сердце отъ боли; она никого не провожала—ни родныхъ, ни близкихъ, но и она крѣпко

сдвигаетъ черныя брови, чтобы не расплакаться; сердце ея тоскуетъ тою непонятною грустью, которую испытываешь въ молодости при отлетѣ птицъ въ тихія, ясныя зори.

— Та слухай!..—повторяетъ она.

— Отчепись!—почти вскрикиваетъ Зинька злобно. Но плечи ея вздрагиваютъ и сквозь слезы она прибавляетъ совсѣмъ по дѣтски:

— Охъ, хйба-жъ я чаяла!

Развѣ она чаяла, что скоро, какъ въ могилу, проводить Юхыма? Какъ звонко и съ какой неудержимой радостью пѣла она до глубокой ночи, бѣгая съ рѣки и на рѣку съ ведрами для огорода, когда отецъ Юхыма твердо сказалъ, что не пойдетъ на новыя мѣста! А потомъ...

— Прокинулись сю нічь,—говорилъ Юхымъ растерянно,—прокинулись воны, Зинька, та й кажутъ: „Идемо на переселеніе!“—„Якъ же такъ, тату, вы жъ казали“...—„Ні, кажутъ, я сонъ бачивъ“...

И сонъ все погубилъ—всѣ молодыя мечты и надежды!

А вотъ на горѣ, около мельницъ, стоитъ въ толпѣ стариковъ старый Василь Шкутъ. Онъ высокъ, широкоплечъ и сутуль. Отъ всей фигуры его еще вѣтъ прежней степной мощью, но какое у него кроткое и грустное лицо! Ему вотъ-вотъ собираться въ могилу, а онъ уже никогда больше не услышитъ родного слова и помретъ въ чужой хатѣ, одинокій на старости, и некому будетъ ему глаза закрыть. Передъ смертью оторвало его отъ семьи, отъ дѣтей и внучатъ это переселеніе. Онъ бы дошелъ, онъ еще крѣпокъ, но гдѣ же взять эти 70 рублей, которыхъ не хватило для разрѣшенія идти на новыя земли?

Старики, разсѣянно переговариваясь, каждый съ своей думой, стоятъ на горѣ. Они все глядятъ въ ту сторону, куда отбыли земляки.

Ужъ давно не стало видно и послѣдней телѣги. Опустѣла и степь.

Но какая это чудная степь! Даже въ этотъ вечеръ весело въ ней! Весело и кротко распѣваютъ, сыплютъ трели жаворонки. Мирно и спокойно догораетъ ясный день. Привольно зеленѣютъ кругомъ хлѣба и травы, далеко, далеко темнѣютъ курганы; а за курганами необъятнымъ полукругомъ простерся горизонтъ и между землей и небомъ охватываетъ степи полоса голубоватой воздушной бездны, какъ полоса далекаго моря.

— Що воно таке, сей Уссурійскій край?—думаютъ старики, прикрывая глаза отъ солнца, и напрягаютъ воображеніе представить себѣ эту сказочную страну на концѣ свѣта и то громадное пространство, что залегаетъ между ней и „Великимъ Перевозомъ“.

— Чи далеко одѣхали?—соображаютъ другіе и представляютъ себѣ, какъ это медленно тянется длинный обозъ, нагруженный добромъ, бабами и дѣтьми, медленно скрипятъ колеса, бѣгутъ собаки и шагаютъ за обозомъ по мягкой пыльной дорогѣ, пригрѣтой догорающимъ солнцемъ, „дядьки“ въ широкихъ шароварахъ.

Небось и они все глядятъ въ эту загадочную, голубоватую даль:

— Що воно таке, сей Уссурійскій край?

А старый Шкутъ, опершись на палку, надвинувъ на лобъ шанку, представляетъ себѣ среди этихъ возовъ возъ сына и съ покорной улыбкой, отъ которой выступаютъ слезы, бормочетъ все то же:

— Я ему, бачите, і пилу, і фуганокъ давъ... І якъ хату строить вінъ теперъ знае... Не пропаде!

— Богато людей загинуло!—говорять, не слушая его, другіе.—Богато, богато!..

III.

Темнѣеть, и какая-то новая, непонятная тишина воцаряется на селѣ.

Теплыя южныя сумерки неясной дымкой смягчаютъ вечернюю синеву глубокой долины; онѣ медленно затухиваютъ эту огромную картину широкой низменности съ темными кущами прибрежныхъ рощъ, съ тускло блестящими изгибами рѣчки, съ одинокими тополями, что чернѣютъ, выдѣляясь колоннами, надъ долиной. Старинный «Великій Перевозъ» сѣрѣетъ своими скученными хатами въ котловинѣ у подошвы каменистой горы. Смутно, какъ полосы спѣлыхъ ржеи, желтѣютъ за рѣкою пески. За песками опять, уже совсѣмъ неясно, темнѣютъ лѣса. И даль становится дымчато-лиловой и сливается съ сумеречными небесами.

Все какъ всегда бывало въ этой мирной долині въ лѣтнія сумерки...

Но нѣтъ, не все! Много-много хатъ стоитъ темными, забытыми и нѣмыми...

Уже почти всѣ разбрелись по домамъ. Пустѣетъ дорога...

Медленно бредетъ по ней нѣсколько человѣкъ, провожавшихъ переселенцевъ до ближняго перекрестка.

Они чувствуютъ ту внезапную пустоту въ сердцѣ и непонятную тишину вокругъ себя, которая всегда охватываетъ человѣка послѣ тревоги проводовъ, при возвращеніи въ опустѣвшій домъ. Спускаясь подъ гору, они глядятъ на село другими глазами, чѣмъ прежде,—точно послѣ долгой отлучки...

Вотъ неясно разстилается пахучій дымокъ надъ чьей-то хатой... покойно и по будничному...

Вотъ красной звѣздочкой, среди темныхъ садовъ, среди скученныхъ дворовъ, загорѣлся огонекъ на селѣ...

Глядя на огоньки и въ долину, медленно расходятся старики, и на горѣ, близъ дороги, остаются одни темные и глухіе вѣтряки съ неподвижно распростертыми крыльями.

Молча идетъ подъ гору, улыбаясь своей странной улыбкой старческаго горя, Василь Шкутъ. Медленно отложилъ онъ калитку плетня, медленно прошелъ черезъ дворикъ и скрылся въ хатѣ.

Хата родная. Но Шкутъ больше въ ней не хозяинъ. Ее купили чужіе люди и позволили ему только „дожить“ въ ней. Должно быть, это надо сдѣлать поскорѣе...

Въ тепломъ и душномъ мракѣ хаты выжидательно трюкаетъ сверчокъ изъ-за печки... Словно прислушивается... Сонныя мухи гудятъ по потолку... Старикъ, опершись обѣими руками на лавку, согнувшись, сидитъ одинъ-одинешенекъ въ темнотѣ и безмолвіи.

Что-то онъ теперь думаетъ? Можетъ быть, про то, какъ гдѣ-то тамъ, по смутно бѣлѣющей дорогѣ тихо поскрипываетъ обозъ?

— Э, да что про то и думать!

— Что же дѣлать? Что дѣлать завтра, послѣ-завтра?..

На блѣдно-свинцовомъ фонѣ маленькаго окошечка, выходящаго въ садъ, чернѣютъ силуэты двухъ-трехъ покосившихся надгробныхъ крестовъ. Въ саду, возлѣ хаты, давнымъ-давно почиваютъ вѣчнымъ сномъ почти всѣ его родные... Онъ остался съ ними. Надо поскорѣе къ нимъ, въ ихъ „домовину“, въ дубовую „труну“. Пора на покой, на вѣчный и безмятежный отдыхъ!..

А вдали уже слышны пѣсни.

Звонкій дѣвическій голосъ звенить и замираетъ надъ селомъ за рѣкою:

Ой, зійди зійди,
Ясенъ місяцю!—

плачетъ грустная пѣсня, обрывается и замолкаетъ надолго-надолго.

Ночь давно наступила. И вотъ въ тишинѣ приближается та роковая въ каждомъ горѣ минута, когда послѣ слезъ, послѣ перваго потрясенія, затихаетъ на мгновенье сердце и вдругъ съ новой, поразительной силой и ясностью сознаетъ свою потерю, свое утраченное счастье и безумно рвется къ нему, и страшно дѣлается человѣку за самого себя.

И въ разлукѣ—что мучительнѣе и больнѣе той минуты, когда вдругъ ясно сознаешь, что разлука эта непоправима и что жизнь бы отдалъ за то только, чтобъ хоть еще разъ увидать, чудомъ увидать возлѣ себя близкаго человѣка!..

Но кругомъ глубокое молчаніе. Южное ночное небо въ крупныхъ жемчужныхъ звѣздахъ. Темный силуэтъ неподвижнаго тополя рисуется на фонѣ ночного неба. Подъ нимъ чернѣетъ крыша, бѣлѣютъ стѣны хаты. Звѣзды сіяютъ сквозь листья и вѣтви...

IV.

А они еще недалеко.

Они ночуютъ въ степи, подъ роднымъ небомъ, но имъ уже кажется, что они за тысячи верстъ отъ всего привычнаго, родного и покинутаго. Это послѣдняя ночь на степи.

Какъ цыганскій таборъ, расположились они у дороги. Распрягли лошадей, сварили ужинъ; то вели безпокойные разговоры, то угрюмо молчали и сторонились другъ отъ друга...

Наконецъ, все стихло.

Въ звѣздномъ свѣтѣ темнѣли безпорядочно скученные возы, виднѣлись фигуры лежащихъ людей и наклоненныхъ къ травѣ лошадей. Сторожевые, поставленные на ночь, съ кнутами въ рукахъ, сонно ежились возлѣ телѣгъ, зѣвали и съ тоскою глядѣли въ темную степь...

Но съ какой радостью встрепенулись они, когда услышали скрипъ проѣзжей телѣги! Землякъ!.. Они окружили его, улыбались и жали ему руку, словно не видались много-много лѣтъ.

Разбуженные говоромъ, подымались съ земли и другіе, и, застѣнчиво скрывая свою радость, тоже толпились у телѣги проѣзжаго, закуривали трубки и были готовы говорить хоть до самаго свѣта.

Потомъ опять все затихло.

Взволнованные встрѣчей, засыпали они, закрывая головы свитками, и все думали объ одномъ, о далекой неизвѣстной странѣ на краю свѣта, о дорогахъ и большихъ рѣкахъ въ пути, о покинутомъ селѣ. И казалось, что ихъ сердца незримо звучатъ въ ладъ съ сердцемъ каждаго, кто остался въ селѣ, трепещетъ одной грустью и одними желаніями, братской близостью и братскимъ горемъ...

Холоднѣло.

Глубокая ночь царила надъ степью. Все спало крѣпкимъ сномъ—и люди, и дороги, и межи, и росистые, наклонившіеся хлѣба.

Съ отдаленнаго хутора чуть слышно донесся крикъ пѣтуха. Сердце мѣсяца, мутно-красный и поникшій на одну сторону, показался на краю неба. Онъ почти не свѣтилъ. Только небо около него приняло зеленоватый оттѣнокъ, почернѣла степь отъ горизонта, да на горизонтѣ показалось что-то темное. Это были курганы. И только звѣзды и курганы слушали эту мертвую тишину на степи и дыханіе людей, позабывшихъ во снѣ свое горе и далекія дороги.

Но что имъ, этимъ вѣковымъ молчаливымъ курганамъ, до горя или радости какихъ-то существъ, которыя проживутъ мгновение и уступятъ мѣсто другимъ такимъ-же снова волноваться и радоваться и также безслѣдно исчезнуть съ лица земли? Много ночевавшихъ въ степи обозовъ и становъ, много людей, много горя и радостей видѣли эти курганы.

Однѣ звѣзды мерцаютъ, можетъ быть, не безстрастно Онѣ, должно быть, знаютъ, какъ свято человѣческое горе!



КАСТРЮКЪ.

I.

Внезапно выскочивъ изъ-за крайней избы, съ полевой дороги, во всю прыть маленькихъ лошадокъ, летѣли по деревенской улицѣ барчуки изъ Задѣснаго. Подпрыгивая и хватаясь за холки, они гнались на перегонки и вѣтеръ пузырями надувалъ на ихъ спинахъ ситцевыя рубашки. Теленокъ шарахнулся отъ нихъ въ сѣнцы, куры и впереди нихъ пѣтухъ, присѣдая къ землѣ, неслись куда глаза глядятъ. Но отчаяннѣе всѣхъ улепетывала по деревенской улицѣ маленькая, бѣлоголовая дѣвочка въ одной рубашенкѣ. Обезумѣвъ отъ страха, она вскочила на огороды, нѣсколько разъ съ размаху упала по дорогѣ и вдругъ увидала въ воротахъ риги дѣдушку. Съ звонкимъ крикомъ бросилась она въ его колѣни.

— Что ты, что ты, дурочка?—закричалъ и дѣдъ, ловя ее за рубашку.

— Барчуки... на жеребцахъ!..—захлебываясь отъ слезъ, едва могла выговорить внучка.

Дѣдъ усадилъ ее на колѣни, началъ уговаривать...

Внучка скоро затихла и, изрѣдка всхлипывая, обиженнымъ, вздрагивающимъ голосомъ начала рассказывать, какъ было дѣло.

Поглаживая ее по головѣ, дѣдъ задумчиво улыбался. Въ ригѣ было прохладно и уютно. Въ мягкую тем-

ноту ея изъ глубины яснаго весенняго неба влетали ласточки и съ чиликаньемъ садились на переметы и на сани, сложенные другъ на друга въ уголь риги. Все было ясно и мирно кругомъ—и на деревнѣ, и въ дальнихъ зазеленѣвшихъ поляхъ. Утреннее солнце мягко пригрѣло землю и по весеннему дрожалъ вдали тонкій паръ отъ нея. Тамъ, въ поляхъ, подымалась пашня и блестящіе черные грачи перелетали около сохъ. Здѣсь, на деревнѣ, въ холодкѣ избѣ, только дѣвочки тоненькими голосками напѣвали пѣсни, сидя на травѣ за колючками. Кромѣ ребятишекъ и стариковъ, всѣ были въ полѣ—даже всѣ Орелки, Буянки и Шарики.

Дѣдъ сегодня первый разъ за всю жизнь остался дома на стариковскомъ положеніи. Старуха померла мясобдомъ. Самъ онъ пролежалъ всю раннюю весну и не видалъ даже, какъ деревня уѣхала на первыя полевыя работы. Къ концу Фоминой онъ сталъ выходить, но еще и теперь не поправился какъ слѣдуетъ. И послѣдствіемъ всего этого было то, что сегодня всѣми обстоятельствами деревенской жизни онъ принужденъ былъ проводить самое веселое, погожее и дорогое для работы утро дома.

— Ну, Кастрюкъ (дѣда всѣ такъ звали на деревнѣ, потому что, выпивши, онъ любилъ пѣть про Кастрюка старинныя веселыя прибаутки),—ну, Кастрюкъ,—говорилъ ему на зарѣ сынъ, выравнивая гужи на сохѣ, между тѣмъ какъ его баба зашпиливала веретье на возу съ картошками,—не тужи тутъ, поглядывай обополь дому да за Дашкой-то... Кабы ее телушка не забрухала...

Старикъ, безъ шапки и засунувъ руки въ рукава полушубка, стоялъ около него и старался отшучиваться.

— Кому Кастрюкъ—тебѣ дяденька,—говорилъ онъ съ разсѣянной улыбкой.

Сынъ, не слушая, затягивалъ зубами веревку и продолжалъ дѣловымъ тономъ:

— Твое дѣло, братъ, теперь стариковское. Да и го-

ревать-то почестъ непочемъ: оно только съ виду сладко хрипѣ-то гнуть.

— Да ужь чего лучше!—отвѣчалъ старикъ машинально.

Онъ старался „не думать“ и, когда сынъ уѣхалъ, сходилъ зачѣмъ-то въ пуньку, потомъ передвинулъ въ тѣнь водовозку—все искалъ себѣ дѣла. То онъ бережливо, согнувъ старую спину, сметалъ муку въ закромѣ, то тамъ, то здѣсь тюкалъ топоромъ, но все не могъ разсѣять грустнаго, неотвязнаго чувства. Въ ригѣ онъ сѣлъ и пристально и долго чистилъ трубку мѣдной „копашкой“. Иногда онъ ворчалъ на кого-то.

— Долго-ли пролежалъ,—бормоталъ онъ,—глядь, ужь вездѣ безпорядокъ. А умри—и все прахомъ поидеть!

Иногда старался подбодрить себя... „Небось!“ говорилъ онъ кому-то съ задоромъ и значительно; иногда подергивалъ плечами и съ ожесточеніемъ выговаривалъ: „эхъ, мать твою не замать, отца твоего не трогать! Былъ конь да уѣздили!“ Но чаще всего опускалъ голову и задумывался.

Закипѣли въ колодезяхъ воды,

Заболѣло во молодца сердце...

мурлыкалъ онъ, и ему вспоминалось что-то хорошее, прежнее, и мысли тянулись къ тому времени, когда онъ былъ самъ хозяиномъ, работникомъ, молодымъ и выносливымъ... Глядя внучку по головѣ, онъ съ любовью перебиралъ далекія воспоминанія, что въ такой-то годъ, въ эту пору, онъ сѣялъ и съ кѣмъ выходилъ въ поле и какая была у него тогда кобыла...

Внучка успокоилась и шопотомъ предложила пойти наломать вѣничковъ, про которые мать уже давно толковала. Старикъ обрадовался хоть какому-нибудь развлеченію, легкомысленно забывъ про пустую избу и,

взявъ за руку внучку, повелъ ее за деревню. Пдя по мягкой, давнымъ-давно неѣзженной полевой дорогѣ, они незамѣтно отошли отъ деревни съ версту и принялись ломать полынь.

Вдругъ Дашка встрепенулась.

— Дѣдушка, глянь-ка!—заговорила она и быстро и нараспѣвъ,—глянь-ка! Ахъ, ма-а-тушки!

Старикъ глянулъ и увидаль бѣгущій вдали поѣздъ. Онъ торопливо подхватилъ внучку на руки и вынесъ ее на бугорокъ, между тѣмъ какъ она тянулась у него съ рукъ и радостно твердила:

— Дѣдушка! Глянь-ка! Рысью, рысью!

Поѣздъ разростался и подъ уклонъ работалъ все быстрѣе и быстрѣе, весь блестя на солнцѣ. Долго и напряженно глядѣла Дашка на бѣгущіе вагоны.

— Должно, къ завтраму пріѣдетъ,—сказала она въ глубокомъ раздумьи.

Сверкая цилиндрами и мелькающимъ поршнемъ, поѣздъ тяжелымъ взмахомъ урагана пронесся мимо, завернулъ къ югу и, мелькнувъ заднимъ вагономъ, дрожащей точкой сталъ сокращаться и пропадать вдали.

— Видѣла?—спросилъ дѣдъ.

— Видѣла... нѣтути больше.

— Хороша?

— Неужли-жъ нѣтъ!.. Ужъ такая-то хорошая...—лепетала Дашка про себя.—Мать-то сказывала, она безъ лошади, а я себѣ на умѣ: ахъ, она съ лошадей!.. Душается, къ ней оглобли привязаны...

— Да куда-жъ они привязаны-то?

— Да за машину-то... она, должно, кирпичная!

Долго на рукахъ съ нею стоялъ дѣдъ и глядѣлъ кругомъ.

Все опять стало въ полѣ тихо и безмятежно. Жаворонки пѣли въ тепломъ прозрачномъ воздухѣ... Весело и важно кагакали грачи... Мирно зацвѣтали цвѣты въ травѣ около линіи... Спутанный меренокъ, пофырки-

вая, щипаль подорожникъ, и дѣдъ чувствовалъ, какъ даже мерину хорошо и привольно теперь, на весеннемъ корму, въ ясное утро.

Но вдругъ дѣдъ оживился.

— Здорово, сударушка,—закричалъ онъ, завидѣвъ идущаго по рельсамъ сторожа-солдата.—„Здравія желаемъ, ваше благородіе!“—прибавилъ онъ, чтобы поддѣлаться къ солдату и поболтать немного.

— Здравствуй,—сказалъ солдатъ сухо, не вынимая изо рта трубки.

— Иди, сударушка, покуримъ,—продолжалъ дѣдъ,—поговорь съ Кастрюкомъ. Я, братъ, нонѣ тоже замѣсть часового приставленъ.

— Я путь долженъ обривизовать къ прибытію второго номера,—отвѣтилъ сторожъ, и, наклонившись, ткнулъ по рельсѣ и пошелъ дальше.

Дѣду стало неловко.

Онъ застѣнчиво улыбнулся и крикнулъ солдату въ догонку:

— А то погодилъ бы!..

Солдатъ не обернулся.

По дорогѣ назадъ дѣдъ поболталъ съ пастухами и полюбовался на стадо.

— Дуже хороши нонѣ корма будутъ!—сказалъ онъ.

— Хороши,—отвѣтилъ подпасокъ и вдругъ съ крикомъ: азадъ, смѣртныя!—бросился за свиньями.

Стадо привольно разбрелось по пару. Жеманно и въ разные тона, тонкими голосками перекликались ягнята. Одинъ изъ нихъ, упавъ на колѣни, засовалъ мордочкой подъ пахъ матери и такъ торопливо, дрожа хвостикомъ и подталкивая ее носкомъ, сталъ сосать, что дѣдъ засмѣялся отъ удовольствія...

II.

Поспѣшно подходя къ своей избѣ, онъ увидалъ, что по выгону, прямо къ ней, ѣдетъ молодой баринъ изъ Залѣснаго. Старикъ бросился отгонять подъ гору молодую кобылу, потому что, увидавъ ее, вороной барскій жеребецъ заигралъ и заплясалъ, выгибая шею.

Сдерживая его и сгибая подъ своею тяжестью дрожки, баринъ въѣхалъ въ тѣнь избы и остановился. Старикъ почтительно стоялъ у порога.

— Здравствуй, Кастрюкъ,—сказалъ баринъ ласково и, отирая красное лицо съ рыжей бородой, досталъ папирасы.

— Жарко!—прибавилъ онъ и протянулъ папираску и дѣду.

— Не привычны, Миколай Петровичъ,—захихикалъ тотъ.—Трубочку вотъ... а то шкаликъ-другой красенькаго—это мы, старики, любимъ!

— А я было къ вамъ по дѣльцу,—началъ Николай Петровичъ, отдуваясь.—Взидилъ повѣщать на Мажаровку... надѣвай шапку-то, Семень!.. да вотъ, кстати, и къ вамъ. Дѣвокъ своихъ не пошлете-ли ко мнѣ?

— Аль еще не сажали?—спросилъ дѣдъ участливо.

— Запоздали нынче... не я одинъ.

— Запоздали, Миколай Петровичъ, запоздали...

— Да... такъ вотъ...—продолжалъ баринъ и вдругъ такъ зычно крикнулъ на жеребца: „балуи!“, что дѣдъ со всѣхъ ногъ бросился держать недоуздокъ.

— Немножко-то посадилъ,—опять началъ Николай Петровичъ спокойно,—да хочу поскорѣй управиться. Дѣвчонокъ-то своихъ и турили бы ко мнѣ.

— Разя одинъ совладаешь, Миколай Петровичъ?

— Да ты скажи своимъ-то...

— Солдатка-то дома, что-ль?—спросилъ дѣдъ дѣло-

вымъ тономъ у подошедшей старухи и, получивъ отрицательный отвѣтъ, замялся.

— Кабы солдатка была, она бы сбила,—сказалъ онъ, какъ бы оправдываясь.—А я, сударушка, дома нонѣ сижу... Мнѣ и отойтить нельзя... Кабы прѣжнее мое дѣло, покоситься тамъ али подь паринку,—я бы единымъ духомъ...

— Жалко,—сказалъ баринъ задумчиво.—Видно, вечеромъ заверну,—прибавилъ онъ и взялся за возжи.

Чтобы какъ-нибудь задержать его, и повинуюсь какому-то горькому внутреннему голосу, старикъ вдругъ сказалъ, шутя:

— Ты вотъ, сударушка, найми меня въ работники... вотъ бы дѣло!

— Что-жъ, нанимайся,—сказалъ баринъ разсѣянно улыбаясь.

— А когда заступать?

Баринъ пристально поглядѣлъ на него и качнулъ головою.

— Заступать когда?... Эка ты—шустрый какой!

Старикъ оживился еще болѣе.

— Я-то, сударушка? Да я ихъ всѣхъ, молоденькихъ, за поясъ заткну! Я еще жениться хочу! Да на свадьбѣ еще плясать буду!

— Да ужъ ты! — перебилъ баринъ, усмѣхаясь, ударилъ возжей жеребца и покатылъ по выгону.

Дѣдъ постоялъ, подумалъ...

Все говорило ему, что онъ теперь отжившій человекъ. Такъ только, для дому нуженъ, пока еще ноги ходять... „Ишь покатылъ!“ подумалъ онъ съ сердцемъ, глядя вслѣдъ убѣгающимъ дрожкамъ, махнулъ рукой и пошелъ вынимать изъ печки похлебку.

Пообѣдавъ, внучка съ двумя старостинными ребятишками ушла въ лужокъ за баранчиками. Всѣ они такъ жалобно просились пустить ихъ, что дѣдъ не могъ устоять и самъ проводилъ ихъ за деревню.

— Не найдете, ребята,—говорилъ онъ имъ.—Развѣ снытку только...

— Ну, мы снытки плинесемъ,—возражала на это внучка.

Въ избѣ дѣдъ отъ нечего дѣлать снова принялся за обѣдъ. Онъ натеръ себѣ картошекъ, налилъ въ нихъ немного молока (онъ боялся, что и за это сноха будетъ ругаться) и долго ѣлъ мѣсиво.

Въ пустой избѣ стоялъ горячій, спертый воздухъ. Солнце сквозь маленькія, склеенныя изъ кусочковъ, мутныя стекла било жаркими лучами на покорбленную доску стола, которую, вмѣстѣ съ крошками хлѣба и большой ложкой, чернымъ роємъ облѣпили мухи.

Вдругъ дѣдъ почти съ радостью вспомнилъ, что есть еще дѣло — достать изъ подь крыши пачку листовой махорки, раскрошить ее и набить трубку. Влѣзая въ сѣнцахъ по каменной стѣнѣ подь застрѣху, онъ едва не сорвался—голова у него закружилась, въ спинѣ заломило... Онъ опять съ горечью подумалъ о своей старости и, уже лѣниво дотащившись до порога избы, на который еще падала тѣнь отъ пуньки, медленно занялся дѣломъ.

Въ полдень деревня вся точно вымерла. Тишина весенняго знойнаго дня очаровала ее..

Старухи-сосѣдки долго „искались“ подь старой лозинной на выгонѣ, потомъ легли, накрыли головы занавѣсками и заснули. Самые маленькіе ребятишки хлопотливо, но тихо лѣпили изъ глины улы, собравшись въ размытомъ спускѣ около пруда. Изрѣдка мгычаль теленокъ, привязанный за колъ около спящихъ бабъ. Изрѣдка доносился крикъ пѣтуха и еще болѣе нагонялъ на деревню тихую дрему...

А въ поляхъ по прѣжнему заливались жаворонки, зеленѣли всходы и по горизонтамъ, какъ расплавленное стекло, дрожалъ и струился паръ.

Старикъ легъ около пуньки и старался заснуть. Для этого онъ старался представить себѣ, какъ шумить лѣсъ

и ходить волнами рожь на буграхъ по вѣтру и шуршитъ и переливается, и слегка покачивался самъ.

Но, противъ обыкновенія, сонъ не приходилъ.

Лежа съ закрытыми глазами, дѣдъ все думалъ о своей старости.

Теперь, небось, Андрей крѣпко спитъ подъ телѣгою. Дѣду же, можетъ быть, до самой смерти не придется больше заснуть въ полѣ. Въ рабочую пору онъ будетъ проводить долгіе, долгіе, знойные дни наединѣ съ внучкою... А вѣдъ было время—лучше его не косилъ никто во всей округѣ. Бывало, когда всей деревней косили у барина, онъ всѣхъ велъ за собою. Да никто не могъ и выпить больше его, когда, вернувшись гурьбой съ поля на господскій дворъ, мужики усаживались около амбара за ведромъ водки и начиналась „Веселая бесѣдушка“...

Никогда, однако, не пропивалъ онъ ума и разума. Все у него было всегда въ порядкѣ: и изба каждую осень крылась новой соломой, и кобыла была всегда въ тѣлѣ („печка!—говорили мужики, — хоть спать ложись на спинѣ!“) и свадьбу сына онъ справилъ всѣмъ на удивленіе. Вся деревня собралась смотрѣть, когда на первый, послѣ княжого пира, престольный праздникъ Андрей поѣхалъ къ тестю. Рядомъ съ своей разряженной бабой сѣлъ онъ въ новыя „козырьки“, покрытыя цвѣтной попоной, выставилъ за грядку одну ногу въ валенкѣ и покатилъ по выгону...

Дѣдъ надѣялся тогда, что подъ старость у него будетъ самая настоящая въ деревнѣ семья, что никому не позволить онъ ссориться и заводить дѣлежи...

— Пирогі ситные въ обмочку, думалъ, буду ѣсть,— пробормоталъ старикъ.

Анъ все вышло не по гаданному.

Младшій сынъ отдѣлился, а старшій хотя и остался съ нимъ, да немного вышло изъ того проку... Главное же—старуха всѣхъ подрѣзала. Умерла въ самое плохое голодное время. Да ослабѣли и его ноженьки, и при-

дется ему до смерти сидѣть съ ребятишками вродѣ караульщика.

— Ишь ровесникъ-то мой,—подумалъ старикъ съ озлобленіемъ,—Салтанъ-то—и то убѣгъ со двора!

И чего онъ, дѣдъ, маялся на свѣтѣ и на что надѣялся—Богъ его знаетъ!

— Ни почету не дождался,—думалъ старикъ, вспоминая сына, посадившаго его караульщикомъ,—ни богачества—ничего! И помрешь вотъ-вотъ и ни одинъ кобель по тебѣ не вззоетъ!

Старикъ чувствовалъ, что онъ не правъ въ своихъ сѣтованіяхъ, но не могъ побороть раздраженія и безпокойно ворочался съ боку на бокъ и съ сердцемъ отгонялъ назойливыхъ мухъ.

Все скучнѣе и скучнѣе становилось ему...

Вдругъ вдали задрезжала телѣга. Стоя въ ней на колѣняхъ, мужикъ усердно хлесталъ свою кобыленку веревочными возжами.

Дѣдъ вскочилъ и замахалъ рукой.

Мужикъ дернулъ за возжи и даже назадъ отвалился и на ноги сѣлъ.

— Куда-й-то, сударушка?

— Тпру... тпру! А что?

— Да такъ. Молъ, куда это расскакался дядя Максимъ?

— Въ тое... въ Чичерину.

— Ай къ земскому?

— Къ нему самому. Носпѣшаю, прощевай покудова!..

Дѣдъ махнулъ рукой...

III.

Дологъ этотъ день показался ему!

Дашка воротилась изъ лужка и присоединилась къ ребятамъ, игравшимъ въ спускъ.

— Ай ужъ и мнѣ пойтить къ нимъ свистульки лѣпить?—думалъ дѣдъ съ горькой улыбкой и, наконецъ, не выдержалъ.

— Посмотри, сударушка, за избой, — сказалъ онъ старухѣ сосѣдкѣ, которая около пуньки медленно скатывала холсты.

— Ай соскучился?—спросила та жалобно.

— Соскучился, сударушка! И какъ только это вы, бабы, дома сидите!..

— А ты на-долго, небось?

— Нѣтъ, я сичасъ, въ одну минутую...

До заката было еще далеко. Но Андрей долженъ былъ, по расчетамъ дѣда, управиться раньше вечера. Онъ поглядывалъ на солнце и рѣшалъ, что осминникъ надо досадить именно къ этой порѣ.

На выгонѣ онъ встрѣтилъ возвращавшагося съ поля Глѣбочку. Глѣбочка, высокій, худощавый мужикъ съ веснушками на блѣдномъ лицѣ и съ опухшими красными вѣками, въ старомъ полушубкѣ, изъ лохматыхъ дыръ котораго виднѣлась бѣлая рубаха, меланхолично покачивался, сидя бокомъ на спинѣ лошади, между тѣмъ какъ перевернутая соха тащиалась сзади, дребезжа палицей о подвои.

— Ай, сударушка, разохи-то пропишь?—пошутилъ Кастрюкъ.

— Пропишь,—съ блѣдной улыбкой отвѣтилъ Глѣбочка.

— А мои скоро?

— Должно, ѣдутъ.

— Гдѣ-жъ дѣвки-то твои?

— Дѣвти вмѣстѣ придуть,—отвѣтилъ Глѣбочка, какъ многіе мужики, не выговаривая буквы „к“.

— Вѣдъ вотъ, — думалъ дѣдъ, выходя за деревню и отчасти завидуя даже Глѣбочкѣ, — на моихъ глазахъ человѣкомъ сталъ. Совѣмъ прежде блажной малый былъ, свиныхъ полдѣнъ не зналъ!..

На валу, подъ молодыми лозинками, старикъ сѣлъ и, щурясь отъ низкаго солнца, глядѣлъ въ даль, по дорогѣ.

Тишина кроткаго весенняго вечера стояла въ полѣ. На востокъ чуть вырисовывалась гряда неподвижныхъ, пѣжно-розовыхъ облаковъ. Къ закату собирались длинныя перистыя ткани тучекъ... Когда же солнце слегка задернулось одной изъ нихъ, въ полѣ, надъ широкой равниной, влажно зеленѣющей всходами и пестрѣющей паромъ, стало еще безмятежнѣе и лучше. Безмятежнѣе и еще чище, чѣмъ днемъ, заливались жаворонки. Съ паровъ пахло весенней свѣжестью, зацвѣтающими травами, сладкимъ ароматомъ желтаго донника... Всѣ волненія старика убаюкивались этимъ ароматомъ, этимъ кроткимъ вечернимъ свѣтомъ. Онъ закрывалъ глаза, прислушивался къ жаворонкамъ...

— Эхъ, кабы черезъ недѣлку дождичка,—думалъ онъ,—то-то бы ржи-то поперли!.. Эхъ, хороши ржи допрежь бывали! Обломныя, змѣи не проползеть!

Но вспоминая, что завтра ему предстоитъ стариковскій день, старикъ морщился, начиная придумывать, какъ бы ему избавиться отъ него. Но избавиться было невозможно. Онъ досадливо качалъ головою, скребъ рукой спину, облеченную въ длинную стариковскую рубаху... и, наконецъ, пришелъ къ счастливой мысли, нашель утѣшеніе!

— Ну, прикончиль?—говорилъ онъ черезъ полчаса немного заискивающимъ тономъ, шагая рядомъ съ сыномъ и держась за оглоблю сохи.

— Кончить-то кончиль,—отвѣчалъ Андрей ласково,—а ты-то какъ? Небось соскучился?

— И-и, не приведи Богъ!—воскликнулъ старикъ отъ всего сердца.—Сослужилъ, братъ, службу... не хуже какаго-нибудь солдата стараго на капустѣ!

И смѣясь, и желая не придавать своимъ словамъ

просящаго выраженія, старикъ робко попросился въ ночное.

— Съ ребятами... а?—сказалъ онъ, заглядывая сыну въ глаза... Сегодня онъ не могъ отдѣлаться отъ чувства своей безпомощности и несамостоятельности.

— Что-жъ, веди!—отвѣтилъ Андрей.—Только не забудь на поляхъ кобылу напоить.

Старикъ закашлялся, чтобы скрыть свою радость...

IV.

На закатѣ, послѣ ужина, онъ положилъ на спину кобылы зипунъ и полушубокъ, взвалился на нее животомъ, и рысцою поѣхалъ за ребятами.

— Эй, погоди старика,—кричалъ онъ имъ въ догонку.

Ребята не слушали. Даже старостинъ сынишка обскакалъ его, растарачивъ босыя ножки на шинѣ кругленькаго и екающаго селезенкой мерина...

Легкая пыль стлалась по дорогѣ. Топотъ небольшого табуна сливался съ веселыми криками и смѣхомъ ребятъ.

— Дѣдъ,—кричали нѣкоторые тоненькими голосками,—давай на обгонки!

Дѣдъ только улыбался, легонько подталкивая лаптями подъ брюхо кобылы.

Въ лоцинкѣ, за версту отъ деревни, онъ завернулъ на прудъ.

Оставивъ увязшую въ тину ногу и нервно вздрагивая всей кожей отъ тонко-поющихъ комаровъ, кобыла долго-долго, однообразно сосала воду, и видно было, какъ вода волнообразно шла по ея горлу. Передъ концомъ питья она оторвалась на время отъ воды, подняла голову и медленно и тупо оглядѣлась кругомъ. Дѣдъ ласково посвисталъ ей... Теплая вода тихо капала съ

губъ кобылы, а она не то задумалась, не то залюбовалась на тихую поверхность пруда. Залюбовался имъ и дѣдъ. Глубоко-глубоко отражались въ прудѣ и берегъ, и вечернее небо, и бѣлыя полосы облаковъ. Плавно качались части этой отраженной картины и сливались въ одну отъ тихо раскатывающагося все шире и шире круга по водѣ...

Потомъ кобыла сдѣлала еще нѣсколько глотковъ, глубоко вздохнула и, съ чмоканьемъ вытащивъ изъ тины одну за другою ноги, вскарабкалась на берегъ и словно проснулась и ожила.

Повыкаявая полуоторванной подковой, бодрой иноходью пошла она по темнѣющей дорогѣ. Старикъ тоже оживился. Отъ долгаго дня у него осталось такое впечатлѣніе, словно онъ пролежалъ его въ болѣзни и теперь выздоровѣлъ. Онъ весело покрикивалъ на кобылу, подталкивая ее лаптемъ и, вдыхая полной грудью свѣжющій вечерній воздухъ, снова чувствовалъ себя опредѣленно, бодро и молодо...

— Не забыть бы подкову-то оторвать!—думалъ онъ.

Въ полѣ ребята долго курили «донникъ» и долго спорили, кому въ какой чередъ дежурить.

— Будя ребята спорить-то, — сказалъ, наконецъ, дѣдъ.—Карауль пока ты, Васька,—вѣдь, правда, твой чередъ-то. А вы, ребята, ложитесь. Только смотри, не ложись головой на межу—домовой отдавить!..

А когда лошади спокойно вникли въ кормъ и прекратилась возня улегшихся рядышкомъ ребятъ, смѣхъ и остроты надъ коростелью, которая оттого такъ скрипнуть, что деретъ нога объ ногу, дѣдъ постлалъ себѣ мягче полушубокъ и зипунъ и съ чистымъ сердцемъ, съ искренней довѣрчивостью и благоговѣніемъ сталъ на колѣни и долго молился на темное, звѣздное, прекрасное небо, на мерцающій млечный путь—святую дорогу ко граду Иерусалиму. И благодарно, и задушевно звучалъ его молитвенный шопотъ.

Наконецъ, и онъ легъ.

Темнота разлилась надъ безбрежной равниной. Въ свѣжести весенней степной ночи тонули поля. За ними, за ночнымъ мракомъ, слабо, какъ одинокая мачта, на слабомъ фонѣ заката маячилъ силуэтъ далекой-далекой мельницы...



ВЪ АВГУСТѢ.

Уѣхала дѣвушка, которую я любилъ, и такъ какъ мнѣ шелъ тогда двадцать второй годъ, то казалось, что я остался одинъ во всемъ свѣтѣ. Былъ конецъ августа, въ малорусскомъ губернскомъ городѣ, гдѣ я служилъ, стояло знойное затишье... И когда однажды въ субботу я вышелъ послѣ занятій изъ палаты, на улицахъ было такъ пусто, что, не заходя домой, я побрелъ куда глаза глядятъ за городъ. Манятельно шелъ я по тротуарамъ мимо закрытыхъ еврейскихъ магазиновъ и старыхъ торговыхъ рядовъ; въ соборѣ звонили къ вечернѣ и отъ домовъ ложились длинныя тѣни, но было еще такъ жарко, какъ бываетъ въ южныхъ городахъ въ концѣ августа, когда даже въ садахъ, жарившихся на солнцѣ цѣлое лѣто, все покрыто сухой, густой пылью.

Въ такое время хорошо спать послѣ обѣда или пить что-нибудь холодное, сидя въ тѣни у открытыхъ оконъ, и поль-города, состоявшаго изъ торговцевъ и чиновниковъ, именно такъ и дѣлало... Но странное дѣло,—этотъ сонный, послѣобѣденный часъ южнаго августа, всегда имѣлъ для меня какую-то непонятную прелесть, всегда томилъ меня неопредѣленными, сладостными желаніями. Мнѣ было скучно, тоскливо, но тоскливо такъ, какъ бываетъ въ молодости, и только потому, что вокругъ меня все замирало отъ полноты счастья,—что въ садахъ, въ степи, на баштанахъ и даже въ самомъ воздухѣ и гус-

томъ солнечномъ блескѣ—все было роскошно, все полно красоты счастливой женщины, между тѣмъ какъ у меня не было ни одной близкой души во всемъ городѣ!

Мнѣ пришло это въ голову, когда я вышелъ на пыльную площадь на окраинѣ города. Тамъ у водопровода наливала воду красивая большая хохлушка въ расшитой бѣлой сорочкѣ и черной плахтѣ, плотно обтягивавшей ей бедра, въ башмакахъ съ подковками на босую ногу (и съ бѣлыми, крѣпкими икрами). Было въ ней что-то общее съ Венерой Милосской, если только можно вообразить себѣ Венеру загорѣлой нѣжнымъ южнымъ румянцемъ, съ карими веселыми глазами и съ такой ясностью чела, которая бываетъ, кажется, только у хохлушекъ и полекъ. Наполнивъ ведра, она положила коромысло на плечо и пошла прямо навстрѣчу мнѣ,—стройная, несмотря на тяжесть плескавшейся воды, слегка покачивая станомъ и постукивая коваными башмаками по деревянному тротуару... И помню, какъ почтительно я посторонился, давая ей дорогу, и какъ долго смотрѣлъ за нею! А въ улицу, которая шла съ площади подъ гору, на Подоль, видна была огромная, мягко-синѣющая долина рѣки, ея дуга, лѣса, загорѣлые, золотистые пески за ними и даль,—южная даль, которая всегда мучила меня чѣмъ-то неопредѣленно красивымъ...

Кажется, никогда не любилъ я такъ Малороссію, какъ въ ту пору, никогда не хотѣлъ такъ жить, какъ въ ту осень, а между тѣмъ я толковалъ тогда именно о воздержаніи въ жизни, бывалъ у молоканъ и духоборовъ, и даже подумывалъ навсегда уйти въ деревню,—пахать,—а пока что—учился бондарному ремеслу. И теперь, постоявъ на площади, я рѣшилъ отправиться въ гости къ толстовцамъ за городъ: все-таки это были единственные мнѣ близкіе люди. Спускаясь подъ гору на Подоль, я встрѣчалъ много экипажей и парныхъ извозчиковъ, которые шибко везли пассажировъ съ пятичасового поѣзда изъ Харькова. Огромныя ломовыя лоша-

ди медленно тащили въ гору гремящія телѣги съ ящиками и тюками, и запахъ москательныхъ товаровъ, ванили и рогожи, извозчики, пыль и люди, которые ѣхали откуда-то, гдѣ насъ нѣтъ и гдѣ поэтому должно быть хорошо,—все опять заставило мое сердце сжаться отъ какихъ-то тоскливыхъ и сладкихъ стремленій. Я торопливо свернулъ въ тѣсный переулочекъ между садами и долго шелъ по мѣщанскому предмѣстью, названія котораго теперь не помню: помню только, что „панычи“ этого предмѣстья, молодые мастеровые и мѣщане, дико „гукали“ въ лѣтнія ночи по долинѣ, да пѣли хорами на церковный ладъ красивыя и печальныя казачія пѣсни. Теперь „панычи“ молотили. На окраинѣ предмѣстья, тамъ, гдѣ голубыя и бѣлыя мазанки стояли уже на левадѣ, при началѣ долины, мелькали на токахъ цѣны. Но въ затишьи долины было жарко такъ же, какъ въ городѣ, и я поспѣшилъ взобраться на гору, въ открытую, ровную степь...

Тихо, покойно и просторно было тамъ! Почти вся степь, насколько хваталъ глазъ, была золотая отъ густого и высокаго жнивья. На широкомъ, безконечномъ шляхѣ лежала густая, глубокая пыль: казалось, что идешь въ бархатныхъ башмакахъ. И все вокругъ,—и жнивья, и дорога, и воздухъ,—сіяло отъ низкаго вечерняго солнца. Прошелъ черный отъ загара, пожилой хохоль въ тяжелыхъ сапогахъ, въ бараньей шапкѣ и толстой свиткѣ цвѣта ржаного хлѣба, и палка, которой онъ попирался, блестѣла на солнцѣ, какъ стеклянная. Крылья грачей, перелетавшихъ надъ жнивьями, тоже блестѣли и лоснились, и нужно было закрываться полями жаркой шляпы отъ этого блеска и зноя. А вдаль не было ни души. Только на дорогѣ, почти на горизонтѣ, можно было различить телѣгу и пару воловъ, которые медленно влекли ее, да шалашъ сторожа на бакчахъ. Славно ему теперь среди этой тишины и простора! Но еще лучше было къ югу и за долиной къ юго-востоку, гдѣ

въ легкомъ просторѣ неба едва видѣлялось розоватое, нѣжно начерченное облачко. Тамъ была такая мирная, ясная грусть, такая спокойная разлука съ уходящимъ счастьемъ!... Ближе ко мнѣ, въ полуверстѣ отъ дороги, надъ долиной краснѣла черепичная кровля маленькаго хутора, на которомъ жили толстовцы, братья Павелъ и Викторъ Тимченки. Поглядѣвъ на степь, я быстро пошелъ туда по сухому, колкому жнивью.

Но, должно быть, я былъ обреченъ въ этотъ день на одиночество. На хуторѣ было пусто. Я заглянулъ въ окошечко флигеля—тамъ гудѣли однѣ мухи, гудѣли цѣлыми роями: на стеклахъ, подъ потолкомъ, въ горшкахъ, стоявшихъ на лавкахъ. Къ хатѣ былъ пристроенъ скотникъ, но и тамъ не оказалось никого. Ворота были открыты и солнце сушило дворъ, заваленный навозомъ...

— Вы куда?—внезапно окликнулъ меня женскій голосъ, когда я съ тоскою зашагалъ по краю горы надъ долиной куда попало.

Я обернулся: на межѣ арбузныхъ баштановъ сидѣла жена старшаго Тимченки, Ольга Семеновна. Не вставая съ межи, она подала мнѣ руку, и я сѣлъ съ ней рядомъ.

— Неужели вамъ не скучно?—спросилъ я, помолчавъ и глядя ей прямо въ глаза.

Она опустила глаза на свои босыя ноги. Маленькая, загорѣлая, въ грязной рубахѣ и старенькой плахтѣ, она была похожа на дѣвочку, которую послали стеречь баштаны и которая грустно проводила долгій солнечный день. И лицомъ она была похожа на дѣвочку-подростка изъ русскаго села. Однако, я никакъ не могъ привыкнуть къ ея одеждѣ, къ тому, что она босыми ногами ходитъ по навозу и колкому жнивью и даже стыдился смотрѣть на эти ноги. Можно смѣло глядѣть на ноги бабы, но когда я вспоминалъ, что она жена бывшаго чиновника, мнѣ дѣлалось неловко. Да она и сама все поджимала ихъ и часто искоса поглядывала на свои испорченные ногти. А ноги были маленькя и красивыя.

— Мужъ ушелъ на леваду молотить,—сказала она,— а Викторъ Николаичъ уѣхалъ... Павловскаго опять арестовали за отказъ отъ солдатчины. Вы помните Павловскаго?

— Помню,—сказалъ я грустно.—Но посмотрите, какъ хорошо!

Я указалъ ей на степь, залитую солнечнымъ блескомъ, на городъ вдаль и обернулся къ долинѣ. Обернулась и она и долго смотрѣла на ея синеву, на лѣса, пески и меланхолично-зовущую даль. Солнце еще грѣло намъ щеки, круглые, тяжелые арбузы лежали среди длинныхъ пожелтѣвшихъ плетей, перепутанныхъ, какъ змѣи, и тоже грѣлись. И вся эта южная картина все больше и больше томилла меня своей красотой.

— Отчего вы такъ неоткровенны со мной?—началъ я, и мнѣ показалось, что я уже давно жалѣю ее.— Зачѣмъ вы насилуете себя?

Она съежилась, подобрала ноги и прикрыла глаза; потомъ сдунула волосъ, упавшій на щеку, и съ рѣшительной улыбкой сказала:

— Дайте мнѣ папироску!

Но больше у нея ничего не вышло. Затянувшись раза два, она закашлялась, далеко бросила папиросу и задумалась.

— Я съ самаго утра такъ сижу,—сказала она.—Куры приходятъ съ самой левады расклеивать арбузы... И не знаю, почему вамъ кажется здѣсь скучно! Мнѣ вотъ очень нравится здѣсь.

— А любите вы августъ?—перебилъ я ее.

Она удивленно подняла брови.

— Почему августъ?—спросила она смущенно.

Я только грустно и загадочно улыбнулся.

Надъ долиной, верстахъ въ двухъ отъ хутора, куда я пришелъ на закатъ, я сѣлъ, снялъ картузъ и мнѣ захотѣлось заплакать. Я радъ былъ, когда двѣ-три крупныхъ, теплыхъ слезы скатились у меня по щекамъ изъ-

подъ закрытыхъ рѣсницъ. Чтобы какъ слѣдуетъ насладиться ими, я закурилъ, сълъ поудобнѣе и мнѣ было такъ грустно и хорошо, какъ давно не бывало: сквозь слезы я смотрѣлъ въ даль, и гдѣ-то далеко мнѣ грезились южные, знойные города, синій степной вечеръ и образъ какой-то женщины, который былъ со мной всюду, сливаясь съ дѣвушкой, которую я любилъ, но дополняя ее своею таинственностью и той безнадежной, дѣтской печалью, которая была въ глазахъ маленькой женщины на баштанахъ. Въ одной мечтѣ объ этомъ несуществующемъ женскомъ образѣ уже было счастье. Но онъ обѣщаль мнѣ больше, — свободу, скитанія, свою любовь, пониманіе самыхъ сокровенныхъ моихъ помысловъ, — все, чего я никакъ не могъ выразить не только словами, но даже думами и что никогда не сбылось и не сбудется!



БЕЗЪ РОДУ-ПЛЕМЕНИ.

I.

Съ вечера я спалъ крѣпко, потому что слишкомъ измучился за день, но потомъ мнѣ стало сниться, что я иду по какимъ-то станціоннымъ дворамъ и запаснымъ путямъ, среди паровозовъ и вагоновъ, ищу мужа Зины и хочу непременно убѣдить его, что я вовсе не врагъ ему. Я любилъ Зину, но теперь не думаю о себѣ, желаю только ея счастья и питаю къ ней только дружбу. Казалось даже, что я говорилъ ему это, но онъ все уходилъ отъ меня и я плохо его видѣлъ, а моя нѣжность къ Зинѣ возрастала, все кругомъ темнѣло, странно вытягиваясь корридоромъ. и вотъ этотъ корридоръ — слабо-освѣщенный, насквозь видный рядъ вагоновъ — уже бѣжитъ, дрожа подо мною, и какая-то стройная и красивая дѣвушка, перебивая мои слова веселымъ шопотомъ, зоветъ и уводитъ меня за руку все дальше по узкому корридору поѣзда.

— Зина! — умоляюще и робко говорю я, замирая отъ жуткой радости.

Она на ходу оборачивается съ странной и веселой улыбкой, отъ которой у меня сжимается сердце, что-то таинственно говоритъ мнѣ и идетъ дальше. Но я уже едва поспѣваю за нею, въ поѣздѣ темнѣетъ, вагоны разрастаются и бѣгутъ, увлекаая меня за собою, — пада-

ють все ниже и ниже, точно сама земля падаетъ подъ ними по наклону, и радость, страсть и отчаяніе достигаютъ во мнѣ такого напряженія, что я дѣлаю послѣднее усиліе крикнуть—и просыпаюсь!

Такъ начался этотъ день. Очнувшись, я долго глядѣлъ неподвижнымъ взоромъ, точно изумленный спокойнымъ видомъ комнаты. Давно день, ставни открыты и на часахъ—половина десятого... Волненіе сна таетъ и уступаетъ мѣсто трезвому сознанию дѣйствительности. Боже, какой тяжелый вздоръ снился мнѣ! И что это напоминаетъ онъ непріятное и какъ будто неестественное? Ахъ, да! Зина повѣнчалась вчера съ Богаутомъ... Значить, несомнѣнно, что моему роману — форменный конецъ!.

Вотъ теперь я ужъ твердо вѣрю въ это. Правда, я давно все зналъ, но тѣмъ не менѣе аккуратно продолжалъ ходить къ Соймоновымъ. Сегодня четвергъ,—значить, это было въ воскресенье... Я думалъ мирно провести вечеръ въ семьѣ, къ которой уже привыкъ. И вдругъ — темнота и тишина во всемъ домѣ, старикъ Соймоновъ одинъ сидитъ въ темномъ кабинетѣ, усиленно курить, задыхаясь болѣе обыкновеннаго, и говоритъ мнѣ, какъ только я появляюсь на порогѣ, неестественно равнодушно:

— А Катерина Семеновна съ Зиной по лавкамъ поѣхали.

И, поныхтѣвъ, продолжаетъ проницески:

— Великое переселеніе народовъ, что называется... Къ семейному торжеству готовимся... Нынче, знаете, весьма скоропалительно выходятъ эти исторіи!

Онъ хочетъ смягчить свои слова проницей, но я понимаю его и стараюсь только объ одномъ — получше попадать ему въ тонъ, чтобы поскорѣе и поприличнѣе уйти.

И я ушелъ, пришибленный, точно выгнанный изъ дому. Чтобы заглушить чувство боли, я усиленно раз-

вивалъ въ себѣ злобу и презрѣніе къ этимъ свадебнымъ приготовленіямъ. Я бродилъ по городу, и когда однажды встрѣтилъ жениха, проѣхавшаго съ какими-то картонками въ коляскѣ, остановился и расхохотался. Катается, дуракъ, на чужихъ лошадахъ и доволенъ! Какъ домой, является въ чужую семью, гдѣ портнихи и бѣлошвейки завалили всѣ комнаты матеріями и выкройками!.. Какое ему дѣло до моихъ каверзныхъ улыбокъ и моего страданія?.. А потомъ—сумерки, освѣщенная церковь, суэта около паперти. Подкатываютъ кареты, и шеголь-приставъ горячится, чтобы сохранить порядокъ въ этой церемоніи... И церемонія совершится въ образцовомъ порядкѣ!

Но даже попытки злиться не удавались мнѣ. Я, какъ во снѣ, ходилъ на службу, и одинъ и тѣ же мысли о Зинѣ, о свадьбѣ дурманили мнѣ голову. А тутъ еще Елена! Чѣмъ я виноватъ, что она не равнодушна ко мнѣ? Я зналъ, что она одинока, измучена бѣганьемъ по урокамъ, что она бросила семью и живетъ впроголодь, но зато у нея есть цѣли и надежды, мечты о курсахъ, о наукѣ и какой-то хорошей жизни. У меня нѣтъ пока никакихъ цѣлей, и вольно же ей было мечтать увлечь и меня за собою! Всегда такая бодрая и веселая, она странно измѣнилась за послѣднее время. То грустно-ласкова со мной, то хмурится, точно ей больно. А когда я рѣзко заявилъ ей третьяго дня о своемъ отъѣздѣ, она вспыхнула, взглянула на меня изумленными глазами, потомъ неловко и кротко улыбнулась и едва выговорила: до свиданья,—ушла... Я разсѣянно посмотрѣлъ ей вслѣдъ.

Но вотъ эти сумерки наступили, и я очнулся. Я минута за минутой пережилъ въ воображеніи все, что должно происходить въ церкви, и жгучая злоба и ревность разрывали мнѣ сердце. Я плакалъ и кого-то умолялъ сжалиться надо мною. Если бы вошла она въ эту минуту! Я обезумѣлъ бы отъ счастья, цѣловалъ бы ея

ноги! Иногда я порывался бѣжать къ ней и у нея искать спасенія отъ моей скорби. Но она-то и мучила меня. Выхода не было, и я метался по своей комнатѣ... Потомъ острая боль стала замирать. Совсѣмъ стемнѣло; затихающій гулъ соборнаго колокола медленно и ровно раскачивался надъ городомъ. Я зналъ, что все уже кончилось тамъ, въ церкви. Острую боль замѣнила тупая, скучная, и я крѣпко заснулъ.

Вотъ опять день, но мнѣ теперь легче. То, что снилось, такъ странно слилось со всѣмъ пережитымъ за послѣднее время. Но это—послѣдній отголосокъ его. Надо вставать, собираться и куда-нибудь уѣхать...

II.

— Паньчу!—раздался голосъ Одарки за дверью,— уже можно нести самоваръ?

— Черезъ пять минутъ!—крикнулъ я лѣниво. Собственно говоря, хорошо не то, что я проснулся, а что кончились эти сновидѣнія. Заснуть спокойно и глубоко было бы такъ отрадно! Но сонъ не приходитъ...

Я долго мылся холодной водою, потомъ, не спѣша, сталъ одѣваться, что-то обдумывая, въ чемъ и самому себѣ не могъ бы дать отчета. За стѣной малороссійской скороговоркой ругала кухарку хозяйка. Мимо окна мягко прокатилъ по немощенной мостовой извозчикъ, и, стуча сапогами по деревянному тротуару, прошли два семинариста. Мнѣ бы тоже давно пора идти—на службу, но я уже давно бросилъ думать о службѣ и, конечно, не пойду и сегодня.

— Вы жъ, паньчу, справили уѣдете сегодня?—спросила Одарка, входя въ комнату съ кипящимъ самоваромъ въ рукахъ.

— Что?—машинально проговорилъ я и, помню, долго глядѣлъ на нее безъ отвѣта. Да,—думалъ я,—Зина

непремѣнно уѣдетъ сегодня съ мужемъ въ Крымъ. Значить, мнѣ тоже надо уѣхать отсюда. Что мнѣ дѣлать теперь въ этомъ скучномъ и постыломъ городишкѣ? Пора, наконецъ, начать болѣе спокойную жизнь!

— Непремѣнно уѣду,—отвѣтилъ я твердо и почти сердито.—Непремѣнно!

И какъ только Одарка скрылась, заварилъ чаю, привелъ въ настоящій порядокъ свой туалетъ и нѣсколько разъ прошелся изъ угла въ уголъ, оглядывая, съ чего начать сборы въ дорогу. Но вдругъ дверь снова распахнулась: почтальонъ!

Я быстро схватилъ письмо—и мгновенно разочаровался. „Пожалуйста, не уходите никуда завтра. Мнѣ нужно серьезно поговорить съ тобой. Елена“. „Какое бабу письмо!“ подумалъ я почти со злобой. Не уходи, серьезно поговорить! Что же я могу сказать ей? Взволнованный, я кинулъ письмо на столъ и опять опустился въ кресло.

День облачный, вѣтренный—стоитъ уже конецъ сентября—и вѣтеръ проноситъ по улицѣ пыль и листья. Въ открытую форточку долетаетъ тревожный шумъ тополей. Улица, гдѣ я такъ однообразно провелъ почти два года,—безлюдная, тихая и вся въ деревьяхъ. Деревья на бульварѣ и около тротуаровъ—старыя и развѣсистыя. Теперь они шумятъ сухой листвою; вѣтеръ гонитъ облака пыли и качаетъ ихъ изъ стороны въ сторону... А пять мѣсяцевъ тому назадъ, въ теплые апрѣльскіе дни, они кудрявились вѣжной, мелкой зеленью, голубое небо сіяло между ихъ вершинами, и я бродилъ подъ ними по мягкой, влажной землѣ, чему-то радуясь и улыбаясь!

Пять мѣсяцевъ... И мнѣ хочется твердо и опредѣленно сказать себѣ, что я очень глупо провелъ эти пять мѣсяцевъ. Убѣдить себя въ этомъ мнѣ тѣмъ легче, что я не только не люблю Зины теперь, но даже со стыдомъ вспоминаю все, что такъ откровенно говорилъ ей.

Знакомство наше состоялось въ мартѣ. Незадолго передъ тѣмъ у насъ образовался „музыкально-драматическій кружокъ“, и я самъ написалъ объ этомъ событіи корреспонденцію въ „Лѣтопись Юга“. Корреспонденции увеличиваютъ мое жалованье въ земской управѣ рублей на восемь, на десять въ мѣсяцъ, и я аккуратно сообщаю въ „Лѣтопись“ обо всѣхъ выдающихся городскихъ событіяхъ. Съ кривой улыбкой, я пишу газетнымъ жаргономъ о положеніи народной столовой и чайной, о полковыхъ праздникахъ и дамскомъ благотворительномъ кружкѣ, о домѣ трудолюбія, гдѣ бѣдные старики и старухи, измученные и обездоленные жизнью, обречены подъ конецъ этой жизни выполнять идиотскую работу—трепать, напримеръ, мочало... Пишу о томъ, что сельскохозяйственное общество „заслужало“ и „передало въ комиссію“ чрезвычайно любопытный докладъ подъ заглавіемъ: „Къ вопросу объ урегулированіи свиноводства“, и тутъ же добавляю, что „нельзя не отмѣтить и другого ограднаго факта: въ средѣ мѣстнаго интеллигентнаго общества, по инициативѣ супруги начальника губерній, возникла благая мысль организовать въ нашемъ богоспасаемомъ городкѣ кружокъ съ цѣлью проведенія въ жизнь и доставленія публикѣ здоровыхъ и разумныхъ развлеченій...“ Съ той же улыбкой я отправился и въ дворянскій клубъ, на одинъ изъ вечеровъ „кружка“, въ качествѣ скрипача, участвующаго въ концертѣ.

Люди, къ которымъ я принадлежу и которые называются у насъ интеллигенціей въ отличіе отъ „обывателей“, совсѣмъ не умѣютъ „держаться себя“. Не умѣю и я. Заставъ меня разговаривать съ купцомъ, съ военнымъ, чиновникомъ—я оказуюсь въ непріятномъ положеніи. Мнѣ чужды ихъ интересы, я не сумѣю провести съ нимъ, какъ слѣдуетъ, даже часа. Такъ было и со мною на вечерахъ „кружка“.

Утомленный однообразной зимней жизнью—службой, обѣдами въ кухмистерской и скучными вечерами въ

своей студенческой комнаткѣ, гдѣ всегда пахнетъ дешевымъ глицериновымъ мыломъ и гдѣ вся мебель состоитъ изъ стола, кровати, двухъ-трехъ стульевъ и плетеной корзины,—я былъ возбужденъ атмосферой клуба. Я былъ доволенъ, что меня знакомятъ съ семьями вице-губернатора и предсѣдателя суда, съ чиновниками особыхъ порученій и съ богатымъ молодымъ помѣщикомъ Вечесловымъ, который такъ хорошо играетъ въ любительскихъ спектакляхъ... Всѣ они такіе свѣжіе, бодрые и всѣ хотятъ незамѣтно обласкать тебя... Въ клубѣ—свѣтло, просторно, зеркала, бархатная мебель, пахнетъ дорогимъ табакомъ и оживленно идетъ говоръ. А главное, я не чувствую себя лишнимъ на этотъ разъ: я сыгралъ, какъ настоящій скрипачъ, одну вещь грустную, нѣжную, похожую на колыбельную пѣсенку, а другую—бойкую, въ темпѣ мазурки, съ рѣзкими ударами смычка и *pizzicato*, т. е. исполнилъ все, что по шаблону полагается сыграть скрипачу на концертѣ, и былъ одобренъ.

Словомъ, первые вечера въ клубѣ прошли недурно. Но на слѣдующихъ я уже безпріютно ходилъ изъ комнаты въ комнату, чѣмъ-то возбужденный и не находя исхода своему волненію. Вотъ тутъ-то и состоялось мое знакомство съ Соймоновыми.

Всѣ они мнѣ понравились: и самъ докторъ, пожилой человекъ, похожіи на помѣщика, съ одышкой и съ такимъ видомъ, словно онъ обѣлся, и его жена, болтливая, молодящаяся дама и ея падчерица, Зина, высокая красивая дѣвушка съ чудными темносиними глазами и длинными рѣсницами.

— Зиночка, матушка! Что это ты сидишь такая сонная?—сказала Александръ Данилычъ, подводя меня къ дочери.—Я вотъ тебѣ еще жениха привелъ. Сергѣй Николаевичъ Вѣтвицкіи.

— Ну, садитесь и рассказывайте,—проговорила Зина. Она улыбнулась и красиво подняла рѣсницы, но только на мгновеніе перевела глаза на меня, а потомъ снова

стала равнодушно глядѣть въ сторону, сидя прямо и машинально играя вѣеромъ.

Я не обратилъ на это вниманія и спросилъ весело:

— Съ чего же начать прикажете?

— Въ качествѣ жениха—съ того, кто вы такой, откуда? „Имя, родина, родные“?

— Зовусь Магометомъ я,—сказалъ я, съ шутиливой грустью опуская глаза.

— Полюбивъ, мы умираемъ?—добавила Зина. Потомъ пристально и задумчиво посмотрѣла на меня.

— Вы не декадентъ?—спросила она.

— Почему?—отвѣтилъ я, невольно смущаясь отъ ея взгляда.

— Да такъ... про васъ ходятъ слухи, что вы нелюдимъ, гордецъ... потомъ у васъ такое лицо...

— Какое?—спросилъ я живо.

— Больное,—отвѣтила Зина, подумавъ.—Вы больны?

Я посмотрѣлъ на ея глаза и губы, на все ея красивое тѣло высокой и уже вполне развитой дѣвушки, услышалъ запахъ ея духовъ и невольно прикрылъ глаза.

— Боленъ,—отвѣтилъ я шутиливо, съ болью чувствуя все обаяніе ея женственности.

— Чѣмъ?

— Жаждой того, чего у меня нѣтъ,—сказалъ я.—А я хочу многого... Любви, здоровья, крѣпости духа, денегъ, дѣятельности... Однимъ словомъ, весьма многого,—прибавилъ я, опять прикрываясь шутиливой улыбкой.

Къ удивленію моему она, помолчавъ, быстро и серьезно отвѣтила:

— Я очень понимаю васъ. У меня тоже ничего нѣтъ. Только не нужно говорить объ этомъ...

Я хотѣлъ что-то возразить, но удержался и только съ радостью почувствовалъ, что между нами уже установилась тонкая связь пониманія другъ друга.

— Ну, а почему-же вы думаете, что я гордецъ и нелюдимъ?—спросилъ я оживленно.

— Потому что у васъ очень надменный и грустный взглядъ,—сказала Зина.—Мнѣ кажется, что вы никогда никого не любили и что вы большой эгоистъ.

Я былъ задѣтъ за живое, но опять сдержалъ себя и сталъ говорить полшутливымъ тономъ:

— Можетъ быть... Вы, пожалуй, сказали горькую правду. Кого любить? За что?

— Какъ кого и за что?—перебила Зина.

— Да такъ,—отвѣтилъ я уклончиво.— Настоящихъ людей еще слишкомъ мало на свѣтѣ...

— Виновата,—вдругъ сказала Зина.—Мнѣ нужно подойти къ тетюшкѣ.

И она съ привѣтливой и радостной улыбкой пошла навстрѣчу старухѣ, сопровождаемой бѣлокуримъ и женственнымъ молодымъ человѣкомъ,—старухѣ съ лошадинымъ лицомъ и совиными глазами, которые посмотрѣли на меня очень удивленно. Я, какъ истый пролетарій, опять почувствовалъ себя лишнимъ и надулся. А когда Зина вернулась ко мнѣ, началъ притворно-лѣниво и очень некстати глумиться надъ жандармскимъ полковникомъ, надъ любительницей-пѣвицей, пожилой, некрасивой и сильно декольтированной дѣвушкой, надъ виолончелистомъ...

— Посмотрите,—говорилъ я,—какой онъ маленькій, молоденькій и головастый. Типичный музыкантикъ. Лицо—конфетное, но зато волосы совсѣмъ какъ у Рубинштейна...

— А это кто, не знаете?—продолжалъ я, все болѣе раздражаясь и въ тоже время все болѣе оцущая женственное обаяніе Зины и все болѣе желая вовлечь ее въ разговоръ.—Вотъ тотъ пожилой господинъ съ артистической наружностью и лицомъ алкоголика? Посмотрите, какъ у него запухли глаза и какъ онъ смотритъ всегда—точно сонный, съ холоднымъ презрѣніемъ. Это настоящий клубный посѣтитель, и про него непременно

говорять, что онъ—умница, золотая голова, только спился, опустился и долженъ всёю...

— Это Алексѣй Алексѣевичъ Бахтинъ, мой дядя,—отвѣтила Зина съ неловкой улыбкой...

III.

Таковъ былъ первый вечеръ. Однако, я часто началъ бывать у Соимоновыхъ и Зина сперва радовалась мнѣ. Мы даже говорили другъ другу, что мы—больше друзья, но что-то мѣшало нашей дружбѣ: общее у насъ было одно—жажда жизни,—въ остальномъ мы были чужды другъ другу. Это я чувствовалъ больше всего, когда у Соимоновыхъ собирались гости. Да и вообще наши разговоры,—даже наединѣ,—не удовлетворяли меня. Наступили свѣтлые апрѣльскіе дни, мнѣ хотѣлось куда-нибудь за городъ, въ степь... Мнѣ казалось, что я все скажу ей тамъ... Но она неизмѣнно отвѣчала:

— Я вовсе не хочу, чтобы мы сдѣлались басней города. Вотъ соберемся какъ-нибудь компаніей. Вы вѣдь, все равно, знаете, что я только для васъ поѣду.

И я ограничивался тѣмъ, что провожалъ ее въ лавки или въ народную чайную, гдѣ она, въ числѣ другихъ дамъ-покровительницъ, дежурила по пятницамъ. А вечеромъ я одинъ уходилъ за городъ, къ вокзалу за рѣку, или въ городской садъ, гдѣ еще не началась лѣтняя ресторанныя жизнь.

По вечерамъ въ саду совсѣмъ никого не было. Чистый весенній воздухъ холодѣлъ на закатѣ, и въ пустынномъ еще черномъ саду казалось, что стоитъ ясный октябрьскій вечеръ. Только первыя алмазныя звѣздочки по весеннему, ласково теплились надъ вершинами деревьевъ и соловьи въ чащахъ пробовали свои голоса. Рѣзко нахло пробивавшейся изъ земли травкой и самой землею—холодной и влажной. И я до полной усталости

ходить въ пустынныхъ аллеяхъ и по дорожкамъ, засыпаннымъ прошлогодней слежавшейся листвою... Дома же я до поздней ночи игралъ у раскрытаго окна на скрипкѣ, и скрипка звонко и жалобно пѣла въ чистомъ ночномъ воздухѣ, въ ладу съ моимъ сердцемъ.

Потомъ было одно время, когда Зина рѣзко измѣнилась ко мнѣ. Въ срединѣ мая подготовительныя управскія работы къ экстренному собранію около двухъ недѣль не позволяли мнѣ ходить къ Соимоновымъ. И вотъ какъ-то въ воскресенье я сидѣлъ въ своей комнатѣ и сгѣшилъ окончить кое-какія статистическія выкладки. Съ самаго утра перепадалъ теплый, веселый дождикъ, и обмытая имъ майская зелень и самый воздухъ, казалось, молодѣли отъ него. Громъ рокоталъ то въ той, то въ другой сторонѣ, но поминутно, между клубами дымчатыхъ и бѣлыхъ облаковъ, вздымавшихся по небу, сіяла яркая, чистая лазурь и выглядывало жаркое солнце... Я засмотрѣлся въ окно, на голубыя лужи подъ деревьями, какъ вдругъ мимо окна быстро прошла Зина. Съ минуту я сидѣлъ неподвижно, изумленный ея появленіемъ, потомъ схватилъ шляпу и кинулся на улицу... Ахъ, какой это былъ славный и веселый день!

— Мнѣ было грустно безъ васъ,—говорила Зина смущенно, но улыбаясь,—я сама, наконецъ, рѣшилась идти къ вамъ.

И я въ упоеніи цѣловалъ ея красивыя, душистыя руки съ колючими перстнями и не зналъ, что сказать ей отъ счастья...

А потомъ я не зналъ, что сказать отъ сомнѣній. Я по цѣлымъ ночамъ обдумывалъ на тысячи ладовъ, что можетъ выйти изъ моего брака съ Зиной, и приходилъ къ неутѣшительнымъ заключеніямъ. „Мы разные люди,—думалъ я,—она даже мало интеллигентна. Наконецъ, у нея ничего нѣтъ, и куда я возьму ее? Въ эту комнату?“

И потянулись томительные вечера, которые я неиз-

мѣнно проводилъ у Соѣмоновыхъ. Я потерялъ, выражаясь вульгарно, удобный моментъ... Да и любилъ ли я ее?

Помню, въ одинъ холодный и дождливый вечеръ мнѣ было особенно скучно. Зина что-то шила, я перелистывалъ журналъ. Стихотвореніе Леконта де-Лилля, которое я нашелъ въ немъ, чрезвычайно совпало съ моимъ настроеніемъ, и я сталъ читать, едва сдерживая слезы:

Укорь ли намъ неси, прощальный ли привѣтъ,
Какъ дальнихъ волкъ прибой, осенній вѣтеръ стонетъ
И вдоль пустыхъ аллей деревья грустно клонитъ,
О, солнце,—а на нихъ твой свѣтъ, кровавый свѣтъ...

— Не правда ли, какъ хорошо?—спросилъ я.

— Да, красиво,—отвѣтила Зина машинально.

— А по моему,—сказалъ Александръ Данилычъ,— все это „собачья старость“ и больше ничего.

Зина звонко и весело расхохоталась...

А тутъ у Соѣмоновыхъ почти каждый день началъ бывать помощникъ присяжнаго повѣреннаго Богаутъ, молодой человѣкъ, здоровый и жизнерадостный, какъ нѣмецъ, всегда и со всѣми любезный и ласковый. Я же сталъ проводить вечера въ обществѣ Елены, милой и простой дѣвушки изъ духовнаго званія. Мы ѣли съ ней колбасу, пили чай, слушали у окна музыку военнаго оркестра, доносившуюся изъ сада, и говорили о марксистахъ и народникахъ. Но о чемъ иномъ мы могли говорить съ ней? Что-то милое, молодое было въ ея простомъ, русскомъ лицѣ, что-то трогательное было въ ея открытомъ взглядѣ и въ томъ, какъ она, доставая изъ кармана юбки роговую гребеночку, причесывала свои остриженные волосы на косой рядъ. Все это влекло меня къ ней, но я уже замѣчалъ, что она мою товарищескую нѣжность и нашу выдумку говорить на „ты“ начинаетъ принимать за любовь. Я открыто смѣялся и надъ марксистами и надъ народниками, говорилъ, что я могъ-бы стать общественнымъ человѣкомъ только при исключи-

тельныхъ условіяхъ,—напримѣръ, если-бы настали дни настоящаго общественнаго подъема,—или если-бы я самъ хоть немного былъ счастливъ лично... Она смотрѣла на меня въ такія минуты пристально, жадно и, увлекаясь страстностью моихъ словъ о личномъ счастьи, о тоскѣ существованія среди поголовнаго мѣщанства, говорила задумчиво и убѣжденно:

— Ты не понимаешь самого себя...

И такимъ образомъ и съ Еленой я былъ лишень того, чего мнѣ такъ страстно хотѣлось—возможности быть понятымъ въ нищетѣ моего существованія...

IV.

Въ надеждѣ, что она придетъ какъ разъ въ мое отсутствіе, я отправляюсь въ кухмистерскую обѣдать.

Въ самомъ дѣлѣ, какой скучный день! Прохожихъ мало, бѣлые каменные дома въ пыли. Вѣтеръ несетъ по мостовой эту бѣлесую пыль и шуршитъ на бульварахъ тощими и почернѣвшими акаціями... Вотъ присутственныя мѣста на площади, вотъ главная улица. Тутъ больше прохожихъ и проѣзжихъ, около магазиновъ тѣнятся экипажи... Мнѣ же все кажется, что въ городѣ—праздникъ, потому что Зина вчера повѣнчалась и сегодня дѣлаетъ съ мужемъ визиты... Шибко прокатилъ на парѣ сѣрыхъ, бойкихъ и злыхъ лошадей полиціимейстеръ. Пристяжная круто отвернула отъ кореника голову, кучеръ—въ струну, а самъ полиціимейстеръ весело оглядывается, по офицерски заложивъ руки въ карманы. Это онъ къ Соѣмоновымъ, должно быть... И я безсознательно прибавляю шагъ; сердце забилося сильнѣе, и тинетъ хоть еще разъ взглянуть на ихъ домъ...

Но зачѣмъ?

И преодолевъ себя, я повертываю на тихую Старо-

Замковую улицу, гдѣ уже второй годъ обѣдаю въ польской „кондитерской“.

Я быстро подошелъ къ дверямъ—и внезапно струсилъ. А если тутъ Елена? Вѣдь часто случалось, что мы обѣдали вмѣстѣ. Можетъ случиться и сегодня...

Въ нерѣшимости я прошелъ мимо оконъ, заглянулъ въ столовую. Въ столовой пусто,—значить, можно идти смѣло...

Съ облегченнымъ сердцемъ я взялся за ручки двери.

Но невеселыя мысли и тутъ преслѣдовали меня. Знаете вы этихъ забытыхъ трудомъ и бѣдностью старушекъ, которыя встрѣчаются иногда на улицахъ, въ кухмистерскихъ и присутственныхъ мѣстахъ въ дни выдачи пенсій? Почему-то все онѣ маленькаго роста, ходятъ въ старенькихъ бурнусахъ и убогихъ шляпкахъ, смотрятъ на все робкими, недоумѣвающими глазами и возбуждаютъ мучительную жалость своимъ покорнымъ видомъ... Какъ нарочно, и сегодня одна изъ нихъ тутъ.

Я старался глядѣть только въ тарелку, но не могъ забыть о своей сосѣдкѣ. „Вѣрно, думалось мнѣ, она даетъ уроки языковъ или музыки, живетъ одна въ маленькой, чистой комнаткѣ, гдѣ горитъ лампадка въ часы ея недолгаго отдыха, когда темнѣетъ субботній вечеръ и тихо рветъ надъ городомъ звонъ ко всенощной... Но чувствуетъ ли она, какъ горько на старости лѣтъ, безъ семьи, безъ близкихъ, отдыхать только въ субботній вечеръ? Знаетъ ли она, какъ тяжело глядѣть на нее, когда плетется она въ своемъ старомъ бурнусѣ съ урока въ кухмистерскую или вечеромъ въ лавочку за осьмушкой чаю? А главное не приходитъ ли ей въ голову, что между нами есть что-то общее?“

Эта мысль злитъ меня, думы и воспоминанія вереницей проходятъ въ моей головѣ. Я прихожу домой и усердно принимаюсь за уборку вещей въ дорогу. Но какія же у меня вещи?

Я открылъ корзину, въ которой въ безпорядкѣ на-

валено бѣлье, выдвинулъ изъ-подъ кровати чемоданъ съ письмами, бумагами и нотами—и опустилъ руки.

Тутъ все мои воспоминанія. Этотъ чемоданъ — мой старый товарищъ. Въ первый разъ онъ отправился со мной въ путешествіе еще тогда, когда я только что „вступалъ въ жизнь“, т. е. ѣхалъ на югъ въ университетскій городъ.

Удивительно живо я помню эти дни въ пути! Помню даже, какъ смотрѣлся въ зеркало на вокзалѣ въ Курскѣ и думалъ, что я похожъ на Шопена; помню какъ по вагону ходили полосы свѣта и тѣни—отъ яркаго мартовскаго солнца и клубовъ дыма, плывущихъ мимо оконъ. Снѣжныя поля блестяли золотой слюдой, сіяющая даль манила къ югу, къ чему-то молодому и веселому... А потомъ—большой, шумный городъ, весна, во всемъ что-то нѣжное, легкое, южное... Сѣверный уѣздный городокъ, гдѣ осталась моя семья, раззорившаяся помѣщичья семья, былъ отъ меня далеко, я не понималъ тогда, что потерялъ послѣднюю связь съ родиной. Развѣ есть у меня теперь родина? Если нѣтъ работы для родины, нѣтъ и связи съ нею.

И для меня потянулись одинокіе дни, безъ дѣла, безъ цѣли въ будущемъ и почти въ нищетѣ. Вѣдь у меня нѣтъ даже и этой связи съ родиной—своего угла, своего пристанища. И я быстро постарѣлъ, вывѣтрился нравственно и физически, сталъ бродягой въ поискахъ работы для куска хлѣба, а свободное время посвятилъ меланхолическимъ размышленіямъ о жизни и смерти, жадно мечтая о какомъ-то неопредѣленномъ счастьи... Такъ сложился мой характеръ и такъ просто прошла моя молодость.

Собственно говоря, и вспоминать-то нечего. А все-таки при взглядѣ на этотъ истрепанный чемоданъ я опускаю руки, подавленный воспоминаніями. Каждый разъ, какъ мнѣ приходится укладывать въ него мой скарбъ, я говорю себѣ: вотъ еще невозвратно прошло

столько-то лѣтъ; еще часть моей жизни оторвана... И мнѣ больно говорить это себѣ. Вспоминаются одинъ за другимъ дни, проведенные въ этой комнатѣ,—дни, полные моихъ неопредѣленныхъ надеждъ и мечтаній, и кажется, что было въ нихъ что-то молодое и хорошее. Вспоминаются и далекіе дни, тѣ, что рисуются мнѣ словно въ туманѣ. О нихъ говорятъ связки писемъ. Вотъ письма родныхъ, которые гдѣ-то тамъ, на сѣверѣ, все еще ждутъ меня къ праздникамъ и грустятъ обо мнѣ съ нѣжною любовью, какъ о мальчикѣ... Вотъ письма первой любви, первыхъ товарищей... И при взглядѣ на каждое изъ нихъ у меня сжимается сердце...

Рѣзкій звонокъ заставилъ меня быстро вскочить съ кресла и кинуться къ шляпѣ. Елена! И я заметался по комнатѣ, готовый даже прыгнуть въ окошко. А между тѣмъ уже слышенъ ея голосъ:

— Дома Вѣтвицкій?

Я распахнулъ дверь, пробѣжалъ черезъ кухню, оттуда—по двору къ калиткѣ и, пока Елена была въ домѣ, успѣлъ повернуть за уголъ...

V.

До поздняго вечера я бродилъ за городомъ.

Кругомъ было поле, безжизненное, унылое. Напылали угрюмыя тучи, вѣтеръ усиливался и сухой бурьянъ летѣлъ по пашнямъ въ непривѣтную, темную даль. И на душѣ у меня становилось тоже все темнѣе и темнѣе.

Въ смутномъ, волнуемомъ сумракѣ городского сада сидѣлъ подъ старыми деревьями на забытой скамейкѣ. Вотъ гдѣ, думалось мнѣ, уныніе-то теперь—на кладбищѣ! Развѣ въ смерти есть что-нибудь ужасное, сильное? Смерть—ничто, пустота. И только однимъ этимъ и цугаетъ насъ смерть. И на кладбищѣ также: сумерки, ни души кругомъ; могилы и могилы, заросшія травой; тра-

ва теперь высохла, пожелтѣла и тихо шелестить отъ вѣтра...

— А гдѣ Елена?—приходило мнѣ иногда въ голову внезапно.—Вѣдь она совсѣмъ одна и въ безнадежной тоскѣ ждетъ ночи... Можетъ быть, она тутъ гдѣ-нибудь,—въ саду?

Я вдругъ вспоминаю чью-то легенду о вѣтреныхъ дняхъ и душахъ повѣсившихся людей и въ испугѣ поднимаюсь со скамьи. Зачѣмъ я такъ скверно спрятаюсь отъ нея? Зачѣмъ не поговорилъ съ ней? Но, съ другой стороны, что же я могъ сказать ей? Это все равно, что мнѣ отправиться сейчасъ къ Зинѣ... Да и нельзя отправиться... Пять часовъ, она уѣхала...

Я опять сажусь и пристально гляжу въ одну точку, стараясь охватить то, что творится въ моей душѣ.

Звѣзды въ мутномъ небѣ свѣтятъ блѣдно и сумрачно. Вѣтеръ поднимаетъ пыль на дорожкахъ почти темнаго сада, и съ деревьевъ сыплются листья. Точно напряженный шопотъ, не смолкаетъ надо мною порывисто усиливающийся шумъ и шелестъ деревьевъ. А когда вѣтеръ, какъ духъ, какъ живой, убѣгаетъ, кружась, въ дальнія аллеи, старые тополи гудятъ тамъ такъ угрюмо, что становится жутко. Гуль ихъ вершинъ грустно сливается съ моимъ настроеніемъ, и старыя грустныя сравненія приходятъ въ голову... Какъ вѣтеръ листьями, играетъ жизнь моею судьбою, и я ли виноватъ, что не могу открытой грудью встрѣтить бурю жизни!

Когда я, наконецъ, рѣшилъ вернуться домой, была уже ночь. Подавленный тоской, подгоняемый вѣтромъ, я бессильно брелъ по улицамъ. Вотъ и нашъ домишко ярко свѣтитъ окнами въ черномъ мракѣ подъ деревьями. Кругомъ шумъ вѣтра и листьевъ, а тамъ тихо, и сухія вѣтки плюща, какъ во снѣ, качаются надъ окномъ моей комнаты. Въ ней, за стеклами, спокойнымъ, ровнымъ свѣтомъ горитъ лампа... Куда же я ѣду? Кто гонитъ меня въ эту неизвѣданную даль, гдѣ полутемный поѣздъ,

одинокая ночь и долгій, замирающий, точно прощальный, стонъ паровоза?

Въ страхѣ я остановился.

— Елена!—хотѣлось крикнуть мнѣ.

И точно по волшебству угадавъ мое желаніе, она неслышно вышла изъ темноты подѣ деревьями.

— Можно къ тебѣ?—спросила она деревяннымъ голосомъ.

Я растерялся и смущенно пробормоталъ:

— Конечно... Конечно, можно... Сдѣлай одолженіе...

Въ темнотѣ я долго не могъ попасть ключемъ въ замочную скважину, наконецъ, отворилъ дверь и естественно-шутливо проговорилъ:

— Прошу!

— Я только на минутку,—отвѣтила она сухо, входя въ комнату и не глядя на меня.

Я подвинулъ ей кресло, сѣлъ противъ нея и взялъ ее за руку.

— Снимай,—сказалъ я ласково, указывая глазами на перчатку,—посиди у меня.

Она взглянула на меня, улыбнулась, но вдругъ губы ея дрогнули и на глазахъ показались слезы.

— Елена!—сказалъ я ласково и укоризненно.

Она не отвѣтила. Я повторилъ свои слова, но уже безъ нѣжности и пожалъ плечами.

— Елена!—снова началъ я съ раздраженіемъ.—Надо же взять себя въ руки,—прибавилъ я, чувствуя, что говорю глупости.

Она упорно молчала. Зубы ея были стиснуты, въ голубыхъ глазахъ, пристально устремленныхъ на огонь, стояли слезы.

Я съ шумомъ отодвинулъ кресло, быстро застегнулъ на все пуговицы пиджакъ и, заложивъ руки въ его карманы, заходилъ по комнатѣ. Но повернувъ раза два или три, снова бросился въ кресло и, прикрывъ глаза, спросилъ съ холодной насмѣшливостью:

— Что же тебѣ угодно отъ меня?

Она быстро и удивленно взглянула на меня, хотѣла что-то сказать, но вдругъ закрыла лицо руками и разразилась громкими, судорожными рыданіями. И рыдая, комкая къ глазамъ платокъ, заговорила отрывистымъ рѣзкимъ голосомъ:

— Ты не смѣешь такъ говорить!.. Какъ ты... смѣ-ешь... когда я... такъ... относилась къ тебѣ!.. Ты обманывалъ меня...

— Зачѣмъ ты врешь?—перебилъ я ее,—ты отлично знаешь, что я относился къ тебѣ по-дружески. Но чѣмъ я былъ обязанъ на большее? Чѣмъ? Я не хочу вашей мѣщанской любви... Оставьте меня въ покоѣ!

— А я не хочу твоей декадентской дружбы!—крикнула Елена и отняла платокъ отъ глазъ. — Зачѣмъ ты ломался?—заговорила она твердо, сдерживая рыданія и глядя на меня въ упоръ съ ненавистью.—Почему ты вообразилъ, что мной можно было играть?

Я опять рѣзко перебилъ ее:

— Ты съ ума сошла! Когда я игралъ тобою? Мы оба были одиноки, оба искали поддержки другъ въ другѣ,—и, конечно, не нашли,—и больше между нами ничего не было.

— А, ничего,—снова крикнула Елена злобно и радостно.—Какой-же такой любви вамъ угодно? Почему ты даже мысли не допускаешь равнять меня съ собою? Я одна, меня ждетъ ужасная жизнь гдѣ-нибудь въ сельскомъ училищѣ, я мелкая общественная единица, но я лучше тебя. А ты? Ты даже вообразить себѣ не можешь, какъ я васъ ненавижу всѣхъ,—неврастениковъ, эгоистовъ, „предтечей будущаго“, какъ вы себя величаете! Все для себя! Все ждете, что ваша ничтожная жизнь обратится въ нѣчто необыкновенное.

— Да,—сказалъ я со злобою, подымаясь.—Я люблю жизнь, безнадежно люблю и, конечно, дорожу ею. Мнѣ

дана только одна жизнь и та на какія-нибудь пятьдесят лѣтъ, изъ которыхъ пятнадцать ушло на дѣтство и четверть уйдетъ на сонъ. И при этомъ я никогда не зналъ счастья! Смѣшно, не правда ли?

Но Елена опять прижала платокъ къ глазамъ и зарыдала съ новой силой.

— И поэтому ты...—заговорила она гадливо.—И потому ты сегодня такъ низко и спрятался отъ меня? Ты опять лжешь, чтобы закрыться пышными фразами...

Я съ неимовѣрной быстротой схватилъ прессъ-папье и со всего размаху ударилъ имъ по столу.

— Уйди!—крикнулъ я бѣшено.

И мгновенно похолодѣлъ отъ ужаса за сдѣланное. Я увидалъ, какъ Елена вскочила, сразу оборвавъ рыданія, и лицо ея рѣзко измѣнилось отъ дѣтскаго страха.

— Сережа!—вырвалось у нея съ невыразимой нѣжностью.

— Уйди!—закричала я опять, но уже другимъ—жалкимъ голосомъ, до глубины души пораженный жалостью.

Она распахнула дверь, и вѣтеръ, какъ шалый, со стукомъ рванулъ къ себѣ раму, съ шелестомъ и шумомъ деревьевъ ворвался въ комнату и мгновенно уничтожилъ свѣтъ лампы. Я упалъ на постель, уткнулся лицомъ въ подушку и заскрежеталъ зубами, упиваясь своею скорбью и своимъ отчаяньемъ. Тополи гудѣли и бушевали во мракѣ... Но я точно былъ радъ всему этому. Все равно, все равно!—повторялъ я съ мучительнымъ наслажденіемъ, — пусть бушуетъ вѣтеръ, пусть шумъ деревьевъ, стукъ ставень, что-то крики вдали сливаются въ одинъ дикій хаосъ! Жизнь, какъ вѣтеръ, подхватила меня, отняла волю, сбила съ толку и несетъ куда-то въ даль, гдѣ смерть, мракъ, отчаянье!..



ПОЗДНЕЙ НОЧЬЮ.

Быль ли это сонъ или часъ ночной таинственной жизни, которая такъ похожа на сновидѣніе, я не умѣю сказать. Казалось мнѣ, что осенній грустный мѣсяцъ уже давнымъ-давно плыветъ надъ землей, что на землѣ все точно вымерло въ глубокой тишинѣ и что наступилъ часъ отдыха отъ всей лжи и суеты дня. Казалось, что уже весь, до послѣдняго нищенскаго угла, заснулъ Парижъ и спалъ долго... Долго спалъ и я, и, наконецъ, медленно отошелъ отъ меня сонъ, какъ заботливый и неторопливый врачъ, сдѣлавшій до конца свое дѣло и оставившій больного уже тогда, когда онъ вздохнулъ полной грудью и, открывъ глаза, улыбнулся застѣнчивой и радостной улыбкой возвращенія къ жизни. А когда сонъ сдѣлалъ свое дѣло, когда я, очнувшись, открылъ глаза,—я увидалъ себя въ тихомъ и свѣтломъ царствѣ ночи, наединѣ съ ея глубокимъ молчаніемъ,—наединѣ съ тѣмъ, что я переживалъ лишь въ дѣтствѣ.

Я неслышно ходилъ по ковру въ своей комнатѣ на пятомъ этажѣ и подошелъ къ одному изъ оконъ. Я смотрѣлъ то въ комнату, большую и полную легкаго сумрака, то въ верхнее стекло окна на мѣсяцъ, для чего мнѣ нужно было наклоняться въ оконную амбразуру. Мѣсяцъ тогда обливалъ меня съ головы до ногъ свѣтомъ, и поднявъ глаза вверху, я долго смотрѣлъ въ его лицо. Потомъ опять отклонялся въ сумракъ. И когда я смо-

трѣль и прислушивался, я опять чувствовалъ, что стоить мертвая тишина поздней ночи и что все, что было пережито днемъ, стало такъ далеко и такъ чуждо для меня!

Мѣсячный свѣтъ, проходя сквозь бѣлесыя кружева гардинъ, смягчалъ сумракъ въ глубинѣ комнаты. Отсюда мѣсяца не было видно. Но всѣ четыре окна были озарены ярко, также какъ и то, что было около нихъ. Мѣсячный свѣтъ падалъ изъ оконъ четырьмя блѣдно-голубыми, блѣдно-серебристыми арками, и внутри каждой изъ нихъ былъ дымчатый теневой крестъ, мягко ломавшійся по озареннымъ кресламъ и стульямъ. И въ креслѣ у крайняго окна сидѣла та, которую я любилъ,—вся въ бѣломъ и похожая на дѣвочку или ангела, блѣдная и красивая въ своей задумчивости, грустная ото всего, что мы пережили и что дѣлало насъ такъ часто злыми и беспощадными врагами.

О чемъ она думала? И отчего она тоже не спала въ эту ночь?

Избѣгая глядѣть на нее, я сѣлъ на окно рядомъ съ ней... Да, поздно,—вся пятиэтажная стѣна противоположныхъ домовъ темна,—ни одного живого окошка. Всѣ чернѣютъ, какъ слѣпые глаза. Я заглянулъ внизъ,—узкій и глубокий коридоръ улицы тоже темень и пустъ. И такъ, вѣроятно, во всемъ городѣ. Только блѣдный сіяющій мѣсяцъ, слегка наклоненный на правый бокъ, катится и въ тоже время остается недвижимымъ среди дымчатыхъ бѣгущихъ облаковъ, одиноко бодрствуя надъ городомъ. Какъ давно мы не видались съ нимъ! Теперь онъ глядѣлъ мнѣ прямо въ глаза, свѣтлый, но немного на ущербѣ и оттого—печальный. Облака дымомъ плыли мимо него. Около мѣсяца они были свѣтлы и таяли, дальше отъ него сгущались, а за гребнемъ крышъ проходили уже совсѣмъ угрюмой и тяжелой грядой...

— Давно не видалъ я мѣсячной ночи!—опять подумалъ я съ грустью, и мысли мои опять возвратились къ

далекимъ, почти забытымъ осеннимъ ночамъ, которыя съ такими же чувствами, только безъ боли за прошлое, видѣлъ я когда-то въ дѣтствѣ, среди холмистой и скудной степи средней Россіи. Тамъ мѣсяцъ глядѣлъ въ окошечко подъ мою родную кровлю и тамъ впервые узналъ и полюбилъ я его кроткое и блѣдное лицо. Незамѣтно для самого себя, я мысленно покинулъ Парижъ и на мгновеніе померещилась мнѣ вся Россія, точно съ возвышенности я взглянулъ на огромную низменность. Вотъ золотисто-блестящая, пустынная ширина Балтійскаго моря. Вотъ—хмурия страны сосенъ, возрастающихъ и уходящихъ въ сумракъ къ востоку, а вотъ—рѣдкіе лѣса, болота и перелѣски, ниже которыхъ, къ югу, начинаются безконечныя поля и равнины. На сотни верстъ скользятъ по лѣсамъ рельсы желѣзныхъ дорогъ, тускло поблескивая при мѣсяцѣ. Сонные разноцвѣтные огоньки мерцаютъ вдоль путей и одинъ за другимъ убѣгаютъ на мою родину. И вотъ передо мною пустыня, слегка холмистыя поля, а среди нихъ—старый, сѣрый помѣщичій домъ, ветхій и кроткій при мѣсячномъ свѣтѣ... Неужели это тотъ же самый мѣсяцъ, который глядѣлъ когда-то въ мою дѣтскую комнату, который видѣлъ меня потомъ юношей и который груститъ теперь вмѣстѣ со мной о моей неудавшейся молодости? Неужели это онъ успокоилъ меня въ свѣтломъ царствѣ ночи, возвративъ мнѣ все, что, казалось, уже навсегда угасло въ моемъ измученномъ сердцѣ?

И я ходилъ и думалъ, а ночь неслышно неслась на своихъ беззвучныхъ крыльяхъ...

— Отчего ты не спишь?—услыхалъ я, наконецъ, робкій голосъ.

И то, что она первая обратилась ко мнѣ послѣ долгаго и упорнаго молчанія, больно и сладко кольнуло мнѣ въ сердце. Что-то дрогнуло у меня внутри, но, подавивъ волненіе, я тихо отвѣтилъ:

— Не знаю... А ты?

И опять мы долго молчали. Мѣсяць замѣтно опустился къ крышамъ и уже глубоко заглядывалъ въ нашу комнату. Ни одной души, казалось, не было во всемъ огромномъ домѣ, и мнѣ хорошо было чувствовать, что мы совершенно наединѣ съ нею.

— Инна, — сказалъ я, подходя къ ней, — прости меня.

Она не отвѣтила и закрыла глаза руками.

— Инна...—повторилъ я несмѣло и отвелъ руки отъ глазъ.

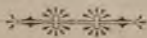
Она опять не отвѣтила и наклонила голову. Но, взглянувъ, я увидалъ, что изъ ея закрытыхъ глазъ тихо катились слезы, а брови были подняты и дрожали, какъ у ребенка. И увидавъ это, я опустился у ея ногъ на колѣни, крѣпко обнялъ ее и прижался къ ней лицомъ, не сдерживая ни своихъ, ни ея слезъ и цѣлуя ея руки.

Она растерялась и старалась поднять мою голову съ своихъ колѣнь.

— Но развѣ ты виновата?—говорила она смущенно.—Развѣ не я во всемъ виновата?

И улыбалась сквозь слезы радостной и горькой улыбкой.

Она хотѣла взять всѣ вины на себя одну, старалась во всемъ оправдать меня, а я говорилъ ей, что мы оба виноваты, потому что оба нарушали заповѣдь радости, для которой мы должны жить на землѣ. И, на мгновеніе возвратившись къ искренности и нѣжности дѣтства, мы вмѣстѣ провели остатокъ этой ночи. Мы опять любили другъ друга, какъ могутъ любить только тѣ, которые вмѣстѣ страдали, вмѣстѣ заблуждались, но зато вмѣстѣ встрѣчали и рѣдкія мгновенія правды. И только блѣдный грустный мѣсяць видѣлъ наше счастье и говорилъ намъ о правдѣ Вѣчной Ночи, передъ лицомъ которой, можетъ быть, простятся всѣ наши прегрѣшенія,—вольныя и невольныя...



НА ДОНЦѢ.

О Довче! немало ти величія. лебѣвшу князя на влѣнахъ. ставишу ему зелснѣ траву на свои сребреныхъ брѣзѣхъ, одѣввишу его теплыми мѣглами!..

Сл. о Пл. И.

I.

Шляхъ отъ Путивля къ Донцу, къ древнему монастырю на Святыхъ Горахъ пролегаетъ на юго-востокъ, на Азовскія степи...

Ранимъ утромъ великой субботы я былъ уже подѣ Славянскомъ. Но до Святыхъ Горъ оставалось еще верстъ двадцать, и нужно было идти поспѣшно. Этотъ день мнѣ хотѣлось провести въ обители.

Подѣ Славянскомъ я свернулъ къ востоку, и впереди разстлалось теперь пустынное сѣрое поле. Одинъ сторожевой курганъ стоялъ вдалькѣ и, казалось, зорко глядѣлъ на равнины. Къ тому же, съ утра въ степи было по весенному пусто, холодно и вѣтрено; вѣтеръ просушивалъ колеи грязной дороги и уныло шуршалъ прошлогоднимъ бурьяномъ. Но за мною, на западѣ, картинно рисовалась въ необозримой дали гряда мѣловыхъ плоскогорій. Темнѣя пятнами лѣсовъ, какъ старинное, тусклое серебро чернью, она заворачивала къ югу и тонула въ голубомъ утреннемъ туманѣ. И, вздохнувъ полной грудью, на этомъ просторѣ, я опять ускорялъ шаги. На

ходу я разгорѣлся и шелъ легко и быстро. Вѣтеръ дулъ навстрѣчу, холодилъ лицо и забирался въ рукава одежды, но даже вѣтеръ и сѣрый колоритъ полей прибавляли силы и крѣпости. Степь увлекала и завладѣвала настроеніемъ... одиночество, жажда новыхъ впечатлѣній—все наполняло душу чувствомъ молодости и свѣжести. А когда я подошелъ къ кургану и поднявшійся орелъ вдругъ взмахнулъ надъ нимъ своими большими крыльями, я чуть не вскрикнулъ отъ радостнаго испуга!

Какъ забытый свѣтлостальной щитъ, блеснула за курганомъ круглая ложбинка, налитая весенней водою. Я тотчасъ свернулъ къ ней на отдыхъ. Есть что-то чистое и веселое въ этихъ полевыхъ апрѣльскихъ болотцахъ; надъ ними вьются звонкоголосые чибисы, сѣренькія трясогузки щеголевато и легко перебѣгаютъ по ихъ бережкамъ и оставляютъ на илѣ свои тонкіе, звѣздообразные слѣды, а въ мелкой, прозрачной водѣ ихъ отражается ясная лазурь и бѣлыя облака весенняго неба. Курганъ же былъ настоящій степной—дикій, еще ни разу не тронутый плугомъ. Онъ расплывался на два холма и, словно поблекшей скатертью изъ мутно-зеленаго бархата, былъ покрытъ прошлогодней травой. Сѣдой ковыль тихо покачивался на его склонахъ. Это были жалкіе остатки прежняго величія, и грустно было смотреть на нихъ, на этотъ случайно уцѣлѣвшій ковыль! Время его, думалъ я, навсегда проходитъ; въ вѣковомъ забытій онъ только смутно вспоминаетъ теперь далекое былое, прежнія степи и прежнихъ людей, души которыхъ были роднѣе и ближе ему, лучше насъ умѣли понимать его шопотъ, полный отъ вѣка важной задумчивости пустыни, такъ много говорящей безъ словъ о ничтожествѣ земного существованія. Пѣсни Востока звучать вѣчной скорбью, потому что онѣ родились въ тишинѣ необъятныхъ песчаныхъ равнинъ, гдѣ человѣкъ на каждомъ шагу убѣждается въ суетности и слабости своихъ земныхъ порывовъ; пѣсни степей заунывны и

тихи, потому что онѣ родились въ душѣ одинокаго кочевника, когда лежалъ онъ на старомъ могильномъ курганѣ, видѣлъ глубокое, молчаливое небо, слушалъ дремотный шорохъ ковыля и тосковалъ невыразимой тоскою, чуялъ невинный голосъ природы, говорящій намъ, что не на землѣ наша родина. А этотъ голосъ слышится всюду, гдѣ природа царитъ въ полномъ величій...

Отдыхая, я долго лежалъ на курганѣ. Съ полей, между тѣмъ, потянуло тепломъ. Солнце согрѣвало облака и они свѣтлѣли и таяли. Жаворонки, невидимые въ воздухѣ, напоенномъ безотчетно-радостными треями. Вѣтеръ сталъ ласковымъ, мягкій. Холодкомъ земли и рѣзкой свѣжестью молодой зелени вѣяло отъ кургана. Солнце пригрѣвало мнѣ щеку и подъ легкой лаской вѣтерка и солнца хотѣлось прикрыть глаза и помечтать... помечтать хотя бы о томъ, что вотъ я свободенъ теперь, какъ птица, что для того, чтобы быть счастливымъ, надо очень немного...

Въ южныхъ степяхъ меня всегда почему-то особенно сильно охватываетъ вѣяніе глубокой старины. Каждый курганъ кажется мнѣ молчаливымъ памятникомъ какой-нибудь поэтической были. А побывать на Донцѣ, на Маломъ Танаисѣ, воспѣтомъ „Словомъ“—это была моя давнишняя мечта. Донецъ видѣлъ Игоря,—можетъ быть, видѣлъ Игоря и Святогорскій монастырь. Вѣдь говорятъ же, что монастырь существовалъ еще въ домонгольскій періодъ. И если такъ, что пережилъ онъ за свою долгую жизнь? Сколько разъ разрушался онъ до основанія и пустѣли его разломанныя стѣны! Сколько перетерпѣлъ онъ потомъ, стоя на татарскихъ путяхъ, въ дикихъ степныхъ равнинахъ, когда иноки его были еще воинами, когда они переживали долги, тяжелыя осады отъ полчищъ дикихъ ордъ и воровскихъ людей, когда на его богослуженія въ рѣдкіе дни отдыха стекались со

степей сторожевые люди съ суровыми лицами и простыми сердцами!...

Скрипъ телѣги, на которой сидѣлъ старикъ малороссъ, свѣсивъ съ грядки ноги въ допотопныхъ сапогахъ, и сонніе воловъ, которые, покачиваясь и вытягивая шею, придавленные тяжелымъ ярмомъ, медленно, какъ во снѣ, тащились по дорогѣ, разогнали мои думы. Я зашагалъ еще поспѣшнѣе.

Помню лѣсъ, который мнѣ пришлось проходить. Полоса его долго чернѣла вдаль, словно набросанная сѣней. Мѣстность возвышалась, и по мѣрѣ того, какъ я подходилъ, лѣсъ все выросталъ изъ-за горизонта. Я не сводилъ съ него глазъ, думая, что за лѣсомъ-то и открытается долина Донца и Горы. Къ тому же, лѣсъ оказался очень старымъ, заглохшимъ „заказомъ“. Меня поразила его безжизненная тишина, его корявые, изсохшія дебри. Замедляя шаги, я съ трудомъ пробирался по хворосту и бурелому, который гнилъ въ грязи глубокихъ рывинъ дороги. Ни одной птицы не слышно было въ чащахъ. Иногда на полянахъ дорогу затопляло цѣлое болото весенней воды. Сухія деревья сквозили кругомъ; они сѣрѣли мшистой корою, а кривыя ихъ сучья бросали такія слабыя, блѣдныя тѣни; даже цвѣты росли тутъ чахлые, блѣдно-желтые, болотные...

Скоро, однако, въ далекой перспективѣ лѣсной дороги снова проглянула даль, еще болѣе просторная и вольная. Сухой степной вѣтеръ все усиливался, разгоняя въ яркомъ весеннемъ небѣ бѣлыя облака, но и день, солнечный, веселый день, разыгрывался вмѣстѣ съ нимъ... Монастыря же все не было.

Хохоль, къ которому я подходилъ съ разспросами о дорогѣ, рослый мужикъ съ маленькою головою, одѣтый въ короткую, словно изъ осинової коры сшитую свитку, не сѣша, шелъ за плугомъ. Плугъ тащили четыре вола, а воловъ вела дѣвочка.

— Тату!—сказала она мужику, обращая его вниманіе на меня.

Онъ пріостановился.

— Это дорога на Святыя Горы?

— Якъ вы кажете?

— Дорога на Святыя Горы тутъ?

— Та куды вамъ треба?

— Въ монастырь.

— Який монастырь?

— Да что же вы, развѣ никогда не были на Святыхъ Горахъ?

— Въ экономіи?

— Да не въ экономіи, а въ самомъ монастырѣ, въ церкви?

— У церкви? Та у насъ своя церква на селі.

— А въ монастырѣ?

— Та й у монистирі бувъ, ще хлопцемъ. Усімъ селомъ ходили. Тоді чума на скотъ була, такъ казали, що тамъ пробувавъ такий монахъ, що знавъ замовляти. Отъ і ходили усі, у кого скотина боліла; звісно, молебствіе служили і въ село привозили того инокка. Ну, похидивъ вінъ по дворахъ, покропивъ водою, а про те нічого не допомоглось...

— А много въ монастырѣ народу бываетъ?

— Та богато. Кацапа найбільше.

— А ваши-то развѣ не ходять?

— Та й наши ходять. Тільки, звісно, меньше.

— Да вѣдь это близко отъ васъ?

— Та воно не далеко. А про те якось не зберешься.

— Такъ. — протянуль я невольню совсѣмъ по кацапски.

Хохоль, вѣроятно, замѣтилъ это. Онъ съ добродушнымъ вниманіемъ поглядѣлъ на меня и вдругъ спросилъ:

— А дозвольте спитать, відкиля ви? Изъ підъ Мокви, мабуть?

— А что?

— Та такъ, видно, що чужесторонний.

Помолчали.

— Что же,—спросилъ я,—не боитесь грѣха работать въ великую субботу?

— А тожь якъ? Треба поспішати.

— Да вѣдь завтра что?

— Завтра й не будемо робити.

— Такъ... Значить это дорога?

— Эге.

— Ну, прощайте!

— Бувайте здорові!

И хохоль, даже не взглянувъ на меня, снова спокойно пошелъ за плугомъ. А я долго съ невольной улыбкой размышлялъ о нашей бесѣдѣ, хотя для меня уже было не ново то, что на югѣ люди гораздо меньше думаютъ о монастыряхъ, чѣмъ въ глубинѣ Россіи...

Между тѣмъ чувствовалась усталость. Ноги ныли въ пыльных горячихъ салагахъ. Бодрое настроеніе ослабѣвало; чтобы забыть про усталость, нужно было развлекать себя. И я принялся считать шаги, и занятіе это такъ увлекло меня, что я очнулся только тогда, когда дорога круто завернула влѣво, подъ гору, и вдругъ ослѣпила рѣзкой бѣлизной мѣла. Вдалекѣ, налѣво, на самомъ горизонтѣ, надъ чащею лѣса сверкалъ золотой звѣздой куполь церковки. Но я едва взглянулъ туда. Донецъ былъ направо, въ ста шагахъ отъ меня, въ огромной, глубокой долинѣ!

Долго простоялъ я неподвижно, глядя на мутную синеву этой широкой картины, этихъ привольныхъ луговъ. Донецъ былъ въ разливѣ, и вся долина была затоплена водою. Стальные полосы рѣки тамъ и сямъ сверкали въ чашахъ коричневыхъ тростниковъ и залитыхъ половодьемъ прибрежныхъ лѣсовъ, а къ югу разливались все шире, совсѣмъ уже смутныя у подножья далекихъ мѣловыхъ горъ. И горы бѣлѣли смутно-смутно, и чайки

кричали такъ слабо и странно, и вся меланхолія этого пейзажа такъ поэтично гармонировала со всѣмъ тѣмъ, что, казалось, еще незримо вѣетъ здѣсь изъ глубины вѣковъ...

Тихо спустился я съ горы и пошелъ подъ ея скатомъ, по дорогѣ надъ самой рѣкой. Я обгонялъ идущій на богомолье народъ—женщинъ, подростковъ, дряхлыхъ калѣкъ съ выцвѣтшими отъ времени и степныхъ вѣтровъ глазами, и все думалъ о старинѣ, о той чудной власти, которая дана прошлому. Откуда она и что она значить? Не въ ней-ли заключается одна изъ величайшихъ тайнъ жизни? И почему она управляетъ человѣкомъ съ такою дивною силой?

И когда я начиналъ вдумываться въ свое настроеніе, вглядываться въ лица идущихъ и ѣдущихъ, мнѣ думалось: да, и они во власти этой старины; правду говорить Достоевскій, что „сущность религіознаго чувства ни подъ какиа разсужденія не подходитъ—тутъ что-то не то и вѣчно будетъ не то“... но вѣрно и то, что въ этомъ „что-то“ наше, часто не сознаваемое, преклоненіе предъ прошлымъ, наше таинственное родство съ мыслями и дѣлами всѣхъ отжившихъ, играетъ великую роль... Мое настроеніе, по крайней мѣрѣ, оправдывало то, что я думалъ...

Между тѣмъ, монастырь все еще не показывался. Послѣ полудня небо потускиѣло, вѣтеръ началъ пылить по дорогѣ и въ стени стало скучно. Донецъ скрылся за холмами... Я попросилъ проѣзжаго хлопца подвезти меня, и онъ посадилъ меня въ свою телѣжку на двухъ колесахъ. Мы разговорились и я почти не замѣтилъ, какъ мы вѣхали въ лѣсъ и стали спускаться подъ гору.

Но чувство, охватившее меня, такъ было ново и неожиданно! Я съ удивленіемъ оглядывался кругомъ, и словно проснулся.

Все круче, отвѣснѣе становилась горная дорога, каменистая, узкая, живописная дорога. Мы точно въ

люлькѣ подъемной машины спускались все ниже и ниже въ долину, а столѣтніе красноватые стволы мачтовыхъ сосенъ, гордо выдѣляясь среди разнообразной лѣсной заросли, мончно вѣтвившись корнями въ каменистые берега дороги, точно плавно подымались все выше и выше, возносились зелеными кронами къ голубому небу. Небо палъ ими казалось еще глубже и невиннѣе, и чистая, свѣтлая, какъ это небо, радость наполняла душу. А внизу, сквозь зеленую чащу лѣса, между соснами, вдругъ проглянула глубокая, и какъ показалось, тѣсная, веселая долина, золотые кресты, куполы и бѣлыя стѣны домовъ въ ней, у самой подошвы лѣсистой горы — все скученное, картинно-сокращенное отдаленіемъ,—и свѣтлая полоса узкаго Донца, и густая синева воздуха надъ сплошными луговыми лѣсами за рѣкою! И это былъ не просто красивый пейзажъ,—это былъ удивительно своеобразный, дышащій жизнью видъ. Такимъ, по крайней мѣрѣ, онъ показался мнѣ съ горной узкой дороги въ свѣтломъ залишѣ долины, и, право, тотъ моментъ, когда она только-что открылась подо мною во всей своей красотѣ, когда сосны упиливали въ небеса зелеными вершинами, навсегда останется однимъ изъ лучшихъ моихъ воспоминаній!

II.

Сквозь сонъ я долго слышалъ, какъ казалось, надъ самую голову страннѣйшій перезвонъ колоколовъ. Я заснулъ на какихъ-то бревнахъ около пристани парома, и тѣло сразу оцепенѣло отъ переутомленія; но чувствовалъ я себя въ какой-то сказочной обстановкѣ, у подошвы горъ, уходящихъ въ небо, среди несмѣтной толпы народа, говоръ котораго гуломъ стоялъ надъ рѣкою; чувствовалъ, что прозябъ отъ весенней рѣчной свѣжести, и никакъ не могъ очнуться. И только проснувшись, отдохнуль какъ слѣдуетъ.

Новый монастырь, тотъ, что находится у подошвы горы, далеко не такъ красивъ, какъ это кажется издалека. Хозяйственные его постройки, особенно громадное зданіе гостиницы, походятъ на казармы... Къ тому же, вездѣ было тѣсно отъ нахавшаго народа. Пожилой монахъ, дремавшій на крыльцѣ гостиницы, на мой вопросъ о помѣщеніи для ночлега, только посмотрѣлъ на мою блузу, и затянулся долгимъ, лѣнивымъ зѣвкомъ. Послушникъ, котораго я встрѣтилъ въ воротахъ, такъ спѣшилъ куда-то, что я не успѣлъ остановить его. Онъ только обернулся и зашагалъ еще шире и неуклюжѣе, махаясь и подаваясь впередъ всею тѣлою, отчего по плечамъ его болтались блѣдножелтые волосы. Другой какими-то тайными путями—темнымъ, узкимъ корридормомъ, гдѣ стоялъ тяжелый духъ склепа, воска, ладона и угаръ отъ самоваровъ,—провелъ меня въ номеръ, уже занятый постояльцемъ.

Постоялецъ лежалъ на жесткомъ диванѣ, выставивъ верху колѣни худыхъ ногъ, и лицо его было желто и постно, какъ у мертвеца. На немъ былъ сѣрый пиджакъ, слишкомъ широкій для его худощаваго тѣла, и узкіе штаны желтоватаго цвѣта; на шеѣ—шарфъ, на ногахъ,—кромъ сапогъ, рыхія голенища которыхъ виднѣлись подъ короткими штанами,—резиновыя глубокія калоши. Козлиная борода его изобличала „кацапа“, человѣка російскаго, благочестиваго, подозрительнаго и очень любопытнаго. Очень зорко осмотрѣвъ меня, онъ прикрылъ глаза, полежалъ минуту молча и спросилъ:

— Изъ дальнихъ, позвольте спросить?

Я сказалъ.

— Та-акъ. Чѣмъ же, собственно, занимаетесь? По торговой части или, можетъ, въ услуженіи у кого?

— Нѣтъ.

— Значитъ, капиталъ свой имѣете?

— А на что вамъ?

Сожитель мой поднялъ брови, искоса глянулъ на меня и закашлялся.

— О-охъ...—простоналъ онъ, тяжело повертываясь на бокъ.

— Вы нездоровы?

— Болѣзни въ себѣ не замѣчаю, а слабость большая во мнѣ, особливо теперь.

— Почему „теперь“?

— Надо полагать, безъ пищи ослабѣлъ я.

— Какъ безъ пищи?

Собесѣдникъ мой тускло улыбнулся.

— А вы что же, развѣ Бога-то ни за что почитаете? Святые отцы, къ примѣру, прямо на то указываютъ, чтобъ не вкушать за эти дни пищи, особливо съ четверга. У меня бабушка отъ этой причины даже кочину приняла... Ну, правда, въ преклонныхъ лѣтахъ были...

И онъ опять прикрылъ глаза. Я, въ свою очередь, полюбопытствовалъ:

— А вы—торгуете?

— Косники были.

— Те-есть, косы продавали?

— Правильно-съ. Ну, а потомъ, хоть товаръ зтотъ, прямо надо сказать, темный и прибыльный и не сразу тутъ дойдешь до пониманія, восемь гривенъ коса аль два съ полтиной,—пришлось оставить.

— Отчего же?

— Результату нѣту настоящаго.

Онъ помолчалъ и злорадно добавилъ:

— Теперича господа коммерцію полюбили; господину земскому предсѣдателю тоже желается барышокъ себѣ имѣть.

— Да вѣдь это не въ пользу предсѣдателя идетъ торговля.

— Понимаемъ тоже...

— Такъ вы и бросили торговлю?

— Ну, нѣтъ, безъ дѣла нельзя-съ. Винную лавку содржимъ, черную...

— А въ монастырѣ-то вы часто бываете?

— Да, какъ теперича я недалеко живу. А вы къ чему же это? Про усердіе-то?

Я смутился. Лавочникъ же сдвинулъ брови и заговорилъ строго:

— Всякому это подобаеть. И при дѣлѣ всякій должонъ состоять и храмы божьи не оставлять безъ вниманія. Хочешь, не хочешь, а исполняй. Не нами началось...

— Не нами и кончится...

— Да-съ, не нами и кончится,—повторилъ лавочникъ твердо.—У меня,—продолжалъ онъ,—теперича, къ примѣру сказать, самое горячее дѣло, а я дѣло на жену бросилъ. И будетъ воть убыточку монеть на сто. Тоже надо имѣть въ виду! Конечно, ежели которымъ капиталъ большой дозволяетъ... А намъ уставъ исполнилъ и за дѣло.

Онъ опять закашлялся слабымъ, внутреннимъ кашлемъ и замолкъ.

— Вамъ нуженъ покой,—сказалъ я, вставая,—лучше я еще гдѣ-нибудь переночую.

— Теперь не до покоя.

— Да нѣтъ, все-таки...

Лавочникъ покосился на меня.

— Что-жъ такъ?

— Вамъ будетъ покойнѣй.

— Почему-же, къ примѣру? Или компанія не нравится?

— Нѣтъ, а такъ...

— Ну, съ Богомъ!—сказалъ лавочникъ уже совсѣмъ непріязненно и рѣзко засмѣялся. Но тотчасъ же, морщась, сталъ съ трудомъ переворачиваться на спину.

Весь берегъ рѣки передъ монастыремъ былъ занятъ, какъ на ярмаркѣ, телѣгами и народомъ. Тутъ были и

смоленскіе мужики въ бараньихъ шлякахъ, и туляки, и полтавцы, и даже волжане. Многіе спали подъ тѣлами, другіе закусывали, умывались; говоръ стоялъ сдержанный и сливался въ однообразный гулъ. Подъ этотъ говоръ я и заснулъ. Когда же проснулся, берегъ уже опустѣлъ: всѣ были въ церкви.

III.

Донецъ подъ Святыми Горами быстръ и узокъ. Берега его заросли лѣсомъ. Правый горный берегъ возвышается почти отвѣсною стѣною и щетинится лѣсною чащей. Подъ нимъ-то и пріютилась бѣлокаменная обитель съ величавымъ, но грубо раскрашеннымъ соборомъ посреди двора. Выше, на полугорѣ, бѣлѣя въ зелени лѣса, висятъ два мѣловыхъ конуса, два утеса, сѣрыхъ отъ времени и непогодъ, за которыми держится старинная церковка. А еще выше, уже на самомъ горномъ перевалѣ рисуется на фонѣ неба другая. Горы какъ будто уносятъ ее въ свѣтлое царство лазури...

Съ юга надвигалась туча, но весенній вечеръ былъ еще ясенъ и тепелъ и солнце медленно уходило за горы; широкая тѣнь сплалась по Донцу отъ нихъ. И странная тишина царила всюду: какъ одинъ человѣкъ стояли тамъ, въ церкви, сотни молящихся въ благоговѣйномъ молчаніи.

По мощеному церковному двору, мимо собора, я пошелъ къ крытымъ галереямъ, что ведутъ въ гору. Въ этотъ часъ пусто и тихо было въ ихъ безконечныхъ переходахъ. И чѣмъ дальше и выше подымался я, тѣмъ все болѣе вѣяло на меня суровой монастырскою жизнью — отъ этихъ картинокъ, изображающихъ скиты и кельи отшельниковъ съ гробами вмѣсто ночныхъ ложекъ, отъ этихъ старопечатныхъ поученій, развѣшенныхъ на стѣнахъ, даже отъ каждой стертой ступеньки въ ветхой

галереѣ. Въ полусумракѣ этихъ переходовъ чудились тѣни давно отошедшихъ отъ міра сего иноковъ, строгихъ и молчаливыхъ схимниковъ.

Но меня тянуло туда, къ мѣловымъ сѣрымъ конусамъ, къ мѣсту той нещеры, гдѣ въ трудахъ и молитвѣ, простой и возвышенный духомъ, проводилъ свои дни первый человѣкъ этихъ горъ, та великая душа, которая любила горный обрывъ надъ Малымъ Тавансомъ... Какіе это были дни! Дико и глухо было тогда въ первобытныхъ лѣсахъ, куда пришелъ святой человѣкъ. Лѣса безконечно синѣли подъ нимъ, смутная даль вѣяла великой меланхоліей природы. Лѣсъ заглушалъ берега рѣки и только рѣка, одинокая и свободная, плескала и плескала своими холодными волнами подъ его навѣсомъ. И какая тишина царила кругомъ! Рѣзкій крикъ дрозда на полянѣ, озаренной солнцемъ, трескъ сучьевъ подъ ногами дикой козы, хриплый хохотъ кукушки и сумеречное уханье филина — все гулко отдавалось въ лѣсахъ. Ночью величавый мракъ и мертвое молчаніе замирали надъ ними. По шороху и плеску воды угадывалъ иннокъ, что вилавы переходятъ Донецъ дикіе люди. Молчаливо, какъ рать дьяволовъ, перебирались они черезъ рѣку, шуршали по кустамъ и исчезали во мракѣ ночи. Жутко тогда было въ горной норѣ одинокому человѣку, но до разсвѣта мерцала его свѣчечка и до разсвѣта звучали его молитвы. А утромъ, изнуренный ночными ужасами и бдѣніемъ, но съ свѣтлымъ лицомъ выходилъ онъ на божій день, на дневную работу и опять кротко и тихо было въ его сердцѣ, и синѣли лѣса подъ нимъ, и важно и ровно шумѣли столѣтнія сосны по горнымъ обрывамъ...

Глубоко внизу подо мною все уже тонуло въ теплыхъ сумеркахъ, мелькали огни, раздавался неясный говоръ. Тамъ уже начиналась сдержанно-радостная тревога приготовленій къ свѣтлой заутренѣ. А здѣсь, за мѣловыми утесами, было еще тихо и еще брезжили

свѣтъ зари, Птицы, живущія въ трещинахъ скалъ, подъ карнизами церковки, рѣяли вокругъ, визжа, какъ старый флягеръ, и всплывали снизу и неслышно тонули внизъ, въ сумракъ, на своихъ мягкихъ крыльяхъ. Туча съ юга заволокла все небо, вѣя теплою дождя, весенней душистой грозы, и уже содрогалась отъ вѣнышекъ молній. На хмуромъ фонѣ ея вырисовывались тогда бѣлые барскіе хоромы, столицѣ на южной оконечности горъ. Слѣва сосны горнаго обрыва уже слились въ одну темную опушку и чернѣли, какъ горбъ спящаго медвѣдя.

— О, Господи, Господи!—прошепталъ въ это время кто-то сзади меня и глубоко вдохнулъ.

Почти испуганный, я обернулся и увидалъ большую темную фигуру. Широкоплечій старикъ въ монашеской скуфѣ, но одѣтый по мірскому—въ толстой курткѣ рабочаго и въ высокихъ сапогахъ—стоялъ за мною и пристально глядѣлъ въ даль. Лицо у него было широкое, съ крупными чертами, а брови сурово сдвинуты. Въ глазахъ, маленькихъ и зоркихъ, свѣтилась глубокая, затаенная грусть. Въ сумеркахъ, эта фигура производила сильное впечатлѣніе.

— И сколько тутъ, милый, народу померло, — продолжалъ онъ, не глядя на меня, — не сосчитать никому!

— Гдѣ?—спросилъ я.

— Да тутъ-то, на этомъ мѣстѣ. Былъ я сейчасъ и на кладбищѣ монастырскомъ,—жутко тамъ, а хорошо! Мертвые, милый, видно, правда, лучше живыхъ...

Онъ помолчалъ, не обративъ вниманія на мой удивленный взглядъ, и продолжалъ все также медленно и съ тихой грустью:

— Я, милый, издалека, астраханскій... Тамъ у меня и сынъ живетъ въ подвальныхъ, пятнадцать рублей на всемъ готовомъ получаетъ, и дочь въ горничныхъ у стациі начальника... Жена-то померла ужъ годовъ

девять тому назадъ... А я все хожу. Гдѣ-гдѣ я ни былъ! Все нѣту мнѣ покоя! Службы я церковной не люблю, а вотъ тянетъ меня въ эту тоску... Не люблю и народа, на народѣ мнѣ хуже. И голоса эти...

— Какіе голоса?—тихо выговорилъ я.

— Ужъ не знаю, милый... Бѣсы превращенные, должно... Все, что ни есть въ мысляхъ, все наговариваютъ...

— Да ты бы полѣчился.

— Лѣчился я. Только нѣту съ того толку. Видно, родился я такой.

— Ты, можетъ быть, пилъ сильно?

— Пилъ, милый, дюже пилъ, какъ жена померла. Только не съ этого. Съ малолѣтства я такой. Я, бывало, еще отрокомъ все на кладбище ходилъ, на еврейское.

— Отчего жъ на еврейское?

— Унылѣи тамъ!

Онъ опять помолчалъ, вдохнулъ и сказалъ твердо:

— Да, въ этомъ вся причина. Камни стоятъ, старые, старые; и написано непонятно на нихъ, какъ узоры какіе... И одни только камни сѣрые... Ни рѣшетокъ этихъ, ни кустиковъ.

— Ну, и что же?—спросилъ я, пораженный смутнымъ поэтическимъ смысломъ этихъ словъ.

— Ну, и лучше мнѣ,—задумчиво отвѣтилъ старикъ.— Вотъ и здѣсь лучше... Богъ-то, Господь Саваоѣ онъ, Батюшка,—вонъ гдѣ!

И онъ таинственно указалъ въ полутемную галерею.

— Онъ совсѣмъ боленъ,—подумалъ я. И какъ бы угадавъ мою мысль, старикъ улыбнулся и сказалъ:

— Такъ-то все мнѣ говорятъ: что, молъ, ты бредишь? А развѣ не правда? Какая моя жистъ теперь? А все лучше другихъ... Все лучше, ежели раздумье есть... А то какъ жить? Обуваются да разуваются...

— Обуваются да разуваются?—переспросилъ я.

— Да, вот и все тутъ... Эхъ, горе мое, не письменный я!

И разговоръ въ такомъ духѣ продолжался у насъ около часа. Старикъ закурилъ трубку и все говорилъ, словно про себя, свои меланхолическія рѣчи. Я многого не понималъ въ нихъ. Но настроеніе ихъ было ясно и трогательно. Долго потомъ вспоминалъ я этого большого унылаго человѣка, ищущаго жизни духа, ищущаго тѣхъ мѣстъ, гдѣ беретъ „раздумье“.

Онъ такъ и остался тамъ, все смотря въ одну точку, въ темную даль передъ собою. А я еще успѣлъ сходить на вершину горы, въ верхнюю церковку. И мнѣ даже жутко стало, когда я нарушилъ шагами ея гробовую тишину. Монахъ, какъ привидѣніе, стоялъ за ящикомъ съ свѣчами. Два-три огонька тихо потрескивали въ храмѣ. А въ верхнее окошечко его еще лился слабый свѣтъ заката. Помню, поставилъ и я свою свѣчку и помолился за того, кто, слабый и преклонный лѣтами, въ мертвой тишинѣ этого маленькаго храма падалъ ницъ въ тѣ грозныя ночи, когда костры осады пылали подъ стѣнами обители; помолился и за всѣхъ тѣхъ, кто ищетъ въ этой жизни „раздумья“...

До глубокой ночи кипѣла суматоха въ монастырѣ.

Потомъ всѣ храмы запылали огнями, и черный мракъ ночи дрожалъ отъ дымнаго пламени смоляныхъ бочекъ на берегу рѣки. И все запылало еще болѣе, все словно ожило, когда раздались слова о воскресеніи Христа и въ отвѣтъ имъ ударила сотня звонкихъ колоколовъ со всѣхъ монастырскихъ колоколенъ!

Уходя на ночлегъ въ деревню, за Донецъ, по его низменному берегу, я не разъ останавливался, пораженный красотой иллюминаціи: все топуло въ глубокой темнотѣ, не маячили даже очертанія горъ на фонѣ неба, а огни около верхнихъ храмовъ діадемами яркихъ золотыхъ созвѣздій словно вырѣзывались въ этомъ мракѣ...

IV.

Утро засверкало солнцемъ, утро было совсѣмъ праздничное, теплое, свѣтлое, и еще радостиѣе, на перебой, звенѣли надъ Донцомъ, надъ зелеными горами колокола; ихъ диссонансы такъ чудно сливались въ одну звонкую, веселую пѣсню о Воскресеніи и уносились туда, гдѣ въ ясномъ воздухѣ стремилась къ небу бѣлая церковка на горномъ перевалѣ. Говоръ гуломъ снова стоялъ надъ рѣкою, а на баркасѣ по ней прибывало въ монастырь все болѣе и болѣе народу. Все жило, двигалось, ярко пестрѣли праздничные малороссійскіе наряды. Подъ веселый перезвонъ колоколовъ я напаялъ лодку, и молоденькая хохлушка легко и быстро погнала ее противъ теченія по прозрачной водѣ Донца, въ тѣни береговой зелени. И нѣжное, красивое личико рыбачки, и солнце, и тѣни, и быстрая рѣчка—все было такъ хорошо и радостно въ это милое утро!

И побывалъ въ скиту—тамъ, не смотря на толпы народа, было тихо и блѣдная зелень березокъ слабо шепталась, какъ на кладбищѣ—и сталъ взбираться на гору, чтобы по ея вершинѣ вернуться въ монастырь.

Взбираться безъ тропинки было очень трудно. Нога глубоко топула во мху, буреломѣ и мягкой прѣлой листвѣ, гадюки то и дѣло быстро и упруго выскальзывали изъ подъ ногъ, и я почти бѣжалъ, рискуя сорваться внизъ или задохнуться. Горячій зной, полный тяжелого смолистаго аромата, неподвижно стоялъ подъ навѣсами сосенъ. Зато какая даль открылась подо мною, какъ хороша была издали долина съ темнымъ бархатомъ лѣсовъ въ ней, какъ сверкали разливы Донца въ яркомъ солнечномъ блескѣ, какою горячею жизнью юга дышало все кругомъ! То-то, должно быть, дико-радостно билось сердце какого-нибудь воина полковъ Игоревыхъ, когда

любовался онъ этимъ видомъ, выскочивъ на хрипящемъ конѣ на эту высь и повиснувъ надъ обрывомъ, среди могучей чащи сосенъ, убѣгающихъ внизъ!..

А въ сумеркахъ я уже опять шагаль въ стѣняхъ. Тихій вѣтеръ ласково вѣялъ въ лицо, вѣялъ теплотою съ молчаливыхъ темныхъ кургановъ. И отдыхая на нихъ, одинъ-одиношенскъ среди ровныхъ безконечныхъ полей, подъ мирнымъ украинскимъ небомъ, я опять думаль о старинѣ, о людяхъ, почивающихъ въ одинокихъ стѣнныхъ могиллахъ подъ смутной шелестъ сѣдого ковыля... Хороши эти мѣста, гдѣ находятъ „раздумье“!



ФАНТАЗЕРЪ.

Долго-долго погарала заря блѣднымъ румянцемъ. Неуловимый свѣтъ и неуловимый сумракъ мѣшались надъ темнѣющими равнинами хлѣбовъ. Темнѣло и въ деревнѣ,—одни оконца избъ на выгонѣ еще отсвѣчивали мѣднымъ блескомъ... Вечеръ былъ особенно молчаливъ и спокоенъ. Загнали скотину, пришли съ работы, поужинали на камняхъ передъ избами и затихли... Не играли пѣсень, не кричали ребятишки...

Все задумалось вечернею думою,—задумался и Капитонъ Иванычъ и сидѣлъ у поднятаго окна.

Усадьба его стояла на горѣ; мелкорослый садъ, состоявшій изъ акаціи и сирени и заглохшій въ лопухахъ и черныбыльникѣ, шелъ внизъ, къ дощинѣ. Изъ окна, черезъ кусты, было далеко видно поле.

Поле загадочно молчало. Оно уходило на востокъ и лежало въ блѣдной темнотѣ. Воздухъ былъ сухой и теплый. Звѣзды въ смутномъ небѣ трепетали скромно и таинственно. И одни только кузнечики неутомимо стрекотали подъ окнами въ черныбыльникѣ да въ стѣни иногда отчетливо выкрикиваль „пять—пальвать“ перещель.

Капитонъ Иванычъ былъ одинъ. Одинъ — по обыкновенію...

Ему словно на роду было написано всю жизнь прожить одиноко. Мать и отецъ его, очень бѣдные, мелко-

помѣстные дворяне, проживавшіе у князей Ногайскихъ, умерли, когда ему было меньше году отъ рожденія. Дѣтство и отрочество онъ провелъ въ домѣ сумасшедшей тетки, старой дѣвы, и въ школѣ кантонистовъ. Въ юности онъ «имѣлъ глупость» влюбиться, старался писать пѣсни, подражая Дельвигу и Кольцову, называлъ ее въ своихъ стансахъ Валентиной—на самомъ дѣлѣ ее звали Анютой и она была дочь чиновника, служившаго въ комиссаріатѣ,—но взаимности не имѣлъ. Да и трудно было имѣть.

Имя у него было «какъ у дворецкаго», наружность не обращающая на себя вниманія; смуглый, худощавый и высокій, онъ похожъ былъ, по отзывамъ пріятелей на семинариста даже тогда, когда, по протекціи князя (недаромъ говорили, что князь—отецъ Капитона Ивановича), добился офицерскаго чина. Впрочемъ, въ офицерскомъ-то чинѣ онъ, можетъ быть, и имѣлъ бы успѣхъ, но тутъ ему досталось отъ тетки имѣньице со ста пятью десятнами и пятнадцатью душами и онъ вышелъ въ отставку. Правда, онъ и тогда воображалъ себя порою то героемъ изъ какого-нибудь романа Марлинскаго, то даже Печоринимъ, стригся по новѣйшей модѣ—„а ля полька“... Но ничего не вышло изъ этого. „Валентина“ поѣхала гостить къ подругѣ и вдругъ вышла замужъ... а онъ „до гробовой доски“ заперъ стихи въ шифоньеркѣ.

Онъ сталъ хозяйствовать; думалъ служить въ толь-ко что открывшемся земствѣ, но и въ земствѣ ему не повезло: предводитель, закусывая однажды у буфета дворянскаго собранія, сказалъ, что Капитонъ Ивановичъ „добрякъ, но фантазеръ... старый фантазеръ... отживающій свое время типъ“... И этого было достаточно. Тогда Капитонъ Ивановичъ перезнакомился съ сосѣдями мелкопомѣстными и увлекся охотой, приобрѣтя себѣ незамѣнимаго друга въ лягавой „Джальмъ“. Охота еще больше развила въ немъ любовь къ деревнѣ, уничтожила скуку. И дни пошли за днями и стали слагаться въ годы.. Онъ сталъ настоящимъ мелкопомѣстнымъ, по-

силъ „тужурку“ и длинные черные усы; забылъ даже думать о своей наружности и, вѣроятно, не зная, что его смуглое, немного рябое лицо очень привлекательно своею спокойной добротою...

Но сегодня онъ чувствовалъ себя какъ-то особенно. Утромъ зашла богомолка Агафья, бывшая дворюва Капитона Ивановича, и, между прочимъ, сказала:

— А помните, сударь, Анну Григорьевну?

— Помню,—сказалъ Капитонъ Ивановичъ и смутился.

— Умерла-съ. Великимъ постомъ схоронили.

Цѣлый день потомъ Капитонъ Ивановичъ неопредѣленно улыбался. А вечеромъ... Вечеръ насталъ такой тихій и грустный!

Смутное—и хорошее, и тоскливое—чувство волновало Капитона Ивановича. Онъ не хотѣлъ ужинать и не легъ спать рано, какъ ложился обыкновенно. Онъ свернулъ толстую папиросу изъ чернаго крѣпкаго табаку и все сидѣлъ у окна, поджавъ подъ себя одну ногу.

Ему хотѣлось куда-то пойти. Какъ человѣкъ, привыкшій все спокойно обдумывать, онъ спрашивалъ себя: „куда?“ Развѣ перепеловъ ловить? Но зоря уже прошла, да и идти не съ кѣмъ. Семень пынче въ почномъ... Да и не за перепелами хочется пойти... Куда же?

Онъ только вздыхалъ и почесывалъ свой давно не бритый подбородокъ...

Какъ, въ сущности, коротка и бѣдна человѣческая жизнь! Давно-ли, напримѣръ, онъ былъ мальчикомъ, юношей? Школа кантонистовъ—хорошо, что теперь ихъ нѣтъ болѣе!—холодъ, голодъ, поѣздки къ теткѣ... Вотъ былъ человѣкъ! Онъ отлично помнилъ ее, старую худую дѣву съ растрепанными, сухими черными волосами, съ безумными глазами, — говорили, отъ несчастной любви сошла съ ума,—помнилъ, какъ она, по старой институтской привычкѣ, твердила иногда наизусть французскія басни, закатывая глаза и дѣлая блаженную, важную физиономію; помнилъ, какъ она заболѣла „тоскою“, какъ

къ ней приводили знахаря, который твердилъ надъ нею: „Тоска, тоска, иди во темные лѣса—тамъ твой мѣста!“—какъ ее возили къ угоднику въ Задонскъ... Изъ Задонска она вернулась уже совсѣмъ „блаженной“, и, какъ ястребъ, начала слѣдить за нравственностью своихъ дѣвокъ, которыя цѣлый день гремѣли въ „дѣвичьей“ своими коклюшками, неизвѣстно для кого плетя кружево. По ночамъ она нараспѣвъ читала псалтирь, выкрикивала въ религиозномъ азартѣ молитвы собственнаго сочиненія, а иногда съ рыданіями падала ницъ передъ иконами. Ей казалось что въ нее вселяется „Зміи Едемскій и Іерусалимскій“... Потомъ всакивала, блѣдная, съ распущенными волосами, въ ужасѣ кричала на весь домъ... Какъ сумасшедшія, всакивали дѣвки, зажигалась трепещущая сальная свѣча и начинались успокоиванія „магушки-барышни“... Жуткое впечатлѣніе производилъ тогда старый помѣщичій домъ среди глубокой осенней ночи!

Впрочемъ, въ этомъ же домѣ когда-то звучалъ „Полонезъ Огинскаго“... Страстно и необычно звучалъ, потому что съ безумной страстью играла его старая дѣва... Ахъ, этотъ полонезъ! И она играла его...

Звѣзды въ небѣ свѣтятъ такъ скромно и загадочно; сухо трещать кузнечики, и убаюкиваетъ, и волнуется этотъ шопотъ-трескъ и молчаливый вечеръ... Въ залѣ стоятъ старинныя клавикорды... Тамъ открыты окна... Если бы туда вошла теперь она, легкая, какъ привидѣніе, и заиграла, тронула старыя звонко-отзывчивыя клавиши! Въ открытыя окна лились бы пѣвучіе, грустные аккорды „Полонеза Огинскаго“... А потомъ они вышли бы изъ дома и пошли рядомъ полевой дорогою, между ржами, прямо туда, гдѣ далеко-далеко брезжитъ свѣтъ запада...

Капитонъ Иванычъ поймалъ себя и усмѣхнулся.

— Расфа-пта-зировался...—протянулъ онъ вслухъ.

Вышло неестественно, но онъ старался быть равно-

душнымъ—даже сталъ дуть себѣ въ усы и пощипывать ихъ кончики... Но трещали кузнечики въ тихомъ вечернемъ воздухѣ и изъ сада пахло росистыми лопухами, блѣдной, высокой „зарей“ и крапивою. И этотъ запахъ напоминалъ ему вечера, когда онъ пріѣзжалъ домой, изъ города отъ Анюты и сладко было ему думать о ней, обманывать себя надеждами на счастье.

Быль апрѣль... Ни одного огонька не свѣтилось на деревнѣ, когда онъ на дрожкахъ вѣзжалъ на гору. Все спало лѣтнимъ вольнымъ сномъ подъ открытымъ звѣзднымъ небомъ. Темны и теплы были апрѣльскія ночи; мягко благоухали сады черемухой, лягушки заволдвали въ прудахъ дремотную, чуть звенящую музыку, которая такъ идетъ къ ранней веснѣ... и долго не спалось ему тогда на соломѣ, въ садовомъ шалашѣ! По часамъ слѣдилъ онъ за каждымъ огонькомъ, что мерцать и пропадалъ въ мутно-молочномъ туманѣ дальнихъ лощинъ; если оттуда съ забытаго пруда долеталъ иногда крикъ цапли — таинственнымъ казался этотъ крикъ и таинственно стояла темнота въ аллеяхъ... Но затихало все и особенно значительной казалась тишина степной ночи... А когда передъ зарею, охваченный сочной свѣжестью сада, онъ открывалъ глаза—сквозь полураскрытую крышу шалаша на него глядѣли цѣломудренныя предъутреннія звѣзды...

Капитонъ Иванычъ всталъ и пошелъ по дому. Шаги его одиноко отдавались по комнатамъ, и полы кое-гдѣ гнулись и скрипѣли.

— Восемьдесятъ лѣтъ домику! — думалъ Капитонъ Иванычъ.—Вотъ осенью надо звать плотниковъ, а то холодъ зимою будетъ страшный!

Но, шагая по залу, онъ чувствовалъ себя какъ-то неловко. Высокій, худой, немного сторбленный, въ длинныхъ старыхъ сапогахъ и разстегнутой тужуркѣ, изъ подъ которой виднѣлась ситцевая косоворотка, онъ бродилъ по залу и, поднимая брови, покачивая головою,

напѣвалъ „Полонезъ“. Онъ чувствовалъ, что онъ самъ слѣдитъ за своею походкою и фигурою, представляеть себя какъ другого человѣка, шагающаго въ полусвѣтѣ стариннаго зала, человѣка, который бродитъ одинъ-одинешенекъ, которому грустно и котораго ему до боли жаль подъ безнадежно-меланхолическіе напѣвы „Полонеза...“

Чтобъ какъ-нибудь разсѣяться, онъ взялъ картузь и вышелъ изъ дому.

На дворѣ было свѣтлѣе. Свѣтъ заріи, погасающей за деревней, еще слабо разливался по двору.

— Михайло!—тихонько позвалъ Капитонъ Иванычъ стараго пастуха. Никто не откликнулся. Михайло ушелъ „ко двору, рубаху смѣнить“.

— И эта Мелитриса Кербитьевна пропала,—пробормоталъ Капитонъ Иванычъ, подразумѣвая страпуху.

Стараясь придумать себѣ дѣло, онъ сдѣлалъ строгое лицо и направился по двору къ варку: накопиль-ли Митька травы коровамъ? Вѣроятно, опять забылъ... Но, думая совсѣмъ о другомъ, Капитонъ Иванычъ только постоялъ у варка.

— Митька!—позвалъ онъ недовольно.

Опять никто не отозвался. Только за воротами тяжело-тяжело вздохнула корова и завозились и затрепыхали крыльями на насѣсть куры.

Никого.

— Да и на что они мнѣ нужны? — подумалъ Капитонъ Иванычъ и не спѣша пошелъ по двору, за каретный сарай, туда, гдѣ начинались на косогорѣ ржи. Шурша, пробрался онъ по глухой крапивѣ на бугоръ, закурилъ и сѣлъ.

Низкая, широкая равнина по ту сторону луга, по прежнему, лежала въ блѣдной темнотѣ. Съ косогора была далеко видна молчаливо утонувшая въ сумракѣ окрестность.

— Сижу, какъ сычъ на бугрѣ, — подумалъ Капи-

тонъ Иванычъ.—Вотъ, скажетъ народъ, дѣлать нечего старику!

— А вѣдь правда — старикъ я, — продолжалъ онъ размышлять.—Умирать скоро... Вотъ и Анна Григорьевна померла... Какъ будто и не было.. Гдѣ же это все дѣвалось, все прежнее? Похоронять—и всему конецъ!

Онъ долго смотрѣлъ въ далекое поле, долго прислушивался къ обаятельной вечерней тишинѣ..

— Какъ же это такъ?—сказалъ онъ почти вслухъ,— не можетъ быть! Будетъ все попрежнему, будетъ садиться солнце, будутъ мужики съ перевернутыми сохами ѣхать съ поля... будутъ зори въ рабочую пору, а я ничего этого не вижу, да не только не увижу—меня совсѣмъ не будетъ! И хоть тысяча лѣтъ пройдетъ—я никогда не появлюсь на свѣтѣ, никогда не приду и не сяду на этомъ бугрѣ! Гдѣ же я буду?

Сгорбившись, закрывши глаза и потягивая лѣвою рукой черный, сѣдѣющій усъ, онъ сидѣлъ и покачивался и старался вдуматься въ свой вопросъ.

Сколько лѣтъ представлялось, что вотъ тамъ-то, впереди, будетъ что-то значительное, главное... Былъ когда-то мальчикомъ, былъ молодъ.. потомъ... въ жаркій день на выборы на дрожкахъ ѣхалъ по большой дорогѣ!

Капитонъ Иванычъ самъ усмѣхнулся на такой скачокъ своихъ мыслей, но на самомъ дѣлѣ—средняя пора его жизни какъ-то врѣзалась въ память этимъ фактомъ...

Но и это уже давно было. И вотъ доходишь до такой поры, въ которой, говорятъ, все кончается; семьдесятъ—восемьдесятъ лѣтъ... а дальше уже и считать не принято! Что же, наконецъ, долга или коротка жизнь?

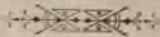
— Долга!—подумалъ Капитонъ Иванычъ,—да, все-таки долга!

Въ темномъ небѣ вспыхнула и прокатилась звѣзда. Онъ поднялъ вверхъ старческіе грустные глаза и долго смотрѣлъ въ небо. И отъ этой глубины и мягкой темноты звѣздной безконечности ему стало легче. Хотя

что-то волновало его, поднимались тревожные мысли о смерти, о прожитомъ, — въ сущности, на нихъ былъ отвѣтъ. Онъ ощущалъ въ себѣ другое настроеніе, другой голосъ, который говорилъ: „Ну, такъ что же? Все это было во вѣки вѣковъ и всегда будетъ! Тихо прожилъ, — тихо и умру, какъ въ свое время высохнуть и свалится листь вотъ съ этого кустика... Фантазеръ, отживающій свое время типъ!..“

А кругомъ уже совсѣмъ стемнѣло. Очертанія полей едва-едва обозначались въ ночномъ сумракѣ. Сумракъ сталъ гуще и звѣзды, казалось, сияли теперь еще выше. Отчетливѣе слышался рѣдкій крикъ перепеловъ. Свѣжѣе и чище пахло травой. Но та же теплота разливалась кругомъ, такъ же все баюкало и задремывало...

И когда онъ поднялъ голову, онъ чувствовалъ только одно—благодатное вѣяніе лѣтней степной ночи, родной ему съ дѣтства. Она разбѣяла несвойственные ему тревожныя мысли. Онъ всталъ и легко и свободно вздохнулъ полной грудью. Одно онъ ясно сознавалъ теперь— свое кровное родство съ этой безмолвной природой, одно сожалѣлъ всей душой—далекую молодость...



СОСНЫ.

I.

Вечеръ, тишина занесеннаго снѣгомъ дома, шумная лѣсная вьюга наружи..

Утромъ у насъ въ Платоновкѣ умеръ сотскій Митрофанъ, а въ сумеркахъ у меня сидѣлъ священникъ изъ Роставицы, о. Василій, опоздавшій причастить Митрофана, пилъ чай и долго разсказывалъ о томъ, какъ много народу померзло въ нынѣшнемъ году. Поэтому, и вечеръ, и тишина, и вьюга производятъ теперь необыкновенно скучное впечатлѣніе одиночества и заброшенности..

— Чѣмъ не сказочный боръ?—думаю я, прислушиваясь къ шуму лѣса за окнами и къ высокимъ жалобнымъ нотамъ вѣтра, налетающаго вмѣстѣ съ снѣжными вихрями на крышу. И мнѣ представляется путникъ, который кружится въ нашихъ дебряхъ и чувствуетъ, что не найти ему теперь выхода во вѣки.

— Есть ли живъ-человѣкъ въ этихъ хижинахъ?—говоритъ онъ, съ трудомъ различая въ бѣлой, крутящейся мглѣ Платоновку.

Но морозный вѣтеръ захватываетъ ему дыханіе, ослѣпляетъ снѣгомъ, и мгновенно пропадаетъ огонекъ, который, казалось, мелькнулъ сквозь вьюгу. Да и человѣчьи ли это хижины? Не въ такой ли же черной сторожкѣ жила Баба-Яга? „Избушка, избушка, стань къ лѣсу задомъ, а ко мнѣ передомъ! Пріюти странника на ночь!..“

Лежа весь вечеръ на диванѣ, я очень хорошо чув-

ствую всю беспомощность такого путника и ясно представляю себѣ, какъ пугливо и зыбко мерцають два освѣщенные окошечка въ моемъ флигелѣ, — совсѣмъ одинокія среди бушующаго лѣса, съ головы до ногъ посѣдѣшаго отъ вьюги. Домъ стоитъ у широкой просѣки, — по сравненію съ прогалиной направо, гдѣ находится деревня, — въ затишьи, но когда ураганъ гигантскимъ призракомъ на снѣжныхъ крыльяхъ проносится надъ лѣсомъ, сосны, которыя высоко царятъ надъ всѣмъ окружающимъ, отвѣчаютъ урагану настолько угрюмой и грозной октавой, что въ просѣкѣ дѣлается страшно. Снѣгъ при этомъ бѣшено и безпорядочно мчится по лѣсу, непритворенная дверь въ сѣнцахъ съ необыкновенной силой бьетъ въ стѣну, а собаки, которыя лежатъ въ нихъ, утопая въ снѣгу, какъ въ пуховыхъ постеляхъ, жалобно взвизгиваютъ сквозь сонъ, дрожа крупной дрожью... И мнѣ опять вспоминается Митрофанъ, который ждетъ могилы въ такую мрачную ночь.

Въ комнатѣ тепло и тихо. Окна въ ней такъ замерзли, что стекла кажутся ледяшками, которыя холодно играютъ разноцвѣтными огоньками, точно мелкими, драгоценными камнями. Лежанка натоплена жарко, а къ шуму и стуку я такъ привыкъ, что могу не замѣчать ихъ. Лампа на столѣ у дивана горитъ ровнымъ соннымъ свѣтомъ. Ровно и таинственно звенитъ въ ней выгорающій керосинъ, монотонно и неясно, точно подъ землей баюкаетъ кто-то ребенка за стѣною въ кухнѣ, — не то сама Федосья, не то ея Анютка, которая съ малолѣтства во всемъ подражаетъ своимъ вѣчно вздыхающимъ теткамъ и бабкамъ. И прислушиваясь къ этому знакомому съ дѣтства напѣву, къ этимъ шумамъ и стукамъ, тихо и незамѣтно отдаешься во власть долгаго вечера.

Ходить сонъ по сѣнямъ,
А дрема по дверямъ —

поетъ внутри меня жалобная пѣсня, а вечеръ рѣетъ надъ головою неслышной тѣнью, завораживается соннымъ звономъ въ лампѣ, похожимъ на замирающее пытье комара, и таинственно дрожить и убѣгаетъ на одномъ мѣстѣ темнымъ волнистымъ кругомъ, кинутымъ на потолокъ лампой. Одни часики въ будильникѣ живутъ своей торопливой жизнью, — все куда-то спѣшать и что-то приговариваютъ...

Но вотъ въ сѣнцахъ слышенъ пѣвучій визгъ шаговъ по сухому бархатистому снѣгу. Хлопаютъ двери въ прихожей и кто-то топаетъ въ полъ валенками. Слышу, какъ чья-то рука шарить по двери, ища скобки, а затѣмъ чувствую холодъ и свѣжій запахъ январьской метели, сильный, какъ запахъ разрѣзаннаго арбуза.

— Николаѣ Пальчъ, спите? — спрашиваетъ Федосья осторожнымъ шопотомъ.

— Нѣтъ, — съ трудомъ откликаюсь я. — А что? Это ты, Федосья?

— Я-съ, — отвѣчаетъ Федосья, мѣняя голосъ на громкій и естественный. — Ай я васъ разбудила?

— Нѣтъ... ты что?

Вмѣсто отвѣта, Федосья оборачивается къ двери, — хорошо ли притворила? — и, улыбнувшись, становится къ печкѣ. Очевидно, ей просто хотѣлось провѣдать меня. Это небольшая, но плотно сбитая баба въ короткомъ полушубкѣ; голова у нея закутана шалью и похожа на сычуню, на полушубкѣ и на шали таетъ снѣгъ.

— Тамъ пыль! — говоритъ она съ удовольствіемъ и, ежась, прижимается къ печкѣ. — Что, давно вечеръ-то по часамъ?

— Половина десятаго, — отвѣчаю я.

Федосья киваетъ головою и задумывается. За день она передѣлала сотни мелкихъ дѣлъ и до тѣхъ поръ бѣгала на деревню, пока твердо не убѣдилась, что Митрофанъ умеръ. Теперь она въ туманѣ отдыха. Она устремляетъ взглядъ на лампу, и это ее мгновенно гипно-

тизируетъ. Глядя на свѣтъ совершенно безсмысленными, но удивленными глазами, она съ наслажденіемъ затягивается долгимъ и глубокимъ зѣвкомъ и, зѣвая, бормочетъ:

— Ахъ, Господи, что-жъ это зѣвается, куда это дѣвается!.. Вотъ жалко Митрофана-то, Николай Палычъ! Цѣлый день съ ума не идетъ, а тутъ еще наши: выѣхали, нѣтъ ли? Поѣдутъ—замерзнутъ!

И вдругъ быстро прибавляетъ:

— Постойте,—въ какомъ ухѣ звенить?

— Въ правомъ,—отвѣчаю я.—Нынче они не поѣдутъ...

— Вотъ и не угалили,—перебиваетъ Федосья.—А я было про мужика своего загадала. Боюсь, обморозится...

И, увлеченная думами о метели, Федосья начинаетъ:

— Такъ-то, Николай Палычъ, на Сороки было, на Сорокъ Мучениковъ. Вотъ, расскажу вамъ, страсть-то была! Вы-то, извѣстное дѣло, не помните, вамъ тогда, небось, пяти годочковъ не было, а я-то явственно помню. Сколько тогда народу померзло, сколько обморозилось—конца-края не было!..

Я не слушаю, такъ какъ наизусть знаю рассказы о всѣхъ метеляхъ, которыя помнить Федосья. Она говоритъ долго, много разъ дѣлая отступленія въ сторону покойника Митрофана. А я только машинально ловлю ея слова, которыя страннымъ образомъ переплетаются съ тѣмъ, что я слышу внутри себя. „Не въ нашемъ царствѣ, не въ нашемъ государствѣ,—пѣвуче и глухо говорить внутри меня голосъ старика-пастуха, который часто рассказываетъ мнѣ сказки,—не въ нашемъ царствѣ, не въ нашемъ государствѣ, а у самомъ у томъ, у какомъ мы живемъ,—жилъ, стало быть, молодой вьюноша“...

Лѣсъ гудитъ надо мной, точно вѣтеръ дуетъ въ тысячу эоловыхъ арфъ, заглушенныхъ стѣнами и вьюгою. „Ходитъ сонъ по сѣнямъ, а дрема по дверямъ“,—думаю я,—и намаявшись за день, поѣвши „соснового“ хлѣ-

бушка съ болотной водицей, спать теперь по Платоновкамъ наши былинные люди, смыслъ жизни и смерти которыхъ ты, Господи, вѣси“!.. Вьюга рисуетъ мнѣ безконечныя картины снѣжныхъ полей и лѣсовъ, и чувство глубочайшей тоски медленно начинаетъ подыматься въ душѣ..

Вдругъ вѣтеръ со всего размаху хлопаетъ дверью въ стѣну и какъ огромное стадо птицъ, съ шумомъ и свистомъ пронесится по крышѣ.

— Охъ, Господи!—говоритъ Федосья, вздрагивая и хмурясь.—Хоть бы ужъ спать поскорѣй въ страсть такую.

— Ужинать-то будете?—прибавляетъ она, дѣлая надъ собой усилие, чтобы взяться за скобку.

— Рано еще,—отвѣчаю я нерѣшительно.

— А мой сгадъ—ничего третьихъ пѣтуховъ ждаты! Поужинали бы и спали бы, спали себѣ... Ну, видно, пойтить прилечь пока. Назяблась я, грѣшная.. И какъ это завтра опять въ погребъ лѣзть, какъ его откапывать—самъ домовою не знаетъ!

Дверь медленно отворяется и затворяется, и я опять остаюсь одинъ.. Я уже собираюсь ложиться въ постель, но вдругъ раздается торопливый стукъ въ окно. Потомъ одна за другою быстро хлопаютъ двери въ прихожей.

— Николай Палычъ!—говоритъ Федосья, появляясь на порогъ.—Хотите послушать? Тамъ голосають бабы, такъ голосають!..

По головѣ у меня пробѣгаетъ нервный холодъ, какъ отъ ледяной щетки, но я тотчасъ же накидываю пледъ и сиѣшу за Федосеей на крыльцо. Вѣтеръ широко распахиваетъ передъ нами дверь въ сѣнцахъ, съ торжественномъ бѣть ею въ стѣну и встрѣчаетъ насъ цѣлымъ ураганомъ морознаго снѣга. Гулъ лѣса вырывается при этомъ изъ шума вьюги, какъ звуки органа изъ церкви.

— Стойте!—говоритъ Федосья.—Слушайте.

И въ то же мгновеніе до слуха долетаетъ несказанно-тоскливый и пронзительный женскій крикъ. Онъ съ такой силой отчаянія взвывается вмѣстѣ съ вихрями

снѣга, что у непривычнаго человѣка могутъ волосы стать дыбомъ: это бабы выскочили изъ избы, какъ полагается по обряду, „въ первую полночь“ послѣ смерти родственника и съ криками падаютъ въ сугробы на всѣ четыре стороны. Вѣтеръ рветъ распушенные волосы этихъ древнихъ плакальщицъ и далеко раскидываетъ ихъ крики.

— Охъ, Божья Матушка!—шепчетъ сквозь слезы Федосья.—Какъ хорошо причитають-то! Вотъ жалость-то, Николай Палычъ!..

II.

Кто живалъ въ деревнѣ, тотъ знаетъ, что значить смерть въ деревнѣ. Въ городѣ некогда думать о покойникахъ, равно какъ и вообще о суетѣ суетъ. Заботъ много, а времени мало, и среди заботъ и многолюдства даже смерть близкаго знакомаго забывается быстро.

Совсѣмъ иное въ деревнѣ. Зимы наши темны и долги, лѣса пустынные и велики, а деревушки такъ малы подъ ними! Тайное сознание этого всѣхъ роднитъ и сблизжаетъ, и поэтому смерть въ деревнѣ—событіе. Она прошла по лѣсамъ чѣмъ-то большимъ и темнымъ, и посвященіе ея долго будетъ чувствоваться во всемъ. Лежитъ покойникъ въ избушкѣ подъ стѣною бора, и поневолѣ кажется, что даже сосны стоятъ съ другимъ выраженіемъ надъ нею...

Нѣчто вродѣ этого чувствую и я. Возвратясь въ комнату, я долго хожу изъ угла въ уголь и мнѣ кажется, что даже метель шумитъ какъ-то иначе, чѣмъ обыкновенно. „Въ этотъ день, въ эту метель умеръ Митрофанъ, —думаю я.—Умеръ... что же это значить? Исчезъ куда-то и уже больше никогда не вернется тотъ самый Митрофанъ, который чуть не вчера стоялъ вотъ на этомъ порогѣ, а теперь лежитъ „подъ святыми“ и называется покойникомъ, существомъ совершенно изъ другого міра, чѣмъ нашъ! Какъ все это странно и непонятно!..“ На

мгновеніе я взглядываю на лампу, на узоры изъ кирпичей на печкѣ... Мнѣ начинаетъ казаться, что Митрофанъ вотъ-вотъ войдетъ ко мнѣ и безмолвно притворитъ за собою двери...

Это былъ высокій и худой, но хорошо сложенный мужикъ, легкій на ходу и стройный, съ небольшой, откинутой назадъ головой и съ бирюзово-сѣрыми, живыми глазами. Зимы и лѣты его длинныя ноги были аккуратно обернуты сѣрыми онучами и обуты въ лапти, зимы и лѣты онъ носилъ коротенькій, изорванный полушубокъ. На головѣ у него всегда была самодѣльная заячья шапка шерстью внутрь... И какъ привѣтливо и весело глядѣло изъ-подъ этой шапки его обвѣтренное лицо съ облупившимся носомъ и съ рѣдкой бородкой! Это былъ Слѣдопытъ въ своемъ родѣ, настоящій лѣсной крестьянинъ-охотникъ, въ которомъ все производило цѣльное впечатлѣніе: и фигура, и шапка, и заплатанный на колѣняхъ портикъ, и запахъ курной избы, и одностолка. Появляясь на порогѣ моей комнаты и вытирая полою полушубка мокрое отъ метели, коричневое лицо, оживленное бирюзовыми глазами, отъ тотчасъ же наполнялъ комнату свѣжестью лѣсного воздуха и принимался рассказывать... И сколько было этихъ разговоровъ въ нашихъ скитаніяхъ подъ монотонный напѣвъ сосенъ!

— А хорошо у насъ, Николай Палычъ!—говорилъ онъ мнѣ часто.—Главное дѣло—лѣсу много. Правда, хлѣбушка, случается, не хватаетъ, али чего прочаго, да, вѣдь, на Бога жаловаться некуда: есть лѣсъ—въ лѣсу зарабатывать. Мнѣ, можетъ, еще труднѣй другого, у меня однихъ дѣтей шесть человѣкъ, а я все-таки иду да иду! Волка ноги кормятъ. Сколько годовъ я тутъ прожилъ и все не нажился. Я и не помню ничего, что было. Былъ будто одинъ-два дня лѣтомъ, али, скажемъ, весной—и больше ничего. Зимнихъ день больше вспоминается, а все тоже похожи другъ на дружку. И ничего не скушно, а хорошо. Идешь по лѣсу—лѣсъ изъ-за лѣ-

су выходить, синѣетъ, а тамъ прогалина, крестъ изъ села видѣнъ... Прилешь—заснешь—глядь, уже опять утро и опять пошелъ на работу... была бы шея—хомутъ найдется! Говорять—живете вы, моль, въ лѣсу, пнямъ молитесь, а спроси его, какъ надо жить—не знаетъ. Видно, живи какъ батракъ: исполняй, что приказано—и шабашъ.

И Митрофанъ, дѣйствительно прожилъ всю свою жизнь такъ, какъ будто былъ въ батракахъ у жизни. Нужно было пройти всю ея тяжелую лѣсную дорогу—Митрофанъ шелъ безпрекословно... И разладила его путь только болѣзнь, когда пришлось пролежать больше мѣсяца въ темной низенькой хижины, а затѣмъ отправляться въ страну, „идѣ же нѣсть ни печали, ни воздыханія“.

— За траву не удержишься!—говорилъ онъ мнѣ, снисходительно улыбаясь, когда я совѣтовалъ ему съѣздить въ больницу.

И кто знаетъ,—можетъ быть, онъ былъ совершенно правъ? Что за радость проводить эти безконечныя зимнія ночи, лежа больнымъ и безпомощнымъ въ темной избѣ, занесенной снѣгомъ! „Умерь, погибь, не выдержи борьбы въ этой лѣсной жизни,—значить, такъ надо,—думаю я.—Бушуетъ вѣтеръ, заноситъ насъ снѣгами—значить, тоже такъ надо!“ И рѣшительно надѣвъ шубу и шапку, я подхожу къ лампѣ. На мгновеніе шумъ метели за окномъ смущаетъ меня, но затѣмъ я говорю себѣ: „вздоръ!“ и дую на свѣтъ.

Въ темныхъ, пустыхъ комнатахъ, черезъ которыя я прохожу, мутно сѣрѣютъ окна. Отъ налетающихъ вихрей они то свѣтлѣютъ, то темнѣютъ,—совѣмъ, какъ, люки корабельной каюты въ качку. Въ прихожей холодно, какъ въ сѣнахъ, и пахнетъ сырой, промерзлой корою дровъ, заготовленныхъ на топку. Огромная старинная икона Божіей Матери съ мертвымъ Иисусомъ на колѣняхъ чернѣетъ въ углу. И, глянувъ на нее, я робко крещусь и спѣшу выйти въ сѣни.

Тамъ повторяется прежнее: вѣтеръ рветъ съ меня шапку и съ головы до ногъ осыпаетъ меня морознымъ снѣгомъ. Но это даже пріятно. Охъ, какъ хорошо поглубже вздохнуть холоднымъ воздухомъ и почувствовать, какъ легка и тонка стала шуба, насквозь пронизанная вѣтромъ! На мгновеніе я останавливаюсь и дѣлаю усиліе взглянуть... Новый порывъ вѣтра прямо въ лицо перехватываетъ мнѣ дыханіе, и я успѣваю разглядѣть только два-три вихря, промчавшихся по просѣкѣ въ поле. Гуль лѣса снова вырывается при этомъ изъ шума вьюги, какъ гуль органа. Я крѣпко нагибаю голову противъ вѣтра, погружаюсь почти по поясъ въ сугробъ и долго иду, самъ не зная—куда...

Ни деревни, ни лѣса не видно. Но я знаю, что деревня направо и что въ концѣ ея, у плоскаго болотнаго озера, теперь занесеннаго снѣгомъ,—изба Митрофана. И я иду,—долго, упорно и мучительно,—и вдругъ въ двухъ шагахъ отъ меня вспыхиваетъ сквозь дымъ вьюги огонекъ. Кто-то бросается мнѣ на грудь и чуть не сбиваетъ меня съ ногъ... Наклоняюсь,—Султанъ, собака, которую я подарилъ Митрофану. Онъ отскакиваетъ при моемъ движеніи съ жалобно-радостнымъ визгомъ назадъ и бросается къ избѣ, точно хочетъ показать, что тамъ дѣлается. А у избы, около окошечка, свѣтлымъ облачкомъ кружится снѣжная пыль. Огонекъ освѣщаетъ его снизу, изъ сугроба. Утопая въ снѣгу, я добираюсь до окна и торопливо заглядываю въ него. Тамъ, внизу, въ слабо освѣщенной избѣ, лежитъ у окна что-то длинное, бѣлое и высокое. Племянникъ Митрофана, Тимошка, стоитъ наклонившись надъ столомъ и читаетъ огромный псалтирь. Въ глубинѣ избы, на нарахъ видны въ полусумракѣ фигуры спящихъ бабъ и дѣтей... Жутко, должно быть, имъ проводить ночь съ покойникомъ!..

И поспѣшно, точно совершивъ что-то запретное, подгоняемый вѣтромъ въ спину и ничего не видя, я почти бѣгу домой. А дома я быстро раздѣваюсь, дую на лампу

и тотчас же закрываюсь съ головой въ одѣяло, стараясь ни о чемъ не думать и не слушать глухихъ и шумныхъ голосовъ этой мрачной ночи...

III.

Утро. Оно настало какъ-то внезапно, потому что въ лѣсу спится крѣпко. Выглядываю въ кусочекъ окна, на зарисованный морозомъ, и не узнаю лѣса. Какое великолѣпіе и спокойствіе!

Надъ глубокими, свѣжими и пушистыми снѣгами, завалившими чащи елей, — синее, огромное и удивительно нѣжное небо. Такія яркія радостныя краски бываютъ у насъ только по утрамъ въ аванасьевскіе морозы. И особенно хороши онѣ сегодня, въ контрастѣ съ свѣжимъ снѣгомъ и зеленымъ боромъ. Солнце еще за лѣсомъ налѣво, но уже по всему видно, какой будетъ свѣтлый и морозный день. Просѣка въ голубой тѣни. Въ колеяхъ свѣжаго саннаго слѣда, смѣльнымъ и четкимъ полукругомъ прорѣзаннаго отъ дороги къ дому, тѣнь совершенно синяя. А на вершинахъ сосенъ, на ихъ пышныхъ зеленыхъ вѣтвяхъ уже играетъ золотистый солнечный свѣтъ. И сосны, какъ хоругви, замерли подъ глубокимъ небомъ.

Прошлая ночь кажется мнѣ темнымъ сномъ, но все-таки я радъ, что братья пріѣхали изъ города. Они привезли съ собой много бодрости морознаго утра. Пока въ прихожей обметали вѣниками валенки, обивали отъ снѣга тяжелые воротники шубъ и вносили покуски въ рогожныхъ кулъкахъ, пересыпанныхъ сухой снѣжной пылью, какъ мукою, — въ комнатахъ нахолодилось и металлически запахло морознымъ воздухомъ.

— Градусовъ сорокъ будетъ! — съ трудомъ выговариваетъ кучеръ, входя съ новымъ кулъкомъ. Лицо у него багровое, — по голосу чувствуется, что оно задер-

венѣло отъ морозу, — усы, борода и углы воротника въ тулупѣ смерзлились въ ледяныя сосульки...

— Митрофановъ братъ пришелъ, — докладываетъ Федосья, просовывая голову въ дверь. — Тесу на гробъ просить.

Я выхожу къ Антону, и онъ спокойно рассказываетъ о смерти Митрофана и дѣловито переводитъ разговоръ на тещу. Равнодушіе это или сила?.. Скрипя сапогами по замерзшему снѣгу на крыльцѣ, мы выходимъ изъ дому и, переговариваясь, идемъ къ сараю. Воздухъ крѣпко сжатъ утреннимъ морозомъ, такъ что голоса наши раздаются какъ-то странно, а паръ отъ дыхания вьется при каждомъ словѣ, точно мы куримъ. Тонкій остистый, ледяной иней садится на рѣсницы.

— Ну, и денекъ Господь послалъ! — говоритъ Антонъ, останавливаясь у сарая, гдѣ уже пригрѣваетъ, и, шурясь отъ солнца, глядитъ на густую зеленую стѣну хвои вдоль просѣки и глубокое ясное небо надъ нею. — Эхъ кабы и завтра-то такъ же!

Потомъ мы отворяемъ скрипучія ворота насквозь промерзшаго сарая. Антонъ долго гремитъ досками и, наконецъ, взваливаетъ на плечо длинную сосновую тесину. Сильнымъ движеніемъ подкинувъ и поправивъ ее на плечѣ, онъ говоритъ: „Ну, покорнѣе благодаримъ васъ!“ — и осторожно выходитъ изъ сарая. Слѣды лаптей похожи на медвѣжьи, а самъ Антонъ идетъ, присѣдая и принаравливаясь къ колебаніямъ доски, причемъ тяжелая зыбкая доска, перегнувшись черезъ его плечо, мѣрно покачивается въ ладъ съ его движеніями. Когда же онъ, утонувъ почти по поясъ въ сугробъ, скрывается за воротами, я слышу замирающей скрипки его шаговъ. Вотъ такъ тишина! Двѣ галки звонко и радостно сказали что-то другъ другу относительно тишины и красоты утра. Одна изъ нихъ съ разлету опустилась на самую верхнюю вѣточку густо-зеленой, стройной, какъ кипарисъ, ели, — закачалась, едва не потерявъ равновѣсія,

и съ пышныхъ лапъ ели густо посыпалась и стала медленно опускаться радужная снѣжная пыль. Галка засмѣялась отъ удовольствія, но тотчасъ же смолкла... И по мѣрѣ того, какъ поднимается солнце, все тише становится въ просѣвкѣ...

Послѣ обѣда всѣ поочередно ходять смотрѣть Митрофана. Иду и я. Деревня тонетъ въ снѣгу. Снѣжныя, бѣлыя избушки кольцомъ расположились вокругъ ровной бѣлой поляны, а на этой ярко сверкающей подъ солнцемъ полянѣ теперь очень уютно и пригрѣваетъ. Домовито пахнетъ дымкомъ, печенымъ хлѣбомъ. Мальчишки возятъ другъ друга на ледяшкахъ, собаки сидятъ на крышахъ избъ... Совсѣмъ дикарская деревушка! Вонъ молодая плечистая баба въ замашной рубахѣ любопытно выглянула изъ снѣнецъ... Вонъ худой, похожій на старичка-карлика, дурачекъ Папка въ огромной шапкѣ идетъ за водовозкой. Въ обмералой кадушкѣ тяжко плескается дымящаяся, темная и вонючая вода, а полозья визжатъ, какъ поросенокъ... Но вотъ и грустная изба Митрофана.

Какая она маленькая, низенькая и какъ все буднично вокругъ нея! Лыжи стоятъ у дверей въ снѣнцы. Въ снѣнцахъ дремлетъ и жуесть жвачку корова. Стѣна избы, выходящая въ снѣнцы, сильно подалась отъ нихъ, и поэтому дверь надо отворять съ большими усилиями. Она отлипаетъ, наконецъ, и въ лицо пахнуло теплымъ избыннымъ запахомъ. Въ полусумракѣ стоятъ нѣсколько бабъ у печки и пристально глядя на покойника, шопотомъ переговариваются. А покойникъ подъ коленкоромъ лежитъ въ этой напряженной тишинѣ и слушаетъ, какъ плаксиво и жалобно, женскимъ голосомъ читаетъ псалтирь Тимошка.

— Совсѣмъ талый!—съ жалостнымъ умиленіемъ говоритъ одна изъ бабъ и приглашая меня посмотреть покойника, осторожно приподнимаетъ коленкоръ.

О, какой важный и серьезный сталъ Митрофанъ! Го-

лова—маленькая, гордая и спокойно-печальная, закрытые глаза глубоко ввалились, мертвый большой носъ обрѣзался; большая грудь, приподнятая послѣднимъ вздохомъ, точно закаменѣла, а ниже ея, въ глубокой впадинѣ живота, лежать большія восковыя руки. Чистая рубаха красиво отбѣиваетъ его худобу и желтизну. Баба тихо взяла одну руку (видно, какъ тяжела эта ледяная рука) подняла и опять положила. Митрофанъ остался совершенно равнодушенъ къ этому и продолжалъ спокойно слушать, что читаетъ Тимошка. И мнѣ показалось, что онъ знаетъ даже и то, какъ ясенъ и торжествененъ сегодняшній день,—его послѣдній день въ родной деревнѣ!..

День этотъ кажется очень долгодъ въ мертвой тишинѣ: все точно созерцало его таинственное и беззвучное теченіе. Солнце медленно проходитъ свой небесный путь, и вотъ красноватый, парчевый лучъ уже скользнулъ въ полутемную избу и косо озарилъ желтый лобъ покойника. Когда же я выхожу изъ избы на улицу солнце прячется между стволами сосенъ за частый ельникъ, теряя свой блескъ.

Опять я тихо бреду вдоль просѣки. Снѣга на полянѣ и крыши избъ, которыя точно облиты сахаромъ, алѣютъ отъ заката. Въ просѣвкѣ, въ тѣни, ясно чувствуется какъ рѣзко морозитъ къ ночи. Еще чище и нѣжнѣе стали краски зеленоватаго неба къ сѣверу, еще тоньше рисуется мачтовый сосновый лѣсъ на его фонѣ. А съ востока уже встала большая блѣдная луна. И по мѣрѣ того, какъ темнѣетъ закатъ, она подымается все выше... Собака, съ которой я хожу вдоль просѣки, забѣгаетъ иногда въ ельникъ и выскакивая, вся въ снѣгу, изъ его таинственно-свѣтлыхъ и темныхъ дебрей, замираетъ вмѣстѣ съ своей рѣзкой, черной тѣнью на ярко-озаренной дорогѣ. Мѣсяцъ уже высоко... Въ деревушкѣ—ни звука, робко краснѣетъ огонекъ изъ тихой избы Митрофана... И большая, остро содрагающаяся изумрудомъ

звѣзда на сѣверо-востокъ кажется звѣздою у Божьяго трона, съ высоты котораго Господь незримо присутствуетъ надъ снѣжной лѣсной страной..

IV.

А на слѣдующій день, въ воскресенье, нѣсколько человѣкъ идущихъ и ѣдущихъ съ воплями и причитаніями провожаютъ гробъ Митрофана по лѣсной дорогѣ къ селу.

Воздухъ по прежнему былъ рѣзокъ и морозенъ, и миллионы мельчайшихъ иглъ и крестиковъ тускло поблескивали на солнцѣ, кружась въ воздухѣ. Боръ и воздухъ слегка затуманивались, — только на горизонтѣ къ югу ясно и зелено было ледяное небо. Снѣгъ, какъ алебастръ, пѣлъ и визжалъ подъ санями, когда я бѣжалъ на лыжахъ въ Роставицу и мужики обгоняли меня. Все-таки я пришелъ раньше ихъ и долго мерзъ на паперти, пока, наконецъ, увидалъ среди бѣлой сельской улицы бѣлые зипуны и бѣлый большой гробъ изъ поваго тесу. Отворили дверь въ церковь, — оттуда вмѣстѣ съ запахомъ воска тоже пахнуло холодомъ: бѣдная лѣсная церковка промерзла вся насквозь, — весь иконостасъ и всѣ иконы побѣлѣли отъ густого, матоваго инея. И когда она сразу наполнилась сдержаннымъ разговоромъ, стукомъ шаговъ и паромъ отъ дыханія, когда съ трудомъ опустили тяжелый разлтый гробъ на полъ и, отворивъ царскія врата, священникъ торопливымъ простуженнымъ голосомъ заговорилъ и заплѣлъ въ наступившей тишинѣ, у меня сжалось сердце отъ холода и грусти. Жидкія синеватыя струйки дыма вились надъ гробомъ, изъ котораго страшно выглядывалъ острый, коричневый носъ и лобъ въ вѣнчикѣ. Кадило въ рукахъ священника было почти пусто, дешевый ладонъ, брошенный въ еловые уголья, издавалъ запахъ лучины, а самъ священникъ,

повязанный по ушамъ платкомъ, былъ въ большихъ валенкахъ и въ старомъ мужицкомъ полушубкѣ, поверхъ котораго торчала старая риза. Онъ, на перебой съ дьячкомъ, въ полчаса справилъ службу и только „со святыми упокой“ пропѣлъ не спѣша и стараясь придать своему голосу трогательные оттѣнки, — печаль о бренности всего земного и радость за брата, отошедшаго, послѣ земного подвига, въ лоно безконечной жизни, „идѣ же праведные упоковаются“. Напутствуемый протяжнымъ пѣніемъ, гробъ съ мерзлымъ покойникомъ, вынесли изъ церкви, пронесли по улицѣ и за селомъ, на пригоркѣ опустили въ неглубокую яму, которую и закидали мерзлой, глинистой землей и снѣгомъ. Затѣмъ въ снѣгъ воткнули елочку и, покряхтывая отъ мороза, торопливо разошлись и разѣхались.

Глубокая тишина царила теперь на лѣсной полянкѣ, по которой торчало изъ сугробовъ нѣсколько низкихъ деревянныхъ крестовъ. Беззвучно кружились въ воздухѣ безчисленные морозные остинки, и только гдѣ-то высоко надъ головой тянуль сдержанный, глухой и глубокой гуль: такъ шумитъ подъ вечеръ въ отдаленіи море, когда оно скрыто за горами. Мачтовья сосны, высоко поднявшія на своихъ глинисто-красноватыхъ, голыхъ стволахъ зеленыя кроны, тѣсной дружиной окружали съ трехъ сторонъ пригорокъ. Съ него широко открывалась синѣющая еловыми лѣсами низменность. Длинный, земляной бугоръ могилы, пересыпанный снѣгомъ, молча лежалъ на скатѣ у моихъ ногъ. Онъ казался то совсѣмъ обыкновенной кучей земли, то значительнымъ, — думающимъ и чувствующимъ. И глядя на него, я долго сидѣлъ поймать то неуловимое, что знаетъ только одинъ Богъ, — тайну ненужности и въ то же время значительности всего земного.

— Митрофанъ! — сказалъ я громко, подходя къ могилѣ.

Могилы молчала... Чтобы показать себѣ, какъ все это просто, я сталъ на нее ногой и опять задумался... Но

мысли путались по прежнему, и по прежнему я не понималъ ни себя, ни окружающаго, ни жизни, ни смерти бѣднаго лѣснаго Слѣдопыта.

— Такъ!—сказалъ я опять громко и рѣшительно ставъ на лыжи, съ разбѣгу толкнулся подъ гору. Облако холодной снѣжной пыли взвилось мнѣ навстрѣчу, а по дѣйствию-бѣлому, пушистому косогору правильно и красиво прорѣзались два параллельные слѣда. Не удержавшись, я упалъ подъ горой въ густой и необыкновенно зеленый, пышный ельникъ, набилъ въ рукава снѣгу и это окончательно отрезвило меня. Задѣвая за ельникъ лыжами, я быстро пошелъ зигзагами между его кустами. Траурныя сороки съ рѣзкимъ стрекотаньемъ, игриво качаясь въ воздухѣ, перелетали надъ ними. Минуты текли за минутами—я все также равномерно и ловко совалъ ногами по снѣгу. И уже ни о чемъ не хотѣлось думать. Тонко пахло снѣжимъ снѣгомъ и хвоей, славно было чувствовать себя близкимъ этому снѣгу, лѣсу, зайцамъ, которые любятъ объѣдать молодые побѣги елочекъ... Небо мягко затуманивалось чѣмъ-то бѣлымъ и обѣщало долгую тихую погоду... И только отдаленный, чуть слышный гулъ сосенъ сдержанно и неумолчно говорилъ и говорилъ о какой-то вѣчной, величавой жизни.



ТИШИНА.

Мы пріѣхали въ Женеву подъ дождемъ, ночью, но къ разсвѣту отъ дождя осталась только свѣжесть въ воздухѣ. Отворивъ дверь на балконъ, мы почувствовали упоительную прохладу ранняго осенняго утра. Въ улицахъ таялъ молочный туманъ съ озера, солнце тускло, но уже бодро блистало въ туманѣ, а влажный вѣтеръ тихо покачивалъ кроваво-красные листья дикаго винограда. По обыкновенію, мы умылись и одѣлись быстро и вышли изъ отеля точно послѣ морской ванны: освѣженные крѣпкимъ сномъ, готовые на какія угодно скитанія и съ молодымъ предчувствіемъ чего-то хорошаго, что сулитъ намъ день.

— Славное утро опять послалъ намъ Богъ!—сказалъ мнѣ товарищъ.—Ты замѣтилъ, что первый день послѣ нашего пріѣзда куда-нибудь—непремѣнно погожій? А главное—какъ весело! Право, это совсѣмъ не такой пустякъ, какъ думаютъ,—не курить, ѣсть только молоко, зелень, жить на воздухѣ и просыпаться вмѣстѣ съ солнцемъ! Я говорю о томъ, какъ это утончаетъ и облагораживаетъ духъ! Посмотри, что скоро объ этомъ будутъ говорить не доктора, а поэты...

Я молча, улыбкой, согласился съ нимъ. Дѣйствительно, мы все время нашего путешествія жили очень здоровой жизнью и почти не курили, что давало ощущение, давно неиспытанное.—ощущение чистоты и юношеской свѣже-

сти. На скорую руку мы выпили кофе и уже на целый день пустились, куда глаза глядят.

Въ городѣ было тихо и безлюдно въ это утро. Было воскресенье, магазиновъ еще не открывали, а блестящіе вагончики электрическаго трамвая пронеслись по чистымъ и прохладнымъ улицамъ совсѣмъ почти пустыне.

— Къ озеру!—въ одинъ голосъ сказали мы, выходя изъ кофейни.

Но гдѣ оно, въ какой сторонѣ? И на минуту мы остановились въ недоумѣніи. Вдалекѣ направо все было въ легкомъ свѣтломъ туманѣ, а мостовая въ концѣ улицы блестяла подъ солнцемъ, какъ золотая.

— Это озеро,—не колеблясь, сказалъ мнѣ товарищъ, и мы быстро пошли къ тому, что казалось мокрой и блестящей мостовой.

Солнце на пустой набережной уже сильно пригрѣвало сквозь туманъ и все сіяло передъ глазами. Но долины, озеро и дальнія Савойскія горы еще дышали туманной свѣжестью. Выйдя на набережную, мы невольно остановились въ томъ радостномъ изумленіи, которое испытываешь всегда, внезапно увидавъ красоту и просторъ моря, озера или долины съ высоты. Савойскія горы таяли въ свѣтломъ утреннемъ парѣ, такъ что подъ солнцемъ едва можно было различить ихъ: приглядишься—и уже только тогда увидишь тонкую золотистую линію хребта, вырѣзывающуюся въ небѣ, а потомъ почувствуешь и самую массивность горныхъ громадъ. Вблизи же, въ огромномъ пространствѣ долины, въ прохладной и влажной свѣжести тумана, лежало голубое, прозрачное и глубокое озеро. Оно еще дремало, какъ дремали и косые паруса лодокъ, столпившихся у города. Точно сѣрыя поднятыя крылья, возвышались они въ воздухѣ, но были еще безпомощны въ тишинѣ утра. Двѣ-три чайки низко и плавно скользнули надъ водою, и одна изъ нихъ вдругъ блеснула мимо насъ крыльями и метнулась въ улицу. Мы разомъ обернулись за ней

и видѣли, какъ она, испуганная непривычнымъ зрѣлищемъ, сдѣлала рѣзкій и быстрый поворотъ назадъ.

— Вотъ славно!—воскликнулъ мой спутникъ.—Подумаи,—какъ счастливы люди, въ города которыхъ залетаютъ чайки въ солнечное утро и вдругъ напоминаютъ о чемъ-то радостномъ и вольномъ, что есть на свѣтѣ!

И насъ потянуло въ горы, на озеро, куда-то въ даль... Пока испарялся туманъ, мы сходили въ городъ, купили въ кабачкѣ вина и сыру, полюбовались чистотой и привѣтливостью улицъ, живописными тополями и платанами въ тихихъ и золотыхъ садахъ... Бирюзовое небо стало уже ярко и чисто надъ ними.

— Знаешь, — говорилъ мнѣ товарищъ,—мнѣ часто не вѣрится, что я дѣйствительно въ тѣхъ мѣстахъ, о которыхъ, бывало, только мечталъ, глядя на карту, и часто хочется напомнить себѣ объ этомъ какъ-нибудь посильнѣе. Чувствуешь ты, напримѣръ, что вотъ за этими горами, такъ близко отъ насъ—Италія? Чувствуешь ты югъ въ этой удивительной осени? А вотъ Савойя—родина тѣхъ самыхъ мальчиковъ-савояровъ съ обезьянками, о которыхъ читалъ въ дѣтствѣ такіа трогательныя исторіи!

И мечтая о томъ, какъ много еще у насъ впереди новаго, неизвѣданнаго и прекраснаго, мы почти до конца прошли набережную по направленію къ Лозаннѣ и наняли у пристани лодку. Ни о чемъ будничномъ не хотѣлось думать въ это праздничное утро, и оно приняло насъ такъ привѣтливо и радостно.

У мостковъ пристани мирно дремали на солнцѣ и лодки, и лодочники. Въ голубой, прозрачной водѣ глубоко видны были песчаное дно, сваи и кили лодокъ. Было совсѣмъ лѣтнее утро, и только по тому спокойствію, которое царило въ прозрачномъ воздухѣ чувствовалось, что это спокойствіе послѣднихъ дней осени. Отъ тумана не осталось и слѣда, голубое озеро было необыкновенно далеко видно по долинѣ. И снявъ пиджаки, мы

весело засучили рукава и взялись за весла. Пристань отошла и стала быстро отдаляться. Уходилъ и сиявшій подъ солнцемъ городъ, набережная, парки... Впереди вода блестяла ослѣпительно, и около лодки становилась все глубже, тяжелѣй и прозрачнѣй. Весело было погружать въ нее весла, чувствовать ея упругость и смотреть, какъ взлетаютъ изъ-подъ веселъ свѣтлыя и прохладныя брызги. А когда я оглядывался, я видѣлъ раскраснѣвшееся лицо моего спутника и голубую ширь озера, вольно и спокойно лежавшаго среди покатыхъ горъ, покрытыхъ желтѣющими лѣсами, виноградниками и виллами въ паркахъ.

— Не спиши!—сказалъ мнѣ, наконецъ, товарищъ и опустил весла.

Опустилъ и я, и тотчасъ же наступила глубокая и давно уже не испытанная нами тишина. Прикрывъ глаза, мы долго слышали только однообразное журчаніе воды, бѣгущей вдоль бортовъ лодки. И даже по звуку можно было угадать, какъ чиста и прозрачна она.

— Ёдемъ?—спросилъ я тихо.

— погоди,—слушай!—перебилъ меня товарищъ.

Я совсѣмъ поднять весла и журчаніе стало медленно замирать. Съ веселъ упала капля, другая... Солнце все жарче пригрѣвало намъ лица... И вотъ издалека-издалека долетѣлъ до насъ мѣрный и звонкій голосъ колокола, одиноко звонившаго гдѣ-то въ горахъ. Такъ далеко былъ онъ, что порою мы едва улавливали его.

— Помнишь колоколь Кельнскаго собора?—вполголоса спросилъ меня товарищъ.—Я проснулся раньше тебя,—еще утренняя заря чуть брезжила,—сталъ у раскрытаго окна и долго слушалъ, какъ онъ одиноко и звонко кричалъ надъ своимъ старымъ городомъ... Помнишь органъ въ соборѣ и всю средневѣковую красоту древнихъ костеловъ, которую пережили мы? А потомъ Рейнъ, старые города, старыя картины, Парижъ... Но это не то, это лучше...

Звонъ колокола, чистый и нѣжный, доносился до насъ теперь явственнѣй, и необыкновенно пріятно было слушать его, сидѣть съ закрытыми глазами и чувствовать ласку солнца на лицѣ и мягкую прохладу отъ воды. Съ отдаленнымъ, глухимъ и сердитымъ ропотомъ колесъ прошелъ верстахъ въ двухъ отъ насъ весь бѣлый и сверкающій пароходъ изъ Лозанны. Плавные и стекловидные перебаты воды долго и широко бѣжали къ намъ и, наконецъ, ласково заколыхали лодку.

— Вотъ мы и у преддверія въ Альпы!—сказалъ мнѣ товарищъ, когда пароходъ сталъ, сокращаясь, удаляться.—Все теперь такъ далеко отъ насъ, жизнь всей Европы осталась гдѣ-то тамъ, за этими горами, а мы какъ будто вступаемъ въ благословенную страну вѣчной горной тишины, которой нѣтъ имени на нашемъ языкѣ.

Медленно работая веслами, онъ говорилъ и слушалъ, а озеро все шире обнимало насъ. Звонъ колокола временами казался то ближе, то дальше.

„Гдѣ-то въ горахъ, думалъ я, приютилась маленькая колокольня и одна славить своимъ звонкимъ голосомъ миръ и тишину воскреснаго утра, призывая идти къ ней по горнымъ тропинкамъ, надъ голубымъ озеромъ“...

И ничто не омрачало праздничнаго дня южной осени. Далеко по горамъ пестрѣли нѣжными осенними красками лѣса и рощи, по обѣимъ сторонамъ озера одиноко проводили ясный осенній день тихія и живописныя виллы въ садахъ...

— Видна отсюда Лозанна?—спросилъ меня товарищъ.

— Что ты!—сказалъ я, и все-таки долго глядѣлъ въ даль озера. Потомъ, чтобы вымыть стаканъ, зачерпнулъ въ него воды и бросилъ ее въ воздухъ. Она взвилась и блеснула въ воздухѣ серебристыми рыбками. А товарищъ откупорилъ бутылку съ виномъ, поставилъ ее на скамейкѣ въ лодкѣ и опять улыбнулся, прикрывая глаза.

— Ну,—сказалъ онъ,—выпьемъ за горы! Помнишь ты

„Манфреда“? Манфредъ одинъ въ Бернскихъ Альпахъ, у водопада. Полдень. Онъ произноситъ заклинанія, беретъ въ пригоршни воды и бросаетъ ее въ воздухъ. Въ радугѣ водопада появляется Дѣва Горь. Какъ это прекрасно! Вотъ ты плеснулъ сейчасъ водой и я подумалъ, что влагѣ можно поклоняться, какъ поклонялись огню... Я, знаешь, съ ранней молодости чувствую, до чего въ сущности, это понятно—обожествленіе природы. Подумай, какъ много на свѣтѣ красоты и радости и какое это великое счастье—жить, существовать въ мірѣ, дышать, видѣть небо, воду, солнце и поклоняться Богу красоты и радости! И все таки мы несчастны! Въ чемъ дѣло? Въ кратковременности-ли нашей, въ одиночествѣ-ли или въ неправильности нашей жизни? Вотъ на этомъ озерѣ были когда-то великія души... Шелли, Байронъ... потомъ Мопассанъ, одинокій и носившій въ своемъ сердцѣ жажду счастья цѣлаго міра. И всѣ мечтатели, всѣ любившіе и молодые когда-то, женщины и мужчины временъ Данте и Мюссе, Вертера и Жанъ-Жака Руссо, всѣ, которые приходили сюда за счастьемъ, всѣ уже прошли и скрылись куда-то навсегда. Такъ пройдемъ и мы съ тобой... Хочешь вина?

Я подставилъ стаканъ, онъ налилъ и прибавилъ съ грустной улыбкой:

— Скоро, братъ, пройдемъ и также не скажемъ ни себѣ, ни людямъ, гдѣ счастье? Неужели не скажемъ?—спросилъ онъ, подымая на меня глаза.—Знаешь, такъ хорошо, что приходитъ въ голову—не здѣсь ли оно? Можетъ быть, оно только въ успокоеніи? Сейчасъ, напримѣръ, мнѣ кажется, что когда-нибудь я сольюсь съ этой предвѣчной тишиной, у преддверія которой мы стоимъ, и что счастье въ ней. Пока мы еще среди людей. Но тамъ, вотъ за этими горами, заповѣдное царство иной жизни. Тамъ стоятъ Альпы, увѣчаные льдами, и отъ вѣка слушаютъ глубокую и неизрѣченную тишину своихъ долинъ. Помнишь, у Ибсена: „Ты слышишь, Майя, ти-

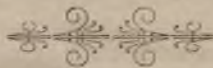
шину?“ Слышишь ты *тишину горъ*, особенную, заповѣдную тишину?

Мы долго глядѣли на горы и на чистое нѣжное, нѣжное небо надъ ними, въ которомъ уже была безнадежная грусть осени. Какъ посторонніе, мы представили самихъ себя далеко въ сердцевинѣ горъ, гдѣ не бывала еще нога человѣка... Солнце стоитъ надъ глубокими и со всѣхъ сторонъ замкнутыми долинами, орелъ паритъ въ огромномъ пространствѣ между ними и небомъ.. И вѣчная тишина надо всѣмъ! Только насъ двое и мы идемъ все дальше въ глубину горъ, какъ тѣ, которые гибнутъ въ поискахъ за Эдельвейсомъ.

Не слыша, работая веслами и прислушиваясь къ далекому замирающему звону, мы заговорили о завтрашнемъ путешествіи въ Савойю, о томъ, сколько времени мы можемъ пробыть тамъ-то и тамъ-то, но мысли наши снова невольно возвращались къ прежнему, къ мечтамъ о счастьѣ. Мы снова перебрали въ памяти старые города Германіи, Парижъ, его парки, Сену, бульвары, музеи, старые храмы. Красота новой для насъ природы и красота искусства и религіи всюду волновали насъ юношеской жаждой возвысить до нихъ нашу жизнь, наполнить ее истинными радостями и раздѣлить эти радости съ людьми. Женщины, за которыми мы всюду слѣдили въ пути, какъ за химерой, вѣчно дразнили насъ жаждой любви, возвышенной, романтической, утонченно-чувственной, почти обожествляющей тотъ идеально-женственный образъ, который мелькалъ передъ нами въ отдаленіи то въ томъ, то въ другомъ лицѣ и тѣлѣ. Но не сказочное-ли это счастье, которое уходитъ за темные лѣса и горы все дальше по мѣрѣ того, какъ идешь за нимъ? Издалека, въ общемъ, человѣческая жизнь казалась прекрасна, интересна, увлекательна... Вблизи — она была иная. Сколько узкихъ и низменныхъ чувствъ и мыслей, сколько мелочности, глупости и животности, сколько пошлыхъ и оскорбительно-некрасивыхъ лицъ!..

Теперь мы были у преддверія въ царство природы. Но и здѣсь, на этомъ голубомъ озерѣ, и въ горныхъ скитаніяхъ, которыхъ мы ждали, — всюду носился передъ нами все тотъ-же уходящій, влекущій и измѣнчивый женскій образъ и по прежнему просыпалась тоска по человѣкѣ, снова и снова влекла къ себѣ человѣческая жизнь, жажда раздѣлить съ людьми все, что пробуждало въ сердцѣ красота вѣчнаго. И на все былъ одинъ отвѣтъ—вѣчное молчаніе горъ, которое мы предчувствовали...

Товарищу, съ которымъ я пережила такъ много хорошихъ минутъ въ пути, одному изъ немногихъ, которые меня знаютъ и которыхъ я люблю, я посвящаю эти немногія строки. Посылаю также мой привѣтъ всѣмъ друзьямъ нашимъ по скитаніямъ, мечтамъ и чувствамъ!



„НАДЕЖДА“.

Помнишь-ли ты, Леонидъ, одинъ изъ послѣднихъ дачныхъ дней, проведенныхъ нами въ прошломъ году подъ Одессой, у моря? Есть особая прелесть въ этихъ послѣднихъ осеннихъ дняхъ, сѣрыхъ и прохладныхъ, когда, возвращаясь изъ города на дачу, встрѣчаешь только однихъ ломовыхъ, нагруженныхъ мебелью запоздалыхъ дачниковъ. Уже прошли сентябрьскіе ливни, дороги и переулки между дачами стали трудны и грязны, сады желтѣютъ и рѣдѣютъ, виллы до весны остаются наединѣ съ моремъ... Какъ славно чувствуешь тогда себя среди этого наступающаго покоя, какъ поэтичны опустѣвшія дачи!

Вдоль всей линіи узкоколейной дороги, пробѣгающей пятнадцать верстъ среди садовыхъ оградъ и рѣшетокъ, только и видишь теперь, что закрытыя фруктовыя лавочки, будки, гдѣ продавали лѣтомъ воды, да покинутыя газетные кіоски. По всему пути, начиная съ дорогихъ виллъ въ итальянскомъ и греческомъ стилѣ и кончая выбѣленными известкой домишками на отдаленномъ, каменистомъ побережьѣ, то и дѣло встрѣчаешь раскрытыя балконы, увитые длинными, сухими гирляндами дикаго винограда, опущенныя жалюзи и ставни, наглухо забитыя двери, завернутыя въ рогожу нѣжныя южныя растенія. И чѣмъ дальше отъ города—тѣмъ все тише, безлюднѣе и живописнѣе. Дачный поѣздъ ходитъ

уже рѣдко, и требовательные свистки паровоза на остановкахъ далеко отдаются въ чистомъ воздухѣ. Идешь вдоль пути между садами и слушаешь.. Вотъ поѣздъ снова гдѣ-то остановился и два раза жалобно и гулко крикнулъ, но гдѣ именно, — близко или далеко, трудно опредѣлить по звуку. Свистокъ похожъ на эхо, — эхо на свистокъ, а замерло и то и другое, растаявъ глухой, удаляющийся шумъ поѣзда за садами — и опять настала полная, ничѣмъ не нарушаемая тишина въ окрестности. Не спѣша шагаешь и шагаешь по шпаламъ, сердце бьется ровно и здорово, идти и дышать осенней прохладой легко и пріятно... Хорошо-бы остаться на этихъ дачахъ до весны, слушать по ночамъ шумъ бушующаго въ темнотѣ моря, бродить по цѣлымъ днямъ на обрывахъ у прибоя! Красивый образъ одинокой женщины, которая, завернувшись въ мягкій шотландскій плащъ, мечтаетъ гдѣ-нибудь на террасѣ зимней виллы, — невольно рисуется воображенію, длинная аллея тополей, усыпанная гравіемъ, съ синевою моря въ перспективѣ, зоветъ въ свои ворота...

Въ этотъ день, когда мы почти до вечера шли нѣшкомъ по линіи трамвая, по широкой и теряющейся въ садахъ, приморской дорогѣ, мы часто заглядывали въ такія аллеи, любясь старыми мраморными статуями среди цвѣтниковъ и деревьевъ, — дешевыми поддѣлками подъ классическія изваянія боговъ и богинь, но все-же красивыми, благодаря своему осеннему одиночеству, бѣлизнѣ на фонѣ зеленыхъ туй и тиссовъ и мелкимъ желтымъ листьямъ, которые усыпали садовыя дорожки и ступени балконовъ. День былъ сѣрый и спокойный, — прохладный октябрьскій день тона Пювись-де-Шаванья, — въ свѣжемъ, бодрящемъ воздухѣ пахло моремъ и увядающей листвою. Море выглядывало то тамъ, то здѣсь среди кустовъ и деревьевъ, оно наполняло своимъ присутвіемъ всю окрестность, его свобода и дыханіе чувствовались нами все время и всюду. Уходя все дальше

отъ города, мы строили неосуществимые планы путешествій на будущую весну и связывали съ ними мечты о той утонченной, несбыточной любви, которая, казалось, была разлита вокругъ насъ въ этой прохладной тишинѣ и морскомъ воздухѣ, въ нѣжно-разнообразной красотѣ легкихъ, лиловатыхъ тоновъ въ небѣ и въ осеннихъ пейзажахъ... Помнишь мраморную нимфу въ чьемъ-то большомъ заброшенномъ саду, въ свободной и женственной позѣ сидѣвшую на гранитномъ утесѣ среди фонтана? Положивъ ногу на ногу, она задумчиво склоняла голову и смотрѣла на зеленые тиссы и туи вокругъ дачной террасы. Лѣтомъ, когда садъ былъ тѣнистъ и зноенъ, когда солнечные пятна золотымъ дождемъ осыпали нимфу, изъ утеса со всѣхъ сторонъ бѣжало множество холодныхъ и чистыхъ ключей, и, склонивъ голову, нимфа точно прислушивалась къ ихъ непрерывному журчанію... Такъ убѣгаютъ дни за днями годы юности, такъ очаровываютъ насъ чистые источники молодыхъ, сладостныхъ мечтаній!.. Теперь фонтанъ замолкъ и высохъ, мелкіе желтые листья усыпали сырыя дорожки, въ садахъ было свѣжо и тихо и сквозь низкорослыя акаціи, сквозь вѣтви обнаженныхъ тополей и кустарники цвѣта сухой земли свободно чувствовался просторъ морскаго побережья. И, уходя, мы долго видѣли бѣлѣющую за деревьями нимфу, задумчиво проводящую осень на безлюдной дачѣ.

— Зачѣмъ такъ прекрасны надежды, которыя неосуществимы? — думали мы, шагая по шпаламъ. — Зачѣмъ эта вѣчная мечта объ идеальной красотѣ, о любви, слитой со всѣмъ, что есть лучшаго въ жизни, о счастья абсолютномъ, которое недоступно намъ уже по одной кратковременности нашей на землѣ? Или правъ внутренній голосъ, который неумолкая говоритъ намъ, что жизнь дана для жизни, и что нужно только одно, — непрестанно улучшать и возвышать это „искусство для искусства“?

Перекидываясь мыслями вслухъ, мы шли быстро, а воздушно-голубоватое море все шире показывалось то

тамъ, то здѣсь за деревьями и красными черепичными крышами дачъ на обрывахъ. И какъ разъ въ то время, когда уже начинала чувствоваться усталость, мы дошли до того мѣста, гдѣ сады и дачи на полъ-версты прерываются, гдѣ море широко раскрывается передъ глазами съ высокаго обрыва, и внезапно остановились, очарованные красотой парусной „Надежды“, которая, уходя въ море, медленно приближалась къ крайней чертѣ горизонта.

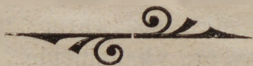
Уже вечерѣло, и среди спокойныхъ сѣрыхъ облаковъ, длинными грядами закрывавшихъ небо, появились оранжевые оттѣнки,—признакъ того, что холодѣетъ. Къ горизонту было свѣтлѣе, а прохлада послѣ дождей и безъ того очистила воздухъ и необыкновенно расширила дали. Въ морѣ были штить, и оно развѣтывалось безграничной равниной пѣжно-зеленоватой, отчасти сиреневой, стали, которая смѣлымъ и вольнымъ полукругомъ касалась въ дали неба. Внизу, вдоль извилистой линіи заливовъ, зеленая вода была такъ спокойна и прозрачна, что даже съ обрыва видны были темно-лиловыя спины камней подъ нею; дальше ея поверхность кое-гдѣ морщилась, какъ поверхность шелковой ткани, подъ набѣгавшимъ легкимъ вѣтромъ, доносившимъ до насъ свѣжій морской запахъ, а еще дальше спокойный просторъ моря убѣгалъ къ горизонту длинными и тонко начертанными полосами теченій и оттѣнковъ. У горизонта онѣ терялись, — казалось, что за горизонтомъ снова начинаются спокойныя, пѣжно-зеленоватыя водяныя поля,—но должно быть тамъ, гдѣ была „Надежда“, былъ ровный, попутный бризъ. И поднявъ въ нѣсколько ярусовъ паруса, стройно выровнявшись и сузившись въ отдаленіи, „Надежда“, какъ сказочная плавучая колокольня, четко сѣрѣла на той зыбкой грани моря, гдѣ оно касалось неба. Она была одна въ морѣ и необыкновенно подчеркивала его ровную ширь и просторъ, во всей полнотѣ воскрешая своими парусами поэзію

старого моря. И даже съ побережья, несмотря на огромное для глаза разстояніе, видно было теперь, какое это славное, сильное судно, изящное и гордое, точно королевскій бригъ. Дѣломъ оно вернулось изъ Австраліи, и мы встрѣтили его, какъ друга, и посѣщая гавань, смотрѣли на него, какъ на живое. Сколько странъ и морей видѣло оно на своемъ вѣку, сколько океанійскихъ волнъ омывало его острую, высокую грудь! Гавань была переполнена судами, но все это были тяжелые и неуклюжіе парходы, дымившіе черными, приземистыми трубами, нагруженные черепицей, желѣзомъ, хлѣбомъ и бочками съ масломъ, но цѣлымъ днѣмъ грохотавшіе лебедками. Они знали только свои грузы, а на „Надеждѣ“ странствовали и учились молодые моряки, и какъ рѣзко выдѣлялась въ этомъ плавучемъ городѣ судовъ легкая и вольная „Надежда“, входившая въ гавань стройно и спокойно, подъ шестью ярусами своихъ парусовъ! Теперь она снова покидала насъ... И все, о чемъ мы такъ по юношески мечтали, глядя съ мола въ море, вѣчно что-то обещающее за своими зыбкими горизонтами, все, чѣмъ оно волновало насъ въ этотъ осенній день въ тишинѣ опустѣвшихъ дачныхъ садовъ,—все съ необыкновенной силой охватило насъ при видѣ далекой „Надежды“!

Коснувшись горизонта, она вырѣзалась и замерла на немъ, уменьшаясь такъ незамѣтно, что только зоркій, глазъ могъ замѣтить это уменьшеніе... И глядя на него, мы чувствовали тоже, что чувствовали въ ранней молодости при отлетѣ птицы. Куда она держала путь? Можетъ быть, къ берегамъ Крыма или Кавказа, можетъ быть, къ Босфору и Средиземному Морю... Но не все ли равно? Одно было несомнѣнно,—завтра передъ нею откроются болѣе пѣжныя, южныя дали, тонко засинѣютъ новые далекіе берега... Лиловато-сѣрая, стройная и царственно-красивая, благодаря картинности дали, одинокая на послѣдней грани огромной, зеленовато-стальной равнины моря, она удалялась незамѣтно, но неуклонно. И уже но-

вые горизонты развѣривались передъ тѣми, которые были на ней. Глядя на нее, мы сами чувствовали эти дали. Мы какъ бы сами были на ней, и, стоя на прибрежьи, уже прозрѣвали то новое и манящее, что обѣщаетъ всякая даль, какъ, можетъ быть, воочію увидятъ наши потомки все, что мы только предчувствуемъ, и что волнуетъ насъ несбыточными надеждами, чувствомъ красоты жизни и мечтами о томъ, какъ будутъ счастливы люди въ будущемъ...

Поздно ночью, когда набѣгающій вѣтеръ безпокойно и осторожно, точно ища чего-то, шелестѣлъ сухими вѣтвями дикаго винограда на нашемъ балконѣ и доносилъ полусонный шумъ волнъ, я мысленно провожалъ „Надежду“ на пути въ темномъ морѣ. Утромъ мы снова возвратились въ городъ, и весь день прошелъ среди будничныхъ заботъ и дѣлъ, но весь день мнѣ казалось, что я видѣлъ ночью какой-то печальный и поэтичный сонъ. „Надежда“ была теперь уже далеко... Но какъ было отраднo хотя мысленно слѣдить за ней въ этой таинственной морской дали!



ОГЛАВЛЕНІЕ.

	СТР.
- 1. Переваль	1
+ 2. Руда	6
+ 3. Новая дорога	13
- 4. <u>Осенью</u>	26
- 5. Туманъ	36
- 6. Байбаки	44
+ 7. Новый годъ	65
- 8. Антоновскія яблоки	75
- 9. Велга	98
- 10. Скитъ	110
+ 11. Тарантелла	120
+ 12. Костеръ	176
- 13. На край свѣта	180
- 14. Кастрюкъ	190
+ 15. Въ Августъ	205
+ 16. Безъ роду-племени	211
+ 17. Поздней ночью	231
+ 18. На Донцѣ	235
- 19. Фантазеръ	253
- 20. Сосны	261
+ 21. Тишина	277
- 22. „Надежда“	285